

ПЕРВО ВЕСТНИК

сборник произведений молодых авторов

Красноярск
2009

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус)
С23

Издание осуществляется по инициативе некоммерческой организации
«Фонд имени В. П. Астафьева»



По инициативе В. П. Астафьева с 1994 года проводится конкурс на присуждение литературных премий Фонда им. В. П. Астафьева в номинациях «Проза», «Поэзия», «Иной жанр», «Ранний дебют». Задача конкурса – выявление и поддержка наиболее талантливых молодых писателей, чья творческая деятельность уже имеет некоторые значимые результаты, получившие признание профессионального сообщества и общественного мнения. Лучшие работы участников конкурса публикуются.

Вся информация о фонде и конкурсе: www.astafiev.ru



Данное издание осуществлено при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края в рамках реализации Закона Красноярского края «О государственной молодежной политике в Красноярском крае».

Маленькая звездочка на длинной цветоножке, белые, нежно пахнущие лепестки с розовинкой – это лесная ветреница – первовестница весны.

В. П. Астафьев. Первовестник

Редактор и составитель: Антон Нечаев

Корректурa:

Идея оформления сборника произведений лауреатов литературной премии Фонда им. В. П. Астафьева – Герман Абелев

Дизайн, верстка: рекламное ателье «Хорошо»
www.rahogosho.ru

Отпечатано: Типография «ЗНАК»

© Некоммерческая организация «Благотворительный фонд имени В. П. Астафьева»

Оглавление

К читателям		7
Виктору Петровичу Астафьеву 85!		9

Лауреаты 2008 года

Поэзия

Марина Акимова	Вырастая на разлуку	12
Алена Алексеева	Одуванчиковый пух... тому, кто будет рядом...	22

Проза и публицистика

Игорь Кудрявцев	Лабус – не лабус	26
Евгений Эдин	Небесный снайпер	38

Претенденты на премию 2008 года

Поэзия

Денис Берестов	Комната-колокол	58
Настя Браткова	Тихое, уютное одиночество	62
Виктор Григорьев	Русские мотивы	64
Татьяна Кравченко	Не на своей планете	66
Наталья Лайдинен	Хвост Иордана	69
Екатерина Решетникова	Кора	71
Елена Сыромятникова	Еще одно Господне лето	77
Деня Чирков	В природе могила найдется каждому	79

Проза

Андрей Белозеров	Хочешь себе такую же...	82
Полина Журавлева	Про клены	100
Татьяна Замировская	Забыл, как выглядят женщины	108
Игорь Кузнецов	Головняки	114
Виктория Лебедева	Уроки музыки	129
Валерия Олюнина	Человек из своего ресторана	156
Анжела Пынзару	Ты видишь...	158
Светлана Савицкая	Телегония расцветшего лотоса	163
Тамерлан Тадтаев	Трубка мира	180

Лауреаты 1997 – 2007 годов

Татьяна Долгополова	Идите в баню!	190
Дмитрий Иргазиев	Несу мечту руками	195
Вячеслав Корнев	Энциклопедия современных вещей	199
Дарья Мосунова	Развеселые проблемы с сексом	206
Владимир Пшеничный	Сжигая книги	211
Елена Семенова	Из ничего	219
Владимир Титов	Здесь всюду побережье	233

Астафьевский мемориал

Марина Саввиных	Журнал «День и Ночь». Астафьевские традиции	236
Евгений Мамонтов	Посмертное уединение	243
Рустам Карапетьян	Почему я не люблю читать Астафьева?	244
Дмитрий Иргазиев	Об Астафьеве	245
Наталья Скакун	Записка из Праги	246
Леонид Кудрявцев	Виктор Петрович	248
Александр Силаев	Сидеть и писать	249
Елена Семенова	Об Астафьеве	251

Добрый читатель! Обращаясь к Вам так, я верю, что именно добрым людям интересно, как развивается нынешняя российская литература, чем дышит культура наша, да и вообще, обращение «добрый человек» – старое русское слово, обращенное к незнакомцу с верой, что добрых людей все-таки больше...

С этой верой живет и работает вот уже 15 лет Фонд имени В. П. Астафьева. Идея создания Фонда принадлежит самому Виктору Петровичу. Он всегда интересовался молодой литературой, кого мог, поддерживал публикацией или напутственным словом, так что создание Фонда поддержки молодых писателей имени В. П. Астафьева стало закономерным продолжением дела самого Виктора Петровича по укреплению и подпитке молодой российской словесности. Фонду В. П. Астафьева в эти пятнадцать лет активно помогали известные российские благотворители: Владимир Николаевич Гулидов и Евгения Георгиевна Кузнецова, спонсорами выступали предприятия «Пикра» (компания «Балтика»), Красноярский алюминиевый завод компании «РУСАЛ», Красноярский завод «Красцветмет», издательская группа «Платина». Мы благодарны за поддержку Законодательному Собранию Красноярского края, Губернатору края А.Г. Хлопонину и Главе города Красноярска П.И. Пимашкову. Несмотря на непростые времена (кризис есть кризис), Министерство культуры края совместно с творческой интеллигенцией уже в этом году организовало масштабное празднование 85-летия Виктора Петровича Астафьева – здесь было место всем, кто помнит и чтит великого сибирского писателя. Краевой грантовый совет государственной программы «Социальное партнерство во имя развития» поддержал в этом году десяток проектов образовательных учреждений «Астафьевское наследие». Ежегодно государственные краевые стипендии с именем Виктора Петровича получают лучшие студенты красноярских вузов. Все это не только дань памяти, но и надежда на приращение добра, искренности и честности – словом, того, что так ценил Виктор Петрович. Глубокий поклон всем, кто объединяется в этом большом деле.

А Фонд продолжает свою главную работу – конкурс молодых писателей. За эти годы лауреатами Фонда в различных жанрах стали около сорока писателей из разных регионов страны. Премии получали москвичи и новосибирцы, иркутяне и томичи, омичи и норильчане, и, конечно, и в первую очередь – красноярцы. Ведь именно для того, чтоб поддержать своих земляков, помочь им выбиться в большую литературу и задумывал Виктор Петрович эту награду.

С 2008 года Фонд имени В. П. Астафьева совместно с молодежным ведомством Правительства края выпускает сборник произведений молодых авторов под названием «Первостепень». Заметить первый успех, отличить первое ярко сказанное писательское слово – вот наша основная задача, и

наиболее удачные образцы этих слов: стихи, рассказы, статьи, эссеистика – собраны в «Первостебнике» – ежегоднике Фонда.

Вот некоторые отклики на «Первостебник 2008», который, разойдясь по России, получил значительный резонанс:

«...Я благодарен Вам за внимание, в первую очередь, к моему творчеству. Может быть, и я надеюсь, и я почти уверен, что будут в моей литературной жизни еще книги. И эти книги будут полезны обществу и будут приняты читателем. Но!.. Но Ваш «Первостебник» я сохраню: и подарю своей дочери, и поставлю на полку, и стану хвалиться этой книгой. Похвальба моя будет наивной и искренней... и я сейчас даже, когда пишу эти строки, не сдерживаюсь и волнуюсь до слез...»

Я держу в руках «Первостебник» с моим рассказом: меня впервые «издали книгой», - пусть хоть и крупницей в большом.

Вы, наверное, понимаете меня.»

С уважением и благодарностью, В. Немышев (г. Москва)

«На днях получила «Первостебник». Читала уже ночью взахлеб, в первую очередь интервью. Спасибо Вам большое за эти беседы! Есть в них искренность. Чувствуется, болеете душой за молодых авторов. Почти в каждом вопросе чувствуется. Хочу поблагодарить Вас за это. По моему скромному мнению, сборник получился очень откровенным. «Косенькая» Натальи Скакун, «Глаголы» Евгения Степанова, Ваш «Старик» - до слез трогают. Наш «Первостебник» – настоящий, светлый. Говорю «наши», потому что у меня он создал ощущение родства с людьми, которых не знаю, но которые стали близкими. Удивительное ощущение.»

С искренним уважением,

Анна Никольская-Эксели (г. Барнаул)

«...Прямо не знаю, за что благодарить в первую очередь – за конкурс или за «Первостебник»! Именно сегодня получила книгу. Приятнейшее впечатление от качества и оформления, всё элегантно и на очень высоком уровне, огромное спасибо и уважение всем, кто принимал участие в подготовке...»

С уважением, Светлана Зернес (г. Энгельс)

Спасибо читателям и писателям за отклики. Вы открыли наш второй выпуск. Доброго Вам чтения, добрый читатель!

Президент Фонда имени В.П. Астафьева
Депутат Законодательного собрания Красноярского края
Алексей Клешко

Виктору Петровичу Астафьеву 85!

Я не был на похоронах Виктора Петровича Астафьева. И, возможно, поэтому, до сих пор не верю, что его нет. Да, наверное, его нет, ведь есть могила в Овсянке, памятник на Стрелке в Красноярске, есть вдова Мария Семеновна, хранитель его последней воли Валентина Михайловна Ярошевская, в конце концов, люди видели, как тяжело и больно он уходил, читали его завещание, в газетах об этом писали, наконец... Но все равно не верится. И чтоб не верить, тоже есть основания.

В 2009 году Виктору Петровичу Астафьеву, спустя семь лет после смерти (!), присуждена одна из престижнейших литературных наград России – премия имени Александра Исаевича Солженицына как «писателю мирового масштаба, бесстрашному солдату литературы, искавшему свет и добро в изувеченных судьбах природы и человека». Это уже вторая посмертная награда Виктора Петровича (первой была премия имени Юрия Казакова за лучший рассказ года). Так умер ли он?

С Фондом имени В. П. Астафьева в течение 2008 года неоднократно связывались представители московских, пермских, иркутских издательств по вопросу издания книг Виктора Петровича: заключения контрактов, предоставления рукописей и т.д. Книги В.П. Астафьева в 2008 году вышли в рамках различных грантов, очередные астафьевские сборники выпустил издатель Сапронов, произведения Виктора Петровича вошли в антологии военной прозы, подготовленные к печати издательством «Олимп» и т.д. Так можно ли сказать, что Виктора Петровича нет с нами?

На сайте Фонда имени В. П. Астафьева за 2008 год опубликовано несколько десятков сообщений о Викторе Петровиче, все – в новостях. В газете «Литературная Россия» вышло несколько интервью... Разве так бывает, когда человека нет?

А Всероссийский конкурс молодых писателей, проводимый Фондом Астафьева? Число претендентов с каждым годом растет, география ширится, уровень представленных текстов радует... Все большее число современных поэтов, прозаиков, драматургов, критиков хотят соединить свое имя с именем нашего великого земляка, вместе с Астафьевской литературной премией получить благословение этого имени...

Конкурс Фонда имени В. П. Астафьева продолжается, рукописи поступают, с каждым годом поток их становится шире, сильнее, дерзновеннее... 2008 год в этом плане стал особенно насыщенным. Только в одной «прозаической» номинации на премию Фонда Астафьева претендовали такие яркие молодые авторы как Моше Шанин, Александр Карасев, Александр Бронский, Евгений Эдин... Я уж не говорю о «Поэзии», где награду всегда

трудней получить именно из-за большого числа достойных авторов.

Экспертный совет Фонда, состоящий из молодых писателей, проживающих в разных городах России, без усталости трудился весь год, определяя лучших. Право голоса было дано и самим претендентам на премию: ребята читали тексты друг друга и сбрасывали экспертам свои голоса, которые тоже учитывались. В итоге лауреатами премий Фонда имени В. П. Астафьева по итогам 2008 года стали: в номинации «Поэзия» – Марина Акимова (г. Новосибирск), в номинации «Проза» – Игорь Кудрявцев (г. Кострома) и Евгений Эдин (г. Красноярск). В номинациях «Иные жанры» и «Ранний дебют» премии по итогам 2008 года не присуждались. Специальным дипломантом конкурса за поэтическую подборку «Одуванчиковый пух... тому, кто будет рядом» стала Алена Алексеева (Липецкая область). Специальным дипломом «за большой вклад в увековечение памяти о Викторе Петровиче Астафьеве, за популяризацию современной русской литературы, за подвижнический труд во благо российского библиотечного дела» награждена директор библиотеки с. Овсянка Анна Епиксимовна Козынцева.

Тексты лауреатов 2008 года, а также наиболее интересные произведения претендентов на премии вы можете найти в сборнике «Первестник 2009».

Помимо этого, в «Первестник 2009» вошли новые работы лауреатов премии прошлых лет. В разделе «Астафьевский мемориал» опубликованы небольшие эссе о Викторе Петровиче лауреатов Астафьевской премии.

Об Астафьеве пишут, за Астафьевские премии соревнуются, поток желающих побывать в Красноярске и в селе Овсянка, на родине Виктора Петровича, не убывает...

Так можно ли сказать, что Виктора Петровича Астафьева нет с нами?

Главный эксперт Фонда имени В.П. Астафьева,
член Союза российских писателей
Антон Нечаев

Лауреаты 2008 года

Поэзия



Марина Акимова

г. Новосибирск

Родилась в Иркутске в 1981 г. Окончила Иркутский государственный университет, факультет сервиса и рекламы. Автор поэтической книги «Вырастая на разлуку». Член Союза российских писателей. Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева по итогам 2008 года в номинации «Поэзия».

Вырастая на разлуку

* * *

В переулке не съели меня заборы,
вот и радость моя вся – к цепям собачьим.
Много надо ли? Вырос бы только город,
чтоб оставить не страшно... Пока же плачем
мы еще друг в дружку, в одёжку, в доску,
мы еще свои

не сносили камни.

Вот и дом родительский. Как занозку
извлекла я гвоздик, вздохнули ставни,
заплясали груша и тополиха,
и взлетела радостная собака,
вскрикнул папа, ударился в стенку бака
битый ковш. И я выросла

тихо-тихо.

* * *

В полуполёте от земли –
чуть ниже крыш –

уже – стихия!

И что ни ветер – лист идёт на лист.

Уже – такие сдвиги начались!

Уже – такие –

не просчитать! – маршруты воробьёв.

И накапливает запах тополиный,

и что-то здесь то замирает длинно,

то переходит

в рёв.

Какая нас подстерегает жизнь?

«Пока, – кричу, – за веточку держись!»

Все хорошо. И веточка нагрета
меж пальцев...

Настоящее общо
без прошлого. Вернемся. Что еще
нам остается?

Стертое крыльцо
на улицу

да чьё-нибудь лицо
в летящих пятнах солнечного света.

* * *

Виталию Науменко

Ну как по Карла Маркса не пройти –
не перебрать все эти «цоки», стуки
(спасибо женщинам за каблуки),
в которых соль спасения от скуки?
От Ушаковки и до Ангары –
бензинные дурящие пары.
А если концентрация строки
слабее, чем московская, прости.

Ну как не завернуть куда-нибудь
и встретиться там с той-то или с тем-то?
(«Два "Жигулёвского", – сказать, – налейте».)
Смотреть, как пальцы прилипают к флейте,
и микрофон желает заглянуть
в воронку духового инструмента
(там – мутное... – муз-зыка – что такое? –
он шею гнёт, он – конь у звукопоя).

Ну как не постоять в среде колонн
иньязовских, среди воробьев и пыли?
Вот этот сквер, допустим, мы – любили?
(Что любим, то собой не оскорбим.)
А с кем мы жили – тех всегда жалели.
Как правильно, что мы... А здесь в апреле –
Венеция! Но странно сладок дым,
и беден дом, в котором мы плывём...

* * *

Наверно, это январю
фонарь кивает онемело:
да-да, нет-нет. Снег, к фонарю
вдруг подлетев, офонарело
несётся дальше. Говорю,
как после комы, неумело.

Фонарь – дрожащий огонёк.
России бросовый сценарий.
Да разве кто-то что-то смог
здесь сделать? Вот пассионарий
поджжёт коммерческий ларёк,
чтоб рядом выстроить солярий.

Наверно, вслушиваясь в Русь,
в её тяжёлые качели,
фонарный скрип и снежный хруст,
на самом дне, на самом деле,
я в чем-то главном разберусь,
чего мы слышать не хотели.

Русь. Родина. Россия. Ру.
Ни веры, ни родных, ни друга.
Бреду, как дура, по двору.
Хвостом захлестывает вьюга.
Гадаю: до утра умру
иль выведу себя из круга?

* * *

Слова легки. Но неподъёмен стыд.
И тот, кто в сердце промолчит
и не сорвётся на стихи
до времени, тот в сентябре
сорвёт пылающий ранет,
реальный, разнобокий. Нет,
он подождёт... Уже хрустит
на том единственном дворе
снег первый, в детстве, в ноябре,
и мама в валенках идёт.

И жизнь идёт к концу, и год.
И он чего-то там чертит, –
судьбой, как шерстью, меховит –
рукой ослабшей, в декабре –
шесть чёрных точек, три тире –
как выдох-вдох-и-выдох – монолит,
ведь каждый в будущем забыт.

* * *

Русское стихотворение. Реценз

Хлеба покрошить немножко, крупносовестную соль.
С неба свет пустить в окошко, комара зубную боль,

вообще, побольше всякой мелочи: сверчка, пчелу
и кощя-раскоряку стрекозу. А по столу

надо раскидать записки из берёзовых листов.
Радость! Горе! Всё так близко! И – закрыться на засов.

Плакать при температуре осени. Залить потом
слякотным ли утром хмурым, кислым красным ли вином.

* * *

Словно взбивает бабочка,
словно подушку воздуха,
тут же в нее падает:
мягко ли ей? – охает.
Лапками правит складочку
у лепестка. Надо ли?
Надо ли жизнь жёсткую
так обживать нежностью –
до смерти и без роздыха?
Ах ты, душа, бедная!

* * *

Как будто вырубил звук
в ковчеге старого трамвая,
когда мой город вдруг
промок,

и слайды плыли в тишине
(сплетенье мулине – Ван Гог):
машинная возня, испуг
ленивый,

зонтики взрывая,
бежали люди, как во сне, –
шёл свет и ливень.

Кто спасен,
тот оглушён своей удачей,
оставлен...

«Посмотри, во всём
(нам машут плавниками ставень,
нам водоросли – провода) –
немая началась вода», –
сосед мой говорит и плачет,
а я не слышу,
как всегда.

* * *

А мы в каком-то дантевском лесу
осели и притихли понемногу,
как листья после ветра – на дорогу,
и вот сидим теперь... лицом к лицу.

И мне плевать, что я не донесу
саму себя ни к холмному порогу,
ни к выросшему за спиною логоу,
а так вот и останусь... на весу.

Мы собственную жизнь не узнаём.
О Боже! Неужели мы живём?
Клыки твои, костлявая волчица.
Мыслитель, правдолюбец, буквовер,
в лесу вечером хорошо молчит
о том, что мы живые, например.

* * *

Жить незачем. Захлёбы глухоты.
Зола и пыль. Я – тлеющий огарок
твоей ошибки... Но,

как прежде, жарок,
растущ и беден (забери подарок!)
язык поющий. Прошлой высоты
не выдержать воспоминанье. Если
ты слышишь. Я пишу тебе опять
письмо последнее.

Нас разлучают трубы
пятиэтажки, и другие: грубо
целующие ангелов... Где взять
твой адрес? Отклик. Я не знаю, есть ли
в том толк?..

Как бы чужие губы
уже на перекуре, и уже
мы в удивленье наблюдаем снова –
из глухоты растущее верней –
холодное

сложенье
этажей,
как выраженье холода
иного.

* * *

И, вырастая на разлуку
ещё одну, всё силилась понять:
скажи мне, мы

равняемся по звуку,
или, просматривая вспять
поступков нить, он – слепок наш, не боле?
О, лёгкая слепая жизнь!
Ленивая немая воля!
И выпевашь эту даль, как долю,
и, как у люльки, доля над тобою
поёт.

Прощайте! Набирает высь
и неизбежность нежное круженье,
где опыт птичий, страх и вдохновенье,
в одном полёте голоса слились.

* * *

Сказать «покой» – как бы спалить лицо
 (лишь уголёк губы пропляшет).
 Но мир уже иначе ляжет.
 В твоей ладони – лёгкое кольцо.

Сказать «покой» – и в сторону: идут
 слова с открытыми глазами
 (единственная связь меж нами –
 живущими). Не остывает труд.

.....

Зачем же мне сейчастной он в вещах,
 каких-то мыслях, запахах, движеньях –
 мой будущий покой? Я жженье
 ловлю в груди, расстрельное в хвощах
 лесных. И в них теряю зренье.
 Потом слагаю песни о войне.
 Жду мужа. Изменяю мужу.
 И вышиваю голос в тишине.
 И долго-долго перед домом лужу
 сапожками тревожу. И расту,
 ищу дорогу, забываю чайник
 на плитке. И во всех случайных
 чужих мирах я схватываю ту
 (нет ничего нечаянее покоя),
 быть может, мудрость, радость, простоту,
 с которою откроется такое...

* * *

В России нужно жить до ста,
 чтобы успеть распространиться
 по выгнутой спине страницы
 и забежать за край листа,

чтобы успеть не то, что б спеть,
 а – выдохнуть себя печально
 и к сотовой осени дотлеть
 до простоты первоначальной,

и растянувшись вширь и ввласть
 (вся – вдох и выдох – власница),
 ни в чём, ни с кем не повториться,
 и в землю, как в безумье, впасть.

* * *

Смотри, нас чернозем запоминает.
 Замри! Он каждый шаг наш принимает
 за стук к себе, в свой земляной чертог.
 Я черту душу отдала в залог
 под ссуду земляного притяженья,
 под чернозлобие и землечтенье,
 я узнаю червивый взор очей
 под зеленью нахмуренных бровей.
 Ни шагу! Только сумма изумлений
 да опыт недомолвок и сомнений
 нас, видимо, спасают от земли.
 Замри же, наконец, и посмотри,
 как поры почвы спятили от пота!
 Есть честная и чёрная работа
 по перегонке нас на перегонной.
 Мы – рост обратный и прирост земной.

* * *

Я, в оборот попавшая земной,
 у кромки не могильной – долговой –
 закладываю будущего сына.

Мне всё яснее песни сердцевина
 и то, чему со мною не бывать...
 Впиши меня в кабальную тетрадь:

дай разрастись не именем, так тленьем.
 Сама земля горит осуществленьем –
 ни смерти в ней, ни жалости, ни зла.

...и жизнь моя,
 как музыка,
 прошла.



Алена Алексеева

Липецкая область

Родилась в 1991 г. в городе Лебединь (Липецкая область).

Печаталась в районной газете, в 2007 году стала лауреатом районного конкурса «Солнечные капельки поэзии». В 2008 поступила в университет им. Бунина на факультет журналистики. Специальный дипломант Фонда имени В. П. Астафьева по итогам 2008 года.

Одуванчиковый пух... тому, кто будет рядом...

Лунная волчица

Ночью сегодня не спится.
Лунная смотрит волчица
Звездным овечкам в лица.
Закроет глаза, и ночью ей снится
Нора. 24 волчонка
Таращат свои глазенки.

Грустит и грустит волчица,
Намокли ее ресницы,
И капля росы искрится.
Закроет глаза, а ей снится
Нора. 24 волчонка
Таращат свои глазенки.

Во сне грызет волчица
Края черного ситца.
Трясется и хочет забыться.
Уснет, а ночью ей снится
Нора. 24 волчонка
Таращат свои глазенки.

Ночью сегодня не спится.
Кровавая плещет зарница.
Люблю тебя. К исходу страница.

Спи. И пусть тебе снится
Нора. 24 волчонка
Таращат свои глазенки.

Одуванчиковый пух... тому, кто будет рядом...

* * *

*После долгих ночей страшных снов...
Тому, кто будет рядом...*

Прострелю запястье ручкой.
Со щелчком стальной пружины
Громко зарыдают тучи,
И прольется черно-синий
Дождь чернильный.

Ты войдешь в мой томный вечер,
В скрип полуприкрытой двери.
Одуванчики – как свечи –
Бросишь у моей постели –
В пух метели...

Скажешь: черной краской на утесах
Краснокожие индейцы
Разрисуют наши судьбы,
Нам от этого не деться...
Будем греться

У костров индейцев майя
Под их страстно-злые песни.
И в дождливый вечер мая
Будет грусти нашей меньше.
Будет легче...

Скажешь: прыгнет Ягуаром
Ранним утром в небо Солнце,
И мы с первым же трамваем
В жизнь из племени вернемся...
Улыбнемся...

Я засну... в твоих ладонях
Мои волосы и плечи...
Одуванчиковый пух, непослушный –
на постели...
Ты придешь в мой страшный вечер
И излечишь...

Ложками черпало небо...

Ложками черпало небо
Награды влюбленных – звезды.
Яркие пятки света
Печатались на небосклоне.

Месяц просыпал горстку
Снежных морозных крошек.
Ты закурил от света
Звезды, похожей на грошик.

Волосы между пальцев
Ты пропустил, как воду.

По небу двое скитальцев
Чертят на завтра погоду...

Руки легли на плечи,
Жадно коснувшись кожи.
А за окном Вечность
Бродит по горизонту.

Ей, как и нам, не спится,
Пальцы и шёлк по коже...
А с высоты лица
Скитальцев смотрят, быть может...

Люди голы

Стены жёлты, люди голы,
За окном туман и сырость.
Ходит пьяный патоОлог,
Кормит трупом тощих крысок.

Плесень разъедает стены,
Страшно жёлты лица смерти,
Обескровленные вены
Синей сетью вяжут тело.

Нищий, у ларька замерзший,
Эту ночь проводит в морге,
Рядом разделяет ложе
Отставная прокурорша.

Все равны пред ликом смерти,
Крысы ползают по полу,
Режет трупы патоОлог,
Звезды сбросив. Люди голы.

Беззвучное

Тихо. Беззвучно. Люблю. Любишь?
 Точно. Знаю. Люблю. Твой голос.
 Шепотом среди звезд.
 Слышать хочу. Слышишь?
 Мимо лечу. Ловишь?
 Только держи. Нежно и крепко.
 Словно воздушный шар.

Мимо. Бегут. Дети.
 Может. Они? Наши?
 Может. Они? Будут?
 С нами? Когда?

Сердце. И дырки в сыре.
 В небе. Озоновые дыры.
 Мы. С тобой. Тоже. Худые.
 Словно два решета.

Травы. Поют. Песни.
 Будем с тобой. Вместе?
 Небо. Сошьем. Швами.
 Сердце. Свое. Лоскутами.
 И вспыхнет салют.

Тихо. Беззвучно. Любишь?
 По небу двое скитальцев
 Чертят на завтра погоду...

Руки легли на плечи,
 Жадно коснувшись кожи.
 А за окном Вечность
 Бродит по горизонту.

Ей, как и нам, не спится,
 Пальцы и шёлк по коже...
 А с высоты лица
 Скитальцев смотрят, быть может...

**Всё так же... В рваных шелках
рассвет...**

Вспыхнул кинжал принца,
 Чёрную ткань прорвал.
 Алая кровь льётся
 В руки мои и глаза.

Утро. Рассвет криком
 В окна домов стучит.
 Кофе. Коньяк. Блики
 За ночь уснувших обид.

Всё будет точно так же,
 Как десять лет назад:
 Потёртые в шрамах зданья,
 Мамы в морщинках глаза,

И у соседей на окнах
 Всё так же растут огурцы,
 Битые в лужицах стёкла,
 На верёвке в горошек трусы,

И в гараже у Вовки
 Всё так же не выключен свет,
 Хотя уже скоро два года,
 Как Вовки на СВЕТЕ нет...
 ...Всё тикают часы на полке,
 И в рваных шелках рассвет,

.....На подоконнике ветром
Начертано имя Твоё.
Сколько ещё лет мне
Топтать без Тебя бытиё?..

Лауреаты 2008 года

Проза и публицистика



Игорь Кудрявцев

г. Кострома

Родился в поселке Якшанга Костромской области. Учился на физико-техническом факультете Уральского политехнического института. Служил в армии в автомобильных войсках. Окончил Костромской педагогический институт имени Н. А. Некрасова по специальности черчение и изобразительное искусство. Работал: столяром, художником-оформителем, реставратором, дизайнером интерьеров, строителем и т.п. Публикации: «День и Ночь», альманахи «Козий парк» (Кострома) и «Новые писатели» (Москва). Член Союза Российских писателей. Участник III и IV Форумов молодых писателей России. Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева по итогам 2008 года в номинации «Проза».

Лабус – не лабус

Верный способ

Вот говорят: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Все это туфта и сказки для непросвещенных младенцев. Другой денно и ночью в потах, весь мир на пупе изъездит, а ни ума, ни добра ни на грош не накопит; а кто поумней – хребта не ломая да живота не насилуя, эдак сидючи на месте, хрен к носу прикинет и... бац!.. уж сразу в князьях...

А в князи Сереге нужно было позарез. Уж больно ему барского варева похлепать хотелось. Вот уж скоро тридцать три корячится, как говорится, возраст Христа, а что он видел?.. Нары да станции на пересылках?! Ну кто он такой?.. Зек, уголовник!.. Таким дорога в лучшую жизнь заказана, в лучшей жизни, в ней глупым места нету. А Серегина жизнь, по правде сказать, одна большая глупость... сучья жизнь, нехорошая...

По молодости да по глупости одному фраеру рога посшибал, а фраер тот ментом оказался. Вроде и за дело его грохнул, да прокурор ведь разве будет разбирать... Его дело сажать. Прокурор, ведь он что? Он мент!.. Вот, выхо-

дит, по глупости Серега и сел. По глупости пахал в зоне, «как папа Карло», на «дядю Васю». К слову скажем, был Серега штукатур знатный, про таких говорят: «Руки золотые»... да ничего себе не наштукатурил, окромя грыжи в паху. По глупости ввязался в камере в кипеш: отмудохали Серегу так, что остался он на всю оставшуюся жизнь хромым, колченогим карлипугом. А вроде и был он не гордый да не злой, а только отчаянно смелый...

Вот уж скоро Сереге на волю. Начальник говорит: «У тебя, Сергей, вся жизнь еще впереди, большая жизнь, красивая и светлая. Освободишься – женишься, деток нарожаешь... Руки у тебя золотые: будешь большие деньги зарабатывать...» Врет, сука, и не краснеет. Что с того, что руки золотые – зато ноги деревянные. Уж Серега-то знает, что никому он там, на воле, не нужен такой: хромой да с волчьим билетом впридачу.

И порешил Серега: «Хватит глупить да кипешиться... жизнь уходит, надо только мозгой пораскинуть, как ее за гузку прихватить...»

Думал он, думал, да так ничего и не надумал. Образования не хватает. Не давалось Сереге в молодости учение, кабы наперед знать, все бы жилы порвал, осилил бы. Своим-то умом только вот до такой паскудной жизни и дошел. Так вот!..

Ну а так как не был он ни гордецом, ни ханжой, пошел он мудрости на стороне поспрошать. Видит Бог, мир не без отзывчивых людей – попался и Сереге добрый человек. Умных людей, их сразу видать, в любой толпе, в любом обществе; есть в них что-то степенное, неторопное: чать, знают они что-то главное, что не всякому дано, какую-то тайну-истину...

Был и в Серегином отряде такой умник, беззубый Шаля Дамитрак. Волос у Шали на голове было не больше, чем на лампочке. Столько же и зубов. Зато лет ему было... дай Бог каждому столько пожить, а сколько, он уж и сам запомнил. Говаривал: «Старый зек, как и старая дама, своих годов не ведает...»

А уж мудрен был... и не книгочей-энциклопедист, а от жизни мудрен. Но и посидел, бывало... почитай, всю-то жизнь: хватил горя от ума...

Вот к нему-то и пошел Серега за мудростью. Научил он его, рассказал ему Шаля способ верный.

– Одному тебе, – говорит, – скажу. Вижу, парень ты смелый, не побоишься. А способ верный, людьми проверенный: большую деньгу можно заиметь, а с большой деньгой ты – человек, и все двери для тебя настежь, и все старое побоку. Сам бы попользовался, который год про себя тот способ берегу, да, видно, здесь мне помирать придется, стар я для жизни. А ты, сынок, еще молодой, попользуешься – поживешь властью и за себя, и за Шалю Дамитрака...

Слушает Серега, каждому слову внимает, каждому слову верует, так веру-

ет, аж трясушка во всем теле...

– Способ верный, да опасный: чего не так сделаешь, как скажу, – пропадешь почем зря. А смелости хватит – выйдешь в дамки. Вот и слушай... На рождество все делается... в ночь, стало быть, ровно в двенадцать часов. А прежде черного кота нужно изловить, посадить его в мешок, мешок через плечо, и выйти с этим сидором на околицу, да и встать, обернувшись лицом к домам, а спиной, стало быть, туда, куда шел – за околицу.

– А где, Шаля, та околица-то, в каком селе, в каком городе? Вот чего забыл сказать ты мне...

– А это, сынок, без разницы, способ этот везде действует, в любой местности. Слушай лучше, что дальше тебе скажу... Сидор тот, как есть, через плечо держи да стой, не двигайся, жди полночи. Тут Он в полночь к тебе сзади и подойдет. А кто Он, не скажу: сам знаешь, если не дурак. Не хочу я Его поминать. А ты стой, не оборачивайся. Спросит Он тебя, чего у тебя в мешке? А ты молчи да не оборачивайся. Вот тогда Он и скажет: «Давай меняться не глядя!..» – да и потянет твой мешок. А ты не оборачивайся, отдай. Когда ж пихнет Он тебе свой мешок – хватай, не глядя, да и беги, что есть мочи. А побоишься, обернешься: заберет Он тебя с собой на муки вечные. А сделаешь все, как я сказал – искупаешься в серебре да в золоте. Мешок его с большой деньгой будет. Справишь все чин-чином, да и живи помалкивай, не то не в прок добро Его пойдет. Слыхал я, много народу эдак сладкую жизнь себе устроило, да еще больше с Ним ушло.

– А что ж сам-то ты, Шаля, этим способом не попользовался, побоялся что ли?

– А я, сынок, почитай, сорок лет на воле Рождество не встречал... все не доводилось никак. Только выпустят – глядишь, уж сразу и обратно заберут. Видно, не про меня воля-то: мне на воле, что с деньгой, что без нее – не жисть. А кабы помоложе, да случись все – уж я бы не побоялся, нет. Ты, сынок, еще молодой, тебе и дело делать, а получится все справить, уж ты не забывай Шалю Дамитрака... посылочкой изредка, да обхаживай.

Поверил Серега в Шалин верный способ, ой как поверил – аж трясушка во всем теле. Уж он не побоится, сделает все как надо. Вот тогда и поживет Серега власть и Шалю не забудет. Ведь послал Бог доброго человека, научил уму-разуму. Это ж надо, столько лет прожить олухом. Теперь быть тебе, Серый, в князьях, ей-ей, быть...

На Пасху освобожденный Серега из заключения, дышал вольным воздухом и... айда домой, в свой родной поселок, к матери. Уж как ни пьянит свобода своим хмелем сладостным, а разумом Серега трезвится, бодрствует, ибо не до пустяков ему, не до мелких радостей – крепко засел у него в мозгу способ Шалин верный и точит денно и ночью, будто червь, без выходных,

без продыху. Не застит Сереге воля глаза, не дурманит – трезвый он. Не дождутся теперь от него глупых промахов... есть у него теперь цель, ясна, как день. Ему бы только до Рождества дотянуть, не сгореть в своем же собственном пламени. А уж он не просто ждет, не сиднем сидит: купил Серега сидор, да не наш, а импортный, с наклейкой, с молнией, принес от шурина кота черного, усатого, красивого. Сидит Серега дома, не пьет, не гуляет, а все кота своего обхаживает: кормит его как на убой, холит, расчесывает, чтоб хоть не стыдно было обмен-то неравный творить.

– Что ж ты, Сережа, какого лешего в дом приволок? – спрашивает его мать. – Нечто он тебе нравится, страшила такая?

– Ты, мама, не ругайся... мы с тобой через этого кота ухватим счастья полные пригоршни. Это, мать, кот не простой, а разменный...

А матери что? Чем бы дитя не тешилось... Она и так на сына не нарадуется – это надо ж, как остепенился: дома сидит и не пьет. Вот только б ему в жизни устроиться, невесту бы найти хорошую да пригожую. Да вот как его женишь, если он все дома сидит, не гуляет. А еще б работу ему найти стоящую, по профессии:

– У нас, Сереженька, школу за мостом строят новую, каменную. Пошел бы ты, сынок, туда, спросил, может, и возьмут тебя в бригаду, не посмотрят на твое прошлое, им шикатуры ох как нужны... пошел бы, сын. А то давай я схожу, если тебе самому никак?

– Не пойду я, мать, к ним. Не то у меня на уме. Потерпи немного, скоро у нас с тобой все наладится по-новому...

Не пойдет Серега работать. Поработал... будя... пушай работает железная пила, а у Сереги способ есть верный, людьми проверенный. Вот только бы до Рождества дотянуть...

Так и зима пришла, а с ней и морозы лютые, и снегу по окна. Вот уж и Новый год справили, все как полагается: с елками, с подарками, с гулянками. Только Серега не веселится, не гуляет: не до праздников ему. Рождество пришло, дело делает – за всю жизнь отпразднует. И не страшно ему на дело-то идти, потому как ничего он на этом свете не боится, потому как есть у него цель, как день ясна...

А как настало ему время на дело идти – прояснился весь, зародовался. Посадил Серега кота своего, откормленного, расчесанного, холеного, в сидор импортный, застегнул молнию, перекинул сидор через плечо, да и пошел на край села. Мороз щеки дерет, темень – глаз выколи, и не страшно ему ну вот ни на капельку. Вышел он на край села, повернулся к домам лицом, да и стал как столб. Стоит Серега, ждет Его, не пошевелится. А только стало ему как-то не по себе, аж трясушка во всем теле. Не поймет Серега никак,

что с ним делается, ведь не боится он ничего на этом свете, ведь есть у него цель, как день ясна...

О ту пору шел мужик из соседнего села, не пьян, а только выпимши. Идет, нога за ногу, никого не трогает, потому как нет вокруг никого, хоть свищи. А куда идет?... Шут его знает? Может, к куме бражки хлебнуть, может, по делу спешит, а может, от дела домой возвращается. И захотелось мужику покурить, и папиросы у него есть, да спичек нет. Идет, поспешает, нога за ногу. Вот уж дошел – дома видны. Видит мужик: на дороге человек стоит, как столб стоит, не пошевелится, лицом к селу и сумка за спиной.

«Вот, – думает, – и огоньку спрошу...» Идет, поспешает. Подошел мужик, тронул человека за плечо, а тот руками всплеснул, да и упал ничком. Испугался мужик, стал он падшего тормошить, да все без толку. Помер человек: был – и нет его. И видит мужик: сумка-то шевелится. Поднял он ее, хотел раскрыть, а за спиной вдруг глас:

– Мужик!.. Что в мешке у тебя?!

Митино

– Гоха, поехали завтра в Митино... – говорит мне Серый. – В Митино ништяк! В Митино можно делать все! Заодно посмотрим тебе компьютер. Не ссы, Гоха, мы купим тебе самый клевый компьютер... будешь долбать на нем свои романсы...

– Серый, я не пишу романсы... я пишу роман. О любви... – отвечаю.

– Во-во! Гоха, а ты знаешь, какие в Митино кобылы?! Если ты пишешь роман о любви, ты обязательно должен побывать в Митино. Там такие чиксы, Гоха! Ты напишешь сказочный роман о любви... купим тебе в Митино самый крутой компьютер – и напишешь!

– Серый, – говорю. – Мне не нужен крутой компьютер. У меня денег – с гулькин хрен. Мне нужен недорогой, простенький... практически, пишущая машинка. Я слышал, что 286-ю «айбиэмку» можно купить чуть ли не за двадцать баксов.

– Гоха, ты дурак! Зачем тебе этот хлам? Это же каменный век! Это отстой! У тебя на нем ни одна игра не поперет...

– А я и не собираюсь на нем играть, – отвечаю. – Я буду на нем тексты печатать...

– Все равно ты дурень, Гоха. Надо брать «пень»... хотя бы первый. Не-е, я себе буду покупать только навороченный «пень». Накоплю денег – и куплю. Или соберу по частям. Гоха, можно ведь покупать компьютер постепенно... по частям. Кстати, сколько у тебя денег? – спрашивает меня Серый.

– Сто долларов... – говорю.

– Во!.. купим тебе завтра в Митино «материнскую плату» и «корпус». А как деньги еще появятся, купишь еще чего-нибудь... «винт», или «клаву»...

– Серый, пошел ты! – говорю. – Мне не нужна «материнская плата» за сто долларов. Мне нужен целый компьютер... сразу и дешево. Ты мне скажи, – спрашиваю я у него, – смогу я в Митино купить компьютер за сто долларов?!

– Сможешь! В Митино можно все!

От Балашихи до Митино рукой подать. Всего каких-нибудь два часа пути. В шесть ноль-ноль мы уже были на шоссе Энтузиастов. Но сначала мы зашли в «Урожай». Сереге ужасно захотелось пить... правильно, ведь на улице была такая жара: – 18. Я купил ему бутылку «девятки-балтики».

Себе я взял чай.

Всю дорогу Серого мучила жажда. Пришлось обменять в Измайловском парке свои сто баксов на рубли и взять ему две бутылки «Толстяка». В автобусе платил тоже я. И в метро.

И менту на Арбатской.

Мент сказал просто:

– Если нет прописки, то – по два столыника с рыла.

У меня документы были в порядке. У Серого оказалась просроченной временная прописка. Я не стал артачиться и заплатил две сотни.

Нам нельзя артачиться. Мы не местные. В Москве мы на заработках... а жить домой ездим, в Россию. Нас здесь все молдаванами считают. Пусть. Пусть считают хоть чукчами, лишь бы бабки платили. А в Балашихе мы с Серым делаем «евроремонт» одному уроду: моральному уроду.

Не все моральные уроды делают себе «евроремонт», но все, кто делает себе «евроремонт» – моральные уроды. Это я заявляю с полной ответственностью.

Наш владеет «миром»: «Миром бытовой техники». Прораб говорит, что, скорее всего, этот урод нас кинет. Я тоже так думаю. Почти все кидают – это прописная истина.

Но кинет он нас в конце, а до конца еще далеко. Нам еще плитку класть, обои клеить... нам еще предстоит сделать «теплый пол». От «теплых полов» пипка падает – это доказано научно. Это прекрасно. Прекрасно, что пресечется род еще одного морального урода. Уж мы с Серым постараемся, мы сбациаем отличный «теплый пол». Вредный и надежный.

Серый раньше сам был крутой. Пока не начал бухать. Раньше у него был магазин «Радиотовары», «BMW» и мобила на жопе. Теперь он сам в жопе. Там же, где и я... с одним отличием – я там был всегда.

Через два часа мы были в Митино. Серега сиял. Мне ж его возбуждение не передавалось. Я не люблю спальные районы. И грязные радиорынки не люблю.

– Гоха, купи мне водки! – сказал он. – Если я сейчас не выпью, я умру!

– Не куплю! – отрезал я.

– Гоха, купи мне водки! Если я сейчас не выпью, ты умрешь! – повторил Серый.

Я купил ему водки.

– Не ссы, Гоха, – сказал мне Серега, выпив водки, – со мной не пропадешь... я тебя в обиду не дам.

А я и не думал ссать. Если что-то случится – Серега выручит. Он может. Он однажды на спор обоссал «омоновский» автобус... насквозь обоссал, от заднего колеса до переднего... автобус, полный «омоновцев». Пятнадцать минут пятнадцать «омоновцев» пытались надеть на него наручники. Серый не хотел их надевать.

Серый выручит... если что.

Но, дело в том, что, когда я без Сереги, со мной вообще никогда ничего не случается!

Мы вообще разные. Как мы вместе уживаемся, один Бог знает. Серега – энтузиаст. Я нет.

– Надо найти наших чуваков, – сказал Серый. – Они каждую субботу приезжают в Митино за товаром.

– Серега, – говорю я, – может, сначала посмотрим мне компьютер?..

– Не ссы, – отвечает мне Серый, – купим мы тебе твой компьютер. Найдем наших чуваков – и купим...

Мы пошли искать Серегиных чуваков. Как лоси, нарезали вокруг рынка восемь кругов. «Газели» с родными номерами нигде не было.

– Может, у них машина сломалась?.. или набухались вчера и решили за товаром не ездить?.. – разговаривал он сам с собой.

А у меня замерзли ноги.

– У меня замерзли ноги, – говорю.

– Надо водки выпить. Она согревает, – ответил Серега.

– Я не буду.

– А я выпью! У меня тоже ноги замерзли. Купи мне водки, – попросил Серый.

Я купил ему водки. Серый выпил и повеселел:

– Гоха, может травы купим? Я знаю, где здесь продается трава. Давай купим травы.

– Пошел ты! – говорю.

– Не хочешь травы, тогда давай купим «Чижа». Вон, у чувака последний

альбом «Чижа» продается.

Я купил «Чижа».

– Ну все, теперь пойдем компьютер покупать, – сказал я.

Серега зло так на меня посмотрел. Я мешал ему жить. Он, ни слова не говоря, затолкал меня в какой-то павильон, пихнул к прилавку и буркнул:

– Иди, покупай свой компьютер!

– Извините, у вас есть компьютеры за девяносто баксов (у меня уже было не сто), – обратился я к продавцу.

– Вам «материнскую плату»? – прочирикал продавец. – Специально для вас у меня есть прекрасная «материночка» и, как раз, за девяносто условных единиц... кстати, «AsusTek», настоящий «бренд».

Он меня не понимал.

– Серый, – сказал я, – у них, кажется, нет компьютеров за девяносто баксов.

– Купи тогда коврик для мышки. Он недорогой, – ответил Серега.

– А он мне нужен? – спросил я.

– Дурак, конечно, нужен! – говорит он. – Кто ж на компьютере без коврика работает? Купи «Verbatim»... или с голой бабой...

Я купил простой... китайский.

– Ну вот, Гоха, – сказал Серега, – коврик у тебя уже есть...

– Ага, – говорю, – дело за малым: осталось только компьютер купить.

– Может, пожрем? – предложил Серый. – Я знаю, где черные делают классную шаурму.

– Давай пожрем, – ответил я... и мы пошли к черным жрать шаурму. Но только мы туда пришли – Серега хватает меня за рукав и куда-то тащит со словами:

– Гоха! Быстро делаем отсюда ноги! Я совсем забыл: я этим черным штуку должен!

Но было поздно делать ноги: черные нас заметили. Я отдал черным штуку. Просто, их было больше. Намного.

Шаурму мы жрать не стали. Пожрали хот-дог.

– Не ссы, Гоха, – сказал Серега, виновато улыбаясь, – в следующий раз точно купим тебе компьютер... поедем в Митино и купим.

– Боюсь, следующего раза не будет, – ответил я.

– Давай хоть мышку тебе купим, – говорит он тогда. – На компьютер у тебя все равно уже денег не хватит. Коврик у тебя уже есть, нужно купить мышку.

Пошли за мышкой. В подарок, к мышке, продавец дал мне бесплатный коврик. Простой... китайский.

– Ну вот, Гоха, – сказал Серый, – теперь у тебя есть мышка...

– И два коврика, – добавил я.
 Мы вышли с рынка. А я захотел ссать.
 – Я захотел ссать, – говорю.
 – Я тоже захотел. Давай поссым.
 – А где? – спрашиваю я.
 – Да хоть здесь, – говорит Серый и пристраивается у бровки, лицом к большому грязному сугробу, – Гоха, в Митино можно все...
 Но Серега соврал. Мент долго гнался за нами вокруг рынка. Не догнал. Зато мы нашли Серегиных чуваков. Случайно.
 – Гоха, радуйся! – сказал Серый, – сейчас мы купим тебе компьютер. Чуваки должны мне кучу бабок. В Балашиху на тачке поедем, вот увидишь...
 Поздоровались с чуваками. Обнялись. Чуваки достали бутылку «родной». Выпили, покурили; одной мало. Чуваки говорят:
 – У нас все бабки в товаре.
 А Серый говорит:
 – Гоха, выручай!
 Выручил.
 В Балашиху мы ехали не на тачке. И в автобусе платил снова я. И в метро. И менту на Арбатской. Тому же.
 Через два часа мы были в Балашихе.
 – Серый, может, в «Урожай» зайдём? – предложил я.
 – Конечно, зайдём, Гоха! – радостно ответил Серега.

Лабус – не лабус

1

В Риге хорошо, в Риге Володьке нравится, в Риге Володька как свой: башка у него белая, щеки розовые – вылитый лабус.
 Чуваки из Володькиного отряда в город после занятий не суются: ссат. Уже двоих курсантов РЛТУГА¹ из Даугавы выловили. Оба русские. Опознали по документам, потому что у обоих рож не было. Лабусы бить умеют. Лабусы злые.
 А Володька не ссыт: у него в городе любимая. Хельга. Он любит Хельгу за то, что та мило называет его Валдисом. А еще за то, что у нее всегда мокро между ног. В его поселке у девок тоже всегда мокро между ног. У городских не так – у них там сухо. А Хельга не рижанка: она, как и Володька, из села.
 Работает Хельга официанткой в ресторане «Baltija». Там и познакомились...

В тот день Володька купил себе в универмаге отличный костюм: серый,

¹ Рижское летно-техническое училище гражданской авиации

двубортный – давно о таком мечтал. Решил, до кучи, уж и в кабак сходить. Пожрать по-человечески. Курсантская пайка Володьке – слону дробина.
 Но, когда Хельга, улыбаясь не по-русски, подошла к его столику, Володька забыл про жратву. Таких круглых коленок он не видел никогда в жизни. А ее мокренькие зубки – их хотелось лизнуть. Он и лизнул... но позже.
 Она приняла Володьку за своего: башка белая, щеки розовые, костюм серый – вылитый латыш. Правда, когда тот, смущаясь и краснея, мешая латышский и русский, стал делать заказ, она поняла, что ошиблась, но было уже поздно – он ей понравился.

2

Директор ресторана сказал, что живот стал слишком заметен – официантка не может работать с таким животом. Володька отвез брюхатую Хельгу к ее маме, на хутор. Мама смотрела волком. За своего она Володьку не приняла.
 За два месяца до окончания училища Володька стал отцом. Любимая родила ему сына. Пацан получился – супер: башка белая, щеки розовые – вылитый лабус. Имя дали – Андрюха, но Хельга мило называла его Андрисом.
 Распределили Володьку в Тюмень, в вертолетный отряд. От счастья он летал, без вертолета: все у него в жизни было ништяк.
 Решили так. Володька едет один, устраивается на месте: с жильем, с работой – потом забирает Хельгу с сыном. По пути заедут к Володькиным: показаться. Свадьбу тоже надо.
 Поцеловал Володька любимую в губы, сына – в попку, маму никуда не поцеловал и покатил.

3

У калитки стояла «Ява». Хорошая «Ява». Не было в этом ни хрена хорошего. Из коровника вышла Хельгина мама с подойником в руке. Увидала Володьку – вскрикнула, поставила подойник на землю и быстро убежала в дом. Зря он так надолго уезжал, зря.
 В подойнике было парное молоко. А в дверях стояла любимая. И смотрела холодно. Да, уезжал он надолго зря.
 – Где Андрюха? – спросил Володька.
 За спиной у Хельги нервно замаячила мама.
 – Андрис в доме, – ответила Хельга. И сразу:
 – Валдис, нам нужно поговорить.
 – Что с Андрюхой?
 – Андрис в порядке, не волнуйся, – пауза... – Валдис. Я выхожу замуж. «Ява»! Да, зря он уезжал так надолго.
 Мама за спиной пришла в движение. Она вырвалась вперед и загородила своим тщедушным телом дочку.

– Успокойтесь, мамаша! Скандала не будет, – спокойно сказал Володька. Постарался спокойно сказать.

– Мама, принеси Андриса, – попросила Хельга.

Мама не сдвинулась с места.

– Māte! Atnesiet, lūdzu!² – закричала Хельга.

Поняла, слава Богу. И нехотя ушла. Володька с Хельгой остались одни.

– Валдис...

– Я не Валдис! Я Володя! – перебил он ее.

Хельга, не обращая внимания, продолжала:

– Валдис, я полюбила другого человека. Он латыш. Понимаешь?

– Не понимаю!

Володька подошел к ней, осторожно взял ее обеими руками за лицо и сказал:

– Хельга, у нас с тобой сын, дура ты...

– Он латыш. Понимаешь?

– Не понимаю! Не понимаю! Не понимаю!

– У Андриса зубки режутся. Два нижних.

– Дай его мне.

– Он заплачет.

Действительно, заплакал. Заорал. Открыл свой маленький ротик, показав Володьке два зубика-недоростка, и заорал. Володька бережно прижал сына к груди:

– Андрюха, ты чего кричишь на папку?

– Он тебя не понимает. Мы с ним говорим только по-латышски.

– Дура ты, Хельга, – ответил Володька. – Все вы тут...

Он отдал ей кричащего малыша, а потом сказал:

– Хельга, если ты тупая, то я тебе объясню. Андрюха – мой сын! Ты меня поняла?!

Молчание.

– Ты поняла?!

– Да.

Володька вдруг почувствовал, что ему больше нечего делать в этом доме. Ему нехрен делать в этой маленькой республике!

– Хельга! Позови своего лабуса.

– Нет!

– Не бойся, не трону.

– Валдис!

– Позови!

Сутулый, длинный очкарик. Башка черная. На лабуса совсем не похож.

– Лабус, отвезешь меня в аэропорт.

² – Мама! Принесите, пожалуйста!

– Я не лабус! Я латыш! Литовцы – лабусы.

– Не перебивай меня, лабус. Отвези меня в аэропорт.

– Я не могу! Я плохо езжу.

– Зато я хорошо. Сядешь сзади.

– Я не могу!

– Заводи, лабус.

Володька гнал как придурок. Он выжал из «Явы» все. «Ява» не взлетала. Обосравшийся от страха, лабус, как баба, обхватил его сзади обеими руками.

Резко затормозил у автобусной остановки:

– Лабус, руки убери. Приехали.

Слез. Передал руль дрожащему лабусу. Затем снял с его плеча свою дорожную сумку.

– Если с моим сыном что-нибудь случится – я тебя, лабус, под землей найду!



Евгений Эдин

г. Красноярск

Родился в 1981 г. Окончил Университет цветных металлов и золота, работал корреспондентом на «Радио России – Красноярск». Публикации в журналах: «День и Ночь», «Полдень 21 век», «Октябрь». В 2007 году – лонг-лист Всероссийской премии «Дебют». Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева по итогам 2008 года в номинации «Проза».

Небесный снайпер

Люди из окна казались игрушечными, просто оловянными солдатиками. Их можно было сшибать щелбанами.

Заведя указательный палец за большой, чувствуя предщелбанную упругость между, Романчук прикинул – какого бы... Архив на отшибе, мимо почти не ходят. Плавающий облаками вечер, холмы, на холмах вдалеке одно-двухэтажные домики – частное общество. Если кого и собьешь, свидетелей нет.

А свидетель – щелбан.

Романчук раздумчиво приблизил колечко из сомкнутых пальцев к глазу. Пальцы раздались в разы, прозрачно раздвоившись; двое пешеходов-солдатиков уменьшились вместе с двором и уходящей в холмы дорогой до бесконечно малой величины. Теперь их можно было сдуть.

Романчук не мизантроп. Ему скучно. Ему везде ухитряется быть скучно. Это дар. Так медленно тянется время...

– Ну как тебе, Дима? – спросила сегодня директор, Татьяна Без Отчества. Отчество ее старит, и она не берет его на работу; без него ей легче, моложе. – Как тебе вообще? Ну, кроме Копейцева? Не обращай внимания на Копейцева, девчонки вон не обращают.

– Хорошо, Татьян. Тут у вас все так надежно, на века, – сказал Романчук, улыбаясь устало. За улыбку его почему-то любили женщины. – И Копейцев тоже.

Шесть без двух. Шесть без одной.

Романчук торопливо запер кабинет, сдал на вахту потемневший ключ, охранник вытолкнул из-за конторки велосипед Романчука. Дзынь! – сделал велосипед.

Навстречу потекла дорога – вверх, в холмы. Въехав на вершину, с которой начиналась более щадящая, вытянутая по оси икс синусоида подъемов и спусков до новой части города, он оглянулся, восстанавливая дыхание. От пота зудил лоб.

Трехэтажный Архив остро, кирпичным ребром, вторгался в холмы, как маленькая лодка в циклопические льды Арктики. Архив стремился расклинить, вспороть залегшие вокруг холмы, чтобы пробить дорогу к новому городу. Конечно, Архив был обречен. Не сегодня-завтра ждали столкновения. Бросаясь, прибавляли уцелевшее радио, ходили со скорбными и значительными лицами. Были вежливы и предупредительны друг с другом, кроме, конечно, Копейцева, но и как-то одновременно холодны. Романчук любил думать, что это от близости крушения, хотя, возможно, это – задержка зарплаты.

Говорят, зарплату тут выдают в конвертах. В старых, еще советских. И на одних, предположим, Гагарин. А на других, наверное, маршал Жуков.

Подъехав к частному обществу, он притормозил перед забором крайнего дома с мансардой и обострил чувства. Двухэтажный дом с фиолетовыми ставнями был тих, но обладал скрытой манящей жизнью. Романчук напряг зрение: на тропинке к воротам проступали отпечатки, большие невесомые инфузории-туфельки.

«Когда я сделаю это, я умру», – остро пришло в голову второй раз за день.

Солнце ползало лазерно-красным лучом по зелени вокруг, по разноцветным крышам, вдруг остановившись между лопатками.

*Это где-то выше домов, за облаками
– кучевыми и самыми высокими, перистыми, где литосфера,
и стратосфера, и голубой купол
– соизмеряясь с неизвестной многокилометровой траекторией А
– Небесный Снайпер заводит указательный палец за большой, выцеливая
Романчука.*

* * *

– Как твой первый день? – спросила жена, заглянув в ванную. – Так хочу, чтобы тебе наконец понравилось.

– Отлично, Лю, – ответил Романчук бесстрастно. – Все так ново, интересно...

Жена сузила глаза, но Романчук на всю включил душ, и она, ойкнув, захлопнула забрызганную дверь.

Романчук перед зеркалом втянул живот и расправил плечи. Недавно

пузо – даже не пузо, а маленькое, жалкое пузико – начало выпирать из ремня как тесто из кастрюли. А ведь Романчуку всего двадцать семь. И одновременно: ему уже двадцать семь!

– Плохо жить без призвания, – натираясь, пожаловался Романчук впоптевшему зеркалу.

Жене он тоже жаловался, однажды. Жена посмотрела непонимающе, и Романчук больше не жаловался.

У жены было два призвания – работа и родить. В работе она жила с головой, таская везде диктофон и крошечный микрофон «муху». Она была писательница в женские журналы и знала: если не родишь до двадцати пяти, будет страшное. А Романчук думал: если не родишь в двадцать пять, то родишь в двадцать шесть или двадцать семь.

Они были в сущности очень разные любящие люди. Они были женаты год.

Жена появлялась из дверей с бездумным взглядом, натываясь на раскиданные предметы и грызя колпачок ручки. Иногда у нее что-то подгорало на плите или разбивалось, тогда она находила Романчука, чтобы сердиться, и везде снегом летал пепел ее сигарет.

– Ты никогда не повзрослеешь, – устало говорила она ему, крутя в пепельнице башку сигарете. – Что будет, когда я буду в роддоме? Ты совсем беспомощный.

Романчук устало улыбался, прятал ее голову на своем плече, и жена раскаянно таяла, увлажняя плечо.

После душа:

– У нас получится. Сегодня у нас получится, – уверяла она во взорванной, истерзанной постели. – Я так хочу его... Скажи тоже.

– Да.

– Что – да?

– Я тоже.

– Что – тоже? О господи, скажи: я так хочу его! Скажи: я тоже так хочу его!

– Я так хочу его, – повторил Романчук.

– Нет, не так. Почувствуй, что ты хочешь его. Ты не хочешь его! – Она отвернулась, скрывая блеск в глазах. У нее часто блестели глаза и менялось настроение: такой темперамент.

– Лю, я хочу его, правда. Или ее. Мне неважно. Главное, чтобы как ты. Чтобы они были как ты. А все остальное неважно.

– Да? Извини меня, Димчук. Я у тебя такая дура... Тебе правда неважно? Обними меня. Нет, так, на мне.

Она была как материки на Земле – где-то холодная, где-то теплая, где-то

ледяная. «Климат умеренный, континентальный». Влажноватые и горячие сгибы коленок и локтей, ледяные ступни, мокрые холодные ладошки. Детские, мягкие. Романчук прижимал их к своему везде тропически-жаркому телу и грел, отдавал ток жизни. «Поэтому она не может родить», – догадывался он. Не хватает жизни, тепла. Чего-то там недостаточно, чтобы оторваться от целого и завязаться в отдельную маленькую жизнь, какой-то энергии из физики, для отделяющего взрыва, мы проходили... И ни при чем лунные фазы и экология. Он бережно оплетал ее собой, отдавая энергию на взрыв.

– Пожалуйста, закрой шторы, Лю, – сказал Романчук, перекатившись с жены на свою половину кровати.

– Ты очень странный тип, Димчук, – серьезно сказала жена. – Зачем закрывать шторы, когда мы уже? Если закрывать, то перед. Или, например, днем, от солнца. Тебе фонари мешают? Или ты лунатик?

– Просто закрой шторы, когда пойдешь курить.

– А я не пойду курить.

– Не кури, пожалуйста, в постели.

– Ты ну-удный. Ты Минздрав, Димчук! Ты Чума Египетская, Димчук!

– Все равно.

– Но это хорошо, что ты не куришь: ребенок получится здоровым, – подогнув ногу, жена зажгла сигарету, обостряя скулы. – Ой, я же не пила витамины, – она вскочила в тапки и ушлепала на кухню, сверкая узким телом. – Ты почему не напомнил, Димчук? Ты это нарочно, Димчук. Я тебе припомню. А тебе правда понравилось в Архиве?

Романчук встал, надел трусы и закрыл желтые с бахромой шторы.

* * *

Когда, лет двадцать назад, Романчук был маленьким Димой, у него что-то случилось с ухом, – воспаление, обострившее звуки до боли. Глубокой ночью он метался в постели без сна и вдруг слышал – будто внутри уха, в самой голове – капающую в ванне воду, или тиканье часов над входной дверью, или храп родителей через стену. Это было бы интересно, если бы не болезненно.

Дима долго терпел: не хотелось будить родителей и быть плаксою. Отец работал сутками.

Дима прокрался в ванную и закрутил кран на всю силу.

Пробравшись с табуреткой в коридор, он снял часы и с ненавистью остановил время, вынув батарейку.

Но начались другие звуки. Что-то все громче тенькало, клацало, билось, даже когда Дима стискивал на голове подушку. Наваливался ужас. Стены, углы, комод, гудевший где-то комар, просто существуя, причиняли мучение.

Раньше он не ощущал их страшной инакости.

Дима встал на колени и тихонько завыл, воткнув пальцы в уши и раскачиваясь. Получилось так жутко... он замолк.

И сквозь него шагнули стены.

В голове соскочило и побежало, все спуталось. Дима уже не понимал, что значат какой звук и предмет.

«Штора?» – спросила мама. Слова преломились в ушах, звуча то визгливо, то трубно, он вообще с трудом понял, что это мама. «Небесный снайпер», – вдруг незнакомо, могильно сказали за отца.

«Открой две, штора там... Ты слышишь?» – пропищала мама. «Небесный снайпер», – снова сказал отец чуждо, растягивая пружиной слова. «Спи-и-ы-нд. Я пострю-ю-у. Гарабада ша но... Шаб? Небес... Не снайу. Рдай! Спид! Небес Снай!»

Дима визжал, бился в кошмаре. Небесный Снайпер был кульминацией кошмара, логическим разрешением мучения Димы.

Они там вскочили и забегали, включая свет. Когда ворвались в комнату – сначала мама – он, охрипши, кричал, чтобы закрыли шторы, чтобы плотно закрыли шторы от неба.

Потом он наконец спал.

Назавтра Диму возили к сурдологу в центр; надев тяжелые наушники, он слушал разнообразное пищание. Иное различалось сразу, к иному приходилось приспосабливаться, с трудом обживая тональность.

Оказалось, в одном диапазоне у Димы провал, и надо пить витамины и ездить к сурдологу каждый месяц.

Через год это прошло совсем. Единственно – он так и не научился спать с незашторенными окнами.

«Когда я сделаю это, я умру», – вновь мелькнуло в голове, пока он проваливался в сновидческую зыбь. – «Почему же я сделаю? Я люблю Лю. Когда я сделаю это, я...»

* * *

Романчук преодолевал частный сектор. Медленно и будто равнодушно, растягивая удовольствие, подъезжал к двухсотметровому спуску. Внизу холмы таранил Архив, за ним толпился старый город.

Замерев на краю, чувствуя на лице ошупь ветра, Романчук осторожно переносил центр тяжести на руки, лежащие на руле. Старый город, накрепко, нехотя менял угол и вдруг свирепо мчался на Романчука, подпрыгивая на кочках. Романчук сходил в скорости и силе со старым городом. Вот – город. Вот – Романчук.

У старинной тяжелой двери Архива с огромной ручкой он отряхивал се-

рые брючины.

В коридоре встречался Копейцев, глядящий рассеянно и сердито. Стерва-старик, гроза всего Архива.

– Здравствуйте, Семен Яковлевич, – говорил Романчук.

Копейцев никогда не здоровался в ответ. Он вечно караулил в коридоре каких-то людей в блестящих туфлях, с дорогими папками, которые приходили к нему тайно – как тринадцатые ученики. Копейцев хватал их приветствующие ладони двумя руками и утягивал за толстую облезлую дверь. Пропускать посторонних в Архив было запрещено Татьяной Без Отчества, однако вся вахта боялась Копейцева. Сто лет назад Копейцев был директором Архива.

Романчук открывал древние папки, сдувал пыль с актов, указов, уставов... Тонны бумаги. Он переводил их в электронный формат в соответствии с требованием времени. Вечером Романчука можно было класть на забор и выбивать пыль. Умом он понимал, что Архив – это интересно, познавательно, это осязаемая связь между прошлым и настоящим, плюс зарплата в конверте с Гагариным, но...

Когда-то Романчук хотел быть чертежником, испещрять бумагу пунктирами и сплошными, окружностями и полу-, изящно пронзая циркулем шершавость А4, А3... Но пришла эпоха Автокада; подкравшись, обрушилась из-за спины на Романчука, и он так и замер с угольником, полуобернувшись. Сейчас он иногда брал заказы и делал в Автокаде – и это было так просто и быстро, а вручную – это было так глупо и долго. Готовальня пылилась на шкафу, и поделом. Романчук иронично смотрел на игру пылинок в солнечном свете.

Чего сейчас хотел Романчук? Зачем он?

Устав от работы, Романчук встал, хрустнул спиной и стал смотреть на холмы. На холмах стояли одно-двухэтажные домики – частное общество. В первом домике, за фиолетовыми ставнями, поселилась Хозяйка Холмов.

«Когда я сделаю это, я умру», – в который раз подумал он, глядя в окно, как она подходит к воротам, повозившись, отпирает и скрывается среди зеленого. Он не знал, почему он должен сделать это. Он даже не мог рассмотреть ее лица. Только походку, – когда Хозяйка приближалась к своему дому, доставая ключи, – и волосы. Она шла плавно, дородно; тяжело лежали на плечах русые волосы; тяжело качалась в такт походке рука, вторая поддерживала сумку...

Сколько ей лет? Есть ли муж, дети? Что в ней такого уж, что он должен умирать из-за нее? Глупости... Но эта мысль всегда приходила как письмо, в оформленном и четком виде, директивно.

Как будет?

Наверное, тупая игла проколет сердце. И никто не поверит – спортсмен.

А у него иногда болит слева, невралгия – знаю я такую невралгию. То, что маскируется под невралгию; так окапывается взвод, чтобы в подходящий момент, одним длинным выпадом, вылазкой-хаки, во время любовного содрогания...

Или машина. Давненько меня не сбивала машина.

Но он понимал, что скорее всего не будет ни машины, ни тупой иглы в подреберье. Он уже подумал это. Небесный Снайпер тщеславен. Он придумает что-нибудь поинтереснее, чем игла и машина. Да, это будет не так. Умрет ли он до того, как тронется Архив?

– Смотри под ноги, юноша, – прошелестел сегодня Копейцев, стирая с ботинка отпечаток ноги Романчука. Романчук стоял весь жалкий, не зная, куда деть свое большое тело, бормоча извинения. – Это тебе совет на всю жизнь, юноша. Смотри под ноги, иначе ты плохо кончишь. Уж ты мне поверь, я жизнь знаю. Ты живешь, не видя травы. Это самоубийство, юноша.

Серо-черно-белые волосы Копейцева торчат во все стороны. Волосы рвутся вон из раскаленного черепа, волосы удирают врассыпную от кипучего мозга. Температура его головы как у солнца, как внутри молнии. Бывает, он мрачно сидит за столом у себя в кабинете, и воздух у его остановившихся глаз колеблется от загадочных сил, и в комнате свежо пахнет озоном.

– Ну как тебе, Дима? – снова спросила сегодня Татьяна Без Отчества. – Как тебе, не считая Копейцева? Не обращай внимания, ему вот-вот на пенсию.

Вселенная для Копейцева – домашние тапки. Он надевает ее бездумно и буднично, шерудя стопой, чтобы удобнее села. Наверное, Копейцев знает о штурме Архива, знает о Небесном Снайпере. Знает, как это можно – любить Лю и умереть из-за Хозяйки Холмов.

* * *

Слетев с холмов, Романчук ехал домой по угреватой, побитой оспинами коже улиц. Иногда кожу утюжили желтые катки, и она становилась смуглой, новой, и липла к подошвам и шинам. Сейчас, после дождя, асфальт матово зеленел. «Аномал» – сказала про Диму одна из врачей в военкомате. Это значило – дальтоник, которому позволено защищать родину. «Ничего, Леонардо да Винчи тоже был аномал!», – подбодрил второй, хлопнув Диму по спине.

Романчук не прошел по плоскостопию.

Зеленый был главным цветом, подумалось ему сейчас. Зеленого на земле было больше, чем любого другого. И оттенков его больше. Столько травы! Интересно, первый человек, назвавший зеленый – зеленым, что он увидел? Молодую траву? Глаза любимой женщины-самки? Кустарник, дерево? Какой кустарник, дерево? Все зеленые, все разные...

Романчук заволновался, чуть не наехав на прохожего: почему-то это было очень важно – какой зеленый первичен. Ящерица, изумруд, утренняя дымка, дерево? Тут была тайна всего мира, начальная точка отсчета, хитро запряженный конец гордиева узла. Ведь если изначальный зеленый на самом деле светло-зеленый, как салат, или голубоватый, как репейник, сдвигаются и все остальные цвета! Тогда синий – голубой, красный – оранжевый... А если сдвигаются цвета, то и остальное...

Среди зеленого, близкого для наблюдения, больше всего было – травы. Все выходило из нее и все входило в нее. Он никогда не думал о траве, действительно жил, не видя травы, хотя она была под ногами, под колесами велосипеда. Он не знал ни одного настоящего названия, кроме разве что кашки и одуванчика полевого. Были «солдатики», которые в детстве азартно хлестались друг о друга, пока у одного не отскочит голова-кивер – но разве они правда «солдатики»? Были еще «петушки» и «курочки» – но даже этого не скажешь наверняка, пока не поведешь рукой снизу вверх по суставчатому стеблю, собирая между пальцев гребешок...

Теперь его работа, его призвание было – знать траву, ощущать ее разность.

Как же все связано с травой? – думал Романчук, нажимая на педали.

Во дворе у подъезда он впервые увидел, из чего растет трава, увидел траву-ребенка. Она лежала маленьким круглым гнездом. Когда говоришь «трава», представляется именно эта, первичная, простейшая; ее еще можно рвать на ровные полосы – так хорошо, легко расходится по швам-прожилкам... Романчук слез с велосипеда на корточки и, весь замерев внутри, погладил травинки гнезда, как волосики. И тут же увидел другое гнездо травинок-детей; и третье, и четвертое... И это из них потом составляются луга?

– Слушай, Лю, ты замечала, как растет трава? – спросил жену Романчук после ужина. Ему надо было поделиться. Жена лежала на кровати с ноутбуком и сигаретой, вялая, с морщинами на лбу. – Ну эта, самая простая, которая везде?

– Конечно.

– Ну?

– Ну... как ежик такой... как зеленая астра. Не знаю, как сказать.

– Так. И как она называется?

– Мятлик луговой. Учи биологию. Не мешай, Димчук, будь умница.

– Ага. Мятлик... И что? И ничего? – разозлился Романчук. Было непонятно, как это человек, знакомый с тайнами травы, может быть спокоен. – И тебе совсем ничего?

– А что? Что тебе надо от меня, не пойму?

– Да ничего мне не надо от тебя... – Романчук скис, завял. Ему стало одиноко. Он раздражался. – И не кури в постели, пожалуйста. Попросят же. Неужели трудно?!

Жена посмотрела удивленно, но тут же снова ушла в компьютер.

Романчук привстал, сдерживаясь, вытащил из ее холодных пальцев тлеющий окурок и раздавил в пепельнице. Пепельница была переливающаяся, радужная. Жена снова посмотрела удивленно и обидно спокойно; потянулась за пачкой. Романчук скомкал пачку и стуча пятками ушел выкидывать.

– Начерти чертежик, – подумав, уколола жена исподлобья. – И успокойся.

– Суп был пересолен, – припомнил Романчук, обижаясь. Он так не любил, когда это начинается.

– Купи машину. Деточка.

– Слушай, Лю...

– И постриги ногти. А потом сполосни ванну.

Романчук задохнулся. «Как же никто не может предотвратить, когда такое вот начинается!» – мелькнуло. Жена смотрела со злостью и интересом... Но как-то быстро он потушил себя, сжал челюсти и уже, отвернувшись, думал о том, такой ли уж малиновый этот халат или немного клубничный тоже.

И к нему пришло.

Он четко увидел, физически почувствовал все прямые и кривые в комнате, всю геометрию ее и вещей, точки напряжения, держащие панораму, не дающие ей развалиться, изменяющиеся, плавающие, когда он меняет угол зрения; все, что было за спиной – чувствовал, видел тоже... Он словно оказался связан невидимыми нитями со всем вокруг.

Это было как впервые открыть глаза под водой. Как увидеть объемную картинку в стереоскопическом журнале.

– И убери в холодильник соленый суп. А то утром будешь есть соленокислый, – забила жена.

Он не понял, не осознал. Забыв дышать, он усиленно, разрастаясь внутрь, смотрел. В эту минуту он чувствовал себя центром-точкой чего-то огромного – воткнувшись в Романчука, циркуль бытия, откалывая глыбы графита на горизонте, вычерчивал окружность возможного познаваемого.

«Ах ты, маленькая», – все же временами пронеслось в голове, и это омрачало радость, но чуть, облачком. – «Ах ты...»

Легко вычлняя глазами овал, квадрат и трапецию из пуфа посреди пола, играючи разъяв в гамму и простые линии, Романчук прикидывал, на сколько тонов станет бледнее его цвет при дневном освещении и какой оттенок получится, если сейчас бросить на пуф газовую косынку жены. А если утром?

Не забыть учесть голубые утренние тени... Он становился гроссмейстером цвета.

– Не спокойной не ночи, – сказала жена, закрывая ноутбук. Ей было обидно нереагирование Романчука. – Ты проснешься, а я не буду с тобой разговаривать. Ты позвонишь с работы, а я не буду с тобой разговаривать. Ты придешь с работы, а я не буду разговаривать!

Ночью между ними ворочалась обида. Жена прижималась к стене, чтобы не прикоснуться к Романчуку. Романчук балансировал на другом краю, обнаруживая и разлагая цвета на черной изнанке век. «Когда я сделаю это...» – пришло запоздавшей электричкой.

* * *

Назавтра в городе обнаружилась уродливая сутулость фонарей, расхлябанность домов, непрямызна их стен. Все столбы по улице оказались чудовищно неперпендикулярны, и их неприкаянные тени с утра до ночи бродили вокруг, стыдясь солнца. Собаки бегали как-то особенно выпукло, блестя языками. Капли ночного дождя на стекле дали заметить цветное родство с ртутью. Романчук обрел новое зрение. Он осваивал его постепенно.

Странно, с детства неплохо рисовал, но как бы не видел цветов – было неинтересно. Вот серый, простой карандаш по белой бумаге, уверенно, по линейке... Сейчас он спохватился: какая белая! Бумага или серая, или голубоватая, или сжелта; и не серость – не простота – «простого» карандаша нравилась ему, а его серебристый отлив – под белым, желтым, оранжевым светом лампы! Это же...

Теперь у него было три работы. Архив, знание травы и эта. Он качественно делал эту работу – смотрение вокруг.

– Юноша, ты решил стать знатоком травы? – спросил сегодня Копейцев, удачно разминувшись в коридоре с Романчуком, язвительно усмехаясь. – Ты далеко пойдешь, юноша. Только, юноша, уходил бы ты отсюда, пока не поздно. Архив – Титаник старости. Тебе лучше быть в другом месте, – и зловеще подмигнул красным глазом.

Несомненно, Копейцев знает о заговоре Архива. Копейцев – идеальный человек, третья попытка Господа. Бог сделал Копейцева достаточно твердолобым, чтобы не слушать трепотню женщин; достаточно толстокожим, чтобы, в случае, о его ладони ломались гвозди. Он ненавидим, как пророк и заслуженный пенсионер. Он ходит из кабинета в кабинет, чуть наклоняясь вперед и выпятив тощий зад (у него поясница), и учит, доводя до слез женщин.

– Дорогуша моя-а-а, – говорит Копейцев, сунув руки в карманы. На руках его стареет шерсть. – Что это у тебя на столе за зиккураты? Ты копишь до-

кументы на макулатуру? Ну-ка...

Копейцев приходит и уходит когда угодно, как сын божий. Щурясь от света и близорукости, Копейцев идет на работу и с работы, помахивая рыжим портфелем, и солнце восходит из одного его кармана и садится в другой.

– Вы знаете траву. Какого цвета трава? Какой зеленый изначальный? – обмерев, спросит Романчук завтра.

А сегодня он будет до шести. Будет смотреть в окно, пока Хозяйка не пройдет по дороге, тяжело, мудро и неспешно, оставляя на дороге инфузориитуфельки; иногда в платье, иногда в джинсах – ей хорошо. Откроется и закроется дверь возле фиолетовых ставней. Потом он будет смотреть на облака, называя цвета, и ждать – вдруг зажжется свет. Вдруг из дома выйдут – нарвать ранеток, сбить росу с травы, потряхнуть тяжело волосами...

Что это? Трогаются? Архив трогается, распуская на асфальте паутину трещин?

Нет, это просто плывут куда-то разноцветные облака.

* * *

Не было никаких конвертов. В день полочки Татьяна Без Отчества долго ругалась за дверью с Копейцевым, а потом вышла вся красная и, натянуто улыбнувшись, ущипнула стоявшего в очереди Романчука за пиджак.

Жена была холодна с ним три дня... или четыре? Это было смутно и неважно. Она уже не сердилась, но делала вид, он улыбался, хотя сердился; было у него внутри что-то мстительное, и он не шел на сближение, будто по рассеянности; надолго уходил в себя и смотрел – так много надо было обойти и увидеть.

С зарплаты он подобрал в магазине новый комплект одежды, весь на тонких цветовых оттенках. Новые ботинки. Жена удивилась и нахмурилась, неверно истолковав, нюхала одежду, искала волоски и вечером же сделалась ласкова.

– Давай больше не будем ссориться, Димчук, – сказала она жалобно, оплетая собой Романчука. – Мне так плохо. Мы такие с тобой дураки, Димчук!

– Мы паразиты, – согласился Романчук, оплетая собой жену. Так же, как при ссоре он не особо огорчился, сейчас он почувствовал, что не слишком рад примирению, и это огорчало, но тоже – так...

– Мы подонки! Мы шахиды-террористы! Мне так стыдно перед нашим ребенком. Сегодня получится, я чувствую.

– Мы отстой. Мы кунсткамера чувств. Но мы постараемся.

У слов определенно были оттенки. Они вспыхивали и гасли, мгновенно меняясь, как узор в калейдоскопе.

– Мы Чума Египетская. Как ты меня терпишь? – спросила она. – Хоть бы ты изменил мне, что ли. Что напрягаешься, шучу. А мне было бы, наверное,

интересно любить тебя как чужого, такого красивого, другого...

«Не затем ли трава, чтобы цвета? – думал Романчук, чувствуя щекотание у сердца. – Не затем ли цвета, чтобы костюм? Не затем ли костюм, чтобы проезжать мимо? Я не могу, я не хочу. Зачем мне жить с открытыми шторами?..»

Он истово, религиозно обнимал стонущую Лю, отдавая энергию на взрыв.

* * *

Через месяц дети травы выросли в подростков, во взрослых. Сквозь них, встав им на плечи и придавив, вылезли другие. Появились розовые и фиалковые грампфончики, фиолетовые репейники и какие-то темные четырехлистные без цветов, – а сама трава исчезла, ушла назад в землю. Романчук наблюдал с интересом. Романчук-то думал, что травы растут враз. То есть он конечно знал, что есть сезоны цветения, но не замечал, как травы вытесняют, душат друг друга. Он медленно ехал по дороге, плавно давя на педаль, слыша, как ползут из земли травы, как выступает роса. Травы разговаривали между собой ароматом, полынь перекрикивала.

Вскочили одуванчики – целый луг. Самые знакомые и интересные с детства цветы. Желтые, крупные, такие кучные и деловитые, будто на совещании. Через неделю к желтым одуванчикам присоединились другие, в белых барашковых шапках – старики спустились с гор увещевать молодежь. Потом как-то все они враз исчезли, и с неделю на их месте ничего не было из цветов, только наливалась, змеясь, темно-зеленая, до синевы, поросль – невероятные переплетения, бесцветочно тянущиеся к дороге...

И вдруг в одну ночь сквозь массу выстрелили длинные, обсыпанные мелкими желтыми цветками стебли. И заполонили весь луг, зажигая его в сумерках.

Рост всего замедлился, дело было сделано. Посреди фосфорического поля темнел дом с фиолетовыми ставнями.

Какое дело? – думал Романчук озадаченно.

* * *

Его теперь коробили некоторые сочетания цветов в зданиях, одежде встречаемых. По дороге домой он вписывался в толпу штрихом мастера, вишнеткой, разбавляя и ретушируя, исправляя эту кричащую безвкусицу. И уже снисходительно смотрел на классическое желто-синее, черно-белое... Хотя в исполнении природы классика была волшебна – облака на небе, цветы в холмах, панамы на ребенке... Романчук ехал, крутя головой по сторонам, ошарашенный.

На вытянувшейся тенью окраине, на песочной обочине Романчука чуть не сбила прострелившая дорогу вишневая «мельница». И это тоже так мимолетно и остро, так неожиданно красиво... Сердце толкнулось дважды, и лишь второй раз – от страха. Песок обочины на закате проступал лилово.

Бах! – и Романчук подлетает в воздух... Искореженный велосипед... Успел бы он оценить красоту вишневого на лиловом?

Подъехав к мостику через грязный ручей, Романчук оперся о перила, попытался расфокусировать зрение и не осознавать. Как будет мир, улица, без него?

Чуть закружилась голова, и мир поплыл, тронулся; но тут же рывком вернулся и словно даже укрепился, став еще более четким и самостным: более квадратным – домами, более зеленым – листвою... Мир, похоже, мог быть ничуть не хуже без осознания Романчуком. Когда-то раньше, когда было мало людей, каждый был значим сам, по очереди подставляя атлантовые плечи небосводу – держать, катать на плечах новорожденный небосвод. Им всем еще надо было, необходимо было что-то делать, чтобы история двигалась, чтобы мир не замер. Сейчас миллиарды воль загоняют мир, а повзрослевшее небо рвется с телевизшек в космос.

*Туда, где литосфера и стратосфера и небесный купол
– где соизмеряясь с некой неизвестной траекторией А
– гигантские пальцы соединяет в кольцо Небесный Снайпер.*

Дома жена стояла с гардиной, как с копьём. Ей шло копьё.

– Почему я должна это делать? Придывать гардины, вбивать гвозди? – слезно воскликнула она, швыряя гардину на пол. Рядом комом валялась штора.

– Потому что ты ее оборвала, когда я был на работе, – виновато ответил Романчук, толкаясь с велосипедом в лимонной прихожей.

– Ты всегда найдешь причину! Ты всегда ни при чем! Как меня все достало... Эта работа, этот дом, ты! И не надо меня обнимать, будто я дура! – она вырвалась и заперлась в ванной.

Романчук озабоченно прошел в комнату, воздух в комнате был синеват. На столе лежала полоска с одной черточкой. Желтоватая полоска с одной розовой черточкой. Романчук вздохнул. Лю всхлипывала сквозь шум воды. Надо было повесить шторы до ночи.

Почему упала гардина, почему разбитый стакан? Архив пробовал силы.

* * *

– Вот так я могу тебе сказать, дорогой мой, – говорил Копейцев, шурясь в пол. У Копейцева выход на пенсию. Сегодня собирали деньги и радова-

лись, как на Пасху. Но потом, выпив по рюмке, быстро разошлись, оставив коридоры гулками.

– Вот так, дорогой мой юноша. Ты морально – старик. Я тебе говорю... А я – молодой. Мне семьдесят.

Красный от выпитого Романчук кивал, вслушиваясь, жадно ловя оттенки слов, уже сомневаясь – да понимает ли сам Копейцев, что он сын божий? Что он должен вывести всех до Конца Архива? Как же он уйдет на пенсию?

– Пойми, по сравнению с другими здесь, ты – просто никакого сравнения. Но ты бы хоть иногда смотрел телевизор! Сейчас не ездят на велосипедах. На них прыгают, ходят, но не ездят! Не прими за грубость, да?.. Я бы в твои годы...

Копейцев расхотелся. У него такое сволочное выпившее лицо и бешеные глаза. Кругом ярко и четко.

– Дай руку! – орет он, с грохотом ставя локоть на стол – бороться. Надтреснуто звенят, прыгнув, старые рюмки и блюда. Ветхая ткань пиджака на локте прозрачно натягивается. Что получается за цвет... – Давай руку, юноша, покажи, ну!

– Скажите, есть Небесный Снайпер? – вдруг решительно спросит Романчук, подаваясь вперед.

– Что?..

Копейцев растерянно заморгает и начнет невнятно бормотать... Он поднял свои пьяные слезящиеся глазки и, не в силах выдержать взгляда Романчука, опускает. Видят ли они хоть одну краску? Полно – знают ли они траву?

...Локоть лопаается.

Конечно, Романчук не спросит у Копейцева о Небесном Снайпере и об Архиве. Не спросит о Хозяйке Холмов и о Лю.

– Вчера был у жены на кладбище, – говорит Копейцев, остановив взгляд. – Там с краю еще светло, зелено, просторно. Видел вроде как бабочку. Черная, понимаешь, огромная, красивая, села рядом, такие крылья... Пригляделся – пепел. Жгли что-то, венки, ленты... Мне бы ваши годы! – с плотоядной жадностью говорит Копейцев, и в глазах у него на миг мелькает такое... Он порос пегой щетиной, и из ушей торчит седина.

Копейцев просто стар и мертвецки пьян, и никакой он не мессия, не сын божий, уверяется Романчук, вставая на нетвердые ноги. Просто одинокий старик, который не хочет уходить. Романчуку грустно за Копейцева и жалко всех.

– Завтра... Ничего этого не будет! – орет Копейцев в спину. – Завтра...

уже ничего не будет! Беги, удирай, юноша! Я тебя предупреждал, юноша! – трубит Копейцев, и стены трепещут от ужаса. – Завтра... выходят сроки! – кажется, он рыдает.

Романчук ехал в автобусе, взгромоздив велосипед на одно колесо, сзади напирала. Было непривычно и остро чувствовать чужие локти.

Дома жена красила волосы. Он так любил сейчас жену, ее круглое личико.

– Мне идет фиолетовый? – крикнула она. – По-моему, ничего. А? Посмотри, пожалуйста, сзади. Ой, ты напился!

* * *

С утра с небом творилось странное. Заворачивались такие причудливые облака, у неба крутило живот. Свет падал странно – уж Романчук знал толк в этом. К вечеру передавали грозу, ураган; все понимали, что Архив штурмует холмы сегодня, и ходили озабоченные, поглядывая на кабинет Татьяны Без Отчества. Выцветшая дверь Копейцева выглядела заколоченной, нежилой. Желтые цветы пригласительно улыбались Романчику с холмов, они как-то особенно светили...

В обед опасно звенели стекла в рамах, в небе громоздились корабли и пушки. Татьяна дала сигнал к отступлению, захлопали, шелкая ключами, двери. Женщины боязливо шутили – не унесло бы... не сыграть бы Мерилин Монро под пропеллером... Романчук делал спокойное мужественное лицо.

Выведя велосипед во двор, он на секунду заколебался – такие порывы ветра...

Ветер развеивал сумку, бил ею по спине Романчука, Романчук, взмокая, гнал велосипед в холмы. Приходилось очень сосредоточиться, чтобы удерживать двухколесное равновесие, то справа, то слева обрушивались воздушные удары. Корабли перестроились: теперь только над холмами зияла рваная прореха, от горизонта к горизонту небо вспухло тучами. Некоторые были нежно-фиолетовы, цвета расплывшейся пасты, были изжелта, как мертвые лица, были чудовищно синие, были начиненные тяжелой чернотой.

Горизонты были на цвет как уголь, обсыпанный золой.

Въехав на вершину, Романчук устремился в центр сужающегося кольца. Свет из тающей прорехи струился на желтые цветы, они светили отраженно, ярко, почти до боли в глазах. Романчук шурился от света и порывов ветра.

...Загрохотали сто громов со всех сторон – то был сигнал для Архива к штурму.

...И все тронулось.

Его бросило в сторону, в другую, сдернуло с велосипеда. Вокруг страшно разгуливались воронки высвободившейся Архивной пыли.

Он почти наощупь, обрывая желтые цветы, нашел велосипед, занес ногу, но его чуть не опрокинуло, и он повел его рядом. Потом, матернувшись, бросил (звуков не было) и пошел спиной, потом решил вернуться и сбился совсем. Вокруг были одни проклятые желтые цветы и странный свет сквозь пылевое сито. Небо грохотало, свернувшись как молоко.

Когда он в очередной раз обернулся, на пути вырастал дом с фиолетовыми ставнями. У двери, доставая ключи, на Романчука оборачивалась Хозяйка Холмов. Русые волосы рвал ветер, полоскала по ногам юбка.

Просвет в небе исчез, кольцо сомкнулось. Хлынул ливень.

* * *

На нем оказались чьи-то мужские вещи. У нее оказался совсем не такой голос. Не тяжелый, а легкий, шелестящий. Он был даже разочарован им сквозь все остальные чувства. Но тут как бы шелкнуло, что-то соединилось, и он понял, что голос был тот самый, какой нужно, какой должно. Как если бы с двух сторон прошлое и будущее двинулись навстречу и сошлись в точку на холмах – так все соединилось в единственно возможное, и только сейчас можно было это осознать, до – никак.

«Мне страшно? – спрашивал он себя. – Мне радостно? Как мне?» Ему было чудно, как в сказочном бреду. Светила уютно лампа, везде было чисто, зыбко, нереально. Почему-то все казалось большим – шкафы, столы, стулья...

– Нормально? – спросила она, кивая на одежду. – Это сына. Он в институте в Москве, на биолога.

Ей, наверное, было сорок – сорок пять, судя по коже. Все остальное было без возраста. Тяжелое гармоничное тело, тяжелые мокрые волосы. Легкий, шелестящий голос.

В окно грудью бросался дождь.

– Там, в Архиве, какой-то парень. Он постоянно смотрит из окна. Иногда мне бывает страшно, – сказала она, подойдя к струящемуся окну, усмехаясь. Было непонятно, просто или с намеком.

– Архива больше нет, – сказал Романчук трагично, пряча глаза в огромной кружке с чаем.

– Правда? – спросила она, подняв бровь. – Ах да. Я забыла, – и опять было непонятно, шутит ли она... Ее глаза смотрели странно. Тепло и странно. Они не смотрели на него, только вокруг, гладили взглядом мир, созданный ей в доме. Тяжелый, мягкий, как перина, мир и покой.

Ураган не прекращался.

Одежда давала повод для таких шуток: мама – сын, мальчик...

– Зачем желтые цветы? – спрашивал он нервно, лежа с ней. Это было вроде игры. Они оба переигрывали, остранняя ситуацию. – Я не могу, когда такие яркие цветы.

– Тс, – отвечала она, глядя его по голове, – Эти цветы, чтобы лучше видеть нас сверху.

– Кто должен видеть нас сверху? – спрашивал он. – Я боюсь, – полушутя-полувзправду обмирал он, теребя ее волосы. – Закрой окна. Я не хочу, чтобы нас видели сверху.

– Не бойся, мальчик, – отвечала она, проводя взрослыми, чуть шершавыми пальцами по его лицу. – Тс. Я защищу тебя. Потом ты вырастешь и защитишь меня... если меня будут ругать те, кто сверху. Расти, мальчик, – говорила она, прикасаясь к нему умело, как музыкант.

– Да, я защищу тебя, я вырасту, – говорил он будто во сне, стягивая с нее то, что мешало чувствовать ее тепло своим. Она привставала и двигалась, помогая ему, уже сливаясь с ним в движениях. Она была очень горячей. Он был холодным по сравнению с ней. – Я расту, я взрослею. Скоро я буду совсем готов.

Он был готов к удару с неба. Вот рвется туча, вот два ее конца сходятся в кольцо, он знает его упругость... Он сжимал зубы, часто дыша, все было так остро и неотвратимо – он ждал, он чувствовал квадрат окна спиной. Оголенное окно, оголенный нерв...

– Говорят, твои холмы сравниют, – сочинял Романчук, двигаясь как вода, без ритма и осознания, так, как надо, чтобы жить, дышать. – Говорят, тут будет центр города. Я не хочу, чтобы тебя сравнивали.

– О... Все будет хорошо. Без холмов не может стоять город. Две половины города... Я знаю точно. Меня не сравниют.

Он словно спрашивал себя и получал ответы от себя, был ей... И чувствовал незащищенность, бесшторность окон.

– Они не понимают. Никто не понимают. Даже... Я никем не хочу быть, – говорил он. – Я хочу смотреть на облака, знать траву. Мне не нужен их интернет, машины, ничего их не нужно! Облака, трава, дети – это больше, понимаешь?

– Да. Ты хочешь быть художником... Да! Или, может, модельером, да! – вскрикивала она хрипло, будто заглядывая в него.

– Нет, – горячился он, потя, – нет, нет! Только смотреть на облака, знать траву, видеть детей! Я не хочу создавать, никто не смотрит, никто не слышит даже то, что есть. Никто не знает траву, облака, никто не думает о них, они чахнут и умирают, облака умирают!

– О... тише, успокойся. Я думаю об облаках. Я знаю траву. Да! Они не умрут.

– Правда? – удивлялся он радостно. – Действительно? Честно? Понимаешь, я хочу просто видеть, слышать звуки, жить. Тысячи людей – им трудно и неинтересно жить. И вот я буду жить за них, делать эту работу. Почему бы им не давать мне в месяц по копейке... Почему Президенту не выделить...

– Да, да! Ты прав, но... Только ты еще не понял одну вещь. Взрослей, мальчик, да... Расти, мальчик, расти.

– Если я хорошо схвачусь за траву, я переверну этот мир, вот увидишь, – бормотал он, изнемогая. – Трава – мощная штука... Мне бы знать изначальный зеленый, уж я бы схватился как следует...

– Завтра, завтра узнаешь, – отвечала она успокоительно, глядя его плечи. – Все завтра... Но что ты будешь делать с перевернутым миром? И как же мы, мальчик? Мы ведь живем здесь.

* * *

В окнах брезжил свет. Она спала рядом, укутавшись тенями. У нее были подвяловатые губы, спокойное и не очень красивое лицо. На таком спокойствии не могло быть еще и красоты, они бы не ужились.

Я жив! – пришло в голову.

Работа! – вспомнил он ярко.

Но Архива больше нет, подумал он, садясь, и поморщился. Архива больше нет. Рутины – нет. Я жив.

В ванной он снял с сушилки одежду, она почти высохла. Он тихо оделся, стараясь не зазвенеть ключами, не рассыпать мелочь. В голове было пусто и гулко.

Опустилась ручка, дверь открылась без звука, впусив влажный воздух... Перед ним раскинулись луга.

Трава была яркого последождового цвета. Однотонного, цвета зеленого фломастера – каким рисовал траву в детстве. Обычного цвета обычная трава. Он шагнул в нее. В ботинках хлопнуло. Романчук снял их и пошел босиком. Где-то здесь должен быть велосипед... Где-то в мокрой траве, погребенный под архивной пылью, грязью...

На него наваливалось что-то тяжелое, сознание прояснилось медленно. Ему не хотелось оглядываться на дом с фиолетовыми ставнями. Желтые цветы пропали, осыпавшись. Облака в небе были молочно-белые и не закольцовывались в шелбаны. Они лежали как на плоскости.

– Ну, где твои девять граммов неба, Небесный Снайпер? – сказал Романчук негромко.

Скривив губы, он расстегнул рубашку на груди и крикнул. Голос был как укутанный ватой:

– Эй, покажись! Объясни, зачем это! Зачем нам это?! Почему так – острее?! Эй ты, Небесный Снайпер! Делай работу! Я не закрываю окна! Ты хочешь потерять работу? – он раскрутил ботинки и забросил их в белые облака.

* * *

Замерев, понюхав одежду, он нажал звонок.

– Как я за тебя боялась! – заплаканная Лю кинулась на грудь. – Ты жив, в порядке... Передавали, что-то с Архивом, взрыв... У нас оборвало все провода, оборвало связь, – жаловалась она сквозь слезы, вжимаясь в него.

– Да, мой телефон... – промямлил он, обнимая ее неузнавающими руками. Ему было так стыдно.

– Ты потерял телефон?.. Где твой велосипед? Где твои ботинки?

– Д... э... Мой велосипед...

– Поздравляю!

Как он привык к бесконечным «поздравляю, ты напился», «поздравляю, ты порвал рубашку», «поздравляю»...

Романчук сделал движение плечами, освобождаясь от объятий. Как ему все надоело, как он сам себе надоел...

– Поздравляю, у нас будет! У нас теперь точно будет, – вся светилась она слезами, теребя его. – Я проверила еще раз. Ты будешь ждать? Я буду. Мы будем ждать! Мы будем очень ждать, да? – говорила она светло.

Претенденты 2008 года

Поэзия



Денис Берестов

г. Москва

Родился в 1978 г., студент-филолог. Финалист Ильи-Премии 2005 года; печатался в журнале «Сибирские огни», альманахе «Илья». Выпустил сборник стихов «Рождение».

Комната-колокол

* * *

Вечер. Рабству конец. Золото упразднили.
Я иду домой, дом – это там, где тебе простили.

Дом – это где тебя вечно нет.
И у входа воспоминанья, как сторожевые псы.
И у выхода – трафарет
Будущего,
Эти продавленные часы
из Бергмана...
Подошел к двери,
И не слышно псов.
Через стенку тикает
Бесстрелочный циферблат.
На дверях с бедой пополам – засов.
То ли нет живых, то ли крепко спят...

* * *

У прошлого нет продолженья, нет связи, оно –
Марионетка на нитках воспоминаний.
Разбавленное вино
В чужом стакане.
Недописанный натюрморт с большой геранью.
Недосказанное словцо
В момент прощанья,
Не запомненное лицо...
Этот аптекарь, брезгливый до мелочи,

Отвергающий напрочь календари...
Отдыхай – беспокоиться не о чем.
Прими душ, выпей чаю и закури.
Он уже никогда не придет,
Не выбьет тебя из седла.
Две тыщи какой-то год,
Какого-то там числа...

* * *

Комната-колокол, первый час
Ночи, маятником к стене
Припав, тело – всего лишь часть
От целого Языка во мне.
Звук вылетает в форточку, двор
Заставая врасплох, наугад...
Так, зачеркнув героя, смывая с лица свой хор,
Трагедия сходит со сцены
В первый ряд.

* * *

Скорый, что разинская корма,
Рассекает ночной перелесок.
Ветер взбивает пену из занавесок.
Как мотыль о стекло
Ледяного плацкарта,
Бьется разбуженный дождь
Из прошлогоднего марта.
С той стороны окна
Смотрит цыганка-равнина:
Сколько осталось пути?
Вечность? Сон?
Половина?

* * *

Август. Настала расплата.
Время воздеть на крюк
Твое полинялое платье,
Поношенный мой сюртук.

Прошлое – тот пергамент,
Чьи литеры перетлели,
Сыпется под руками
Сургуч впечатлений...
Из комнаты-паутины
Бабочка мысли в ночь
Смотрится, как руина,
В озеро. Превозмочь,
Тем более отворотить,
Будущее – нельзя.
Сумраку взаперти
Бабочкою грозя...

* * *

Твой преждевременный снежок,
непредсказуемый, случайный,
как между пережитых строк
ложится он между трамвайных
путей, и улиц, и домов,
что птице видятся скорее
цепочкой вычеркнутых слов
и в скобки загнанным хореем.
Она размеренным крылом
твой перелистывает город
из запятых людей, кругом
не в лад расставленных, повторов,
косноязычия пустых
дворов, улавливая к ночи
вдруг смысл, уставившись на точку
окна, дочитывая стих.
В окне как будто человек,
его лицо черно иль снег
настолько бел, что в этом часе
предел задуманного ясен
и птице. Дальше – пустота
за человеком объяснима
одним уже, что птица та
нет, не к нему летит, но мимо...
Мимо.

Март

Свежая лилия, срезанная на тротуар,
Щупальцами лепестков хватается за мостовую,
Как утопающий за песок, в ореоле фар
Отрывается тромбом лед в расчете на мировую
С первым залпом-лучом атакующего апреля,
Высвобождая струйку прозрачного кипятка.
Старинными пагодами бульварные ели
Во множестве отражений поддакивают из-под каблука.

Март – агония снежной лилии,
Бесприютной ветхости, траурной нищеты...
Из раздавленной белизны такое сквозит бессилие,
Что уже и не знаешь, на что здесь годишься ты.
И мысли привычны наравне с простудой
И приступами одиночества в ностальгическом дыме.
Но все зарубцует ветер, грядущий на нас оттуда,
Где ворожат черемухи с ливнями молодыми.

* * *

Вот эта улица, тополь и дом.
Вот эта барышня, что не при чем.
Светлое платье, бант розовый, шрам...
Имя ее, там-тарам... там-тарам...
Крутится-вертится шарик, пуста
Улица, как только снятый с креста,
Тополь опал, время шесть без пяти
Лет, ничего никого не найти.
День без лица, в сетку листвы
Небо, тебя окликает на Вы
Старый знакомый из прожитых драм,
Имя его, там-тарам... там-тарам...
Вот этот дом, на старинный манер
Шорох пластинки – тюльпан, кавалер
Ты – мимо тополя, улицы той,
Никак не твоей, в дом трижды не твой.
Зачем и к кому, не скажешь и сам,
Имя твое, там-тарам... там-тарам

* * *

Обрывается берег, начинается море.
Неразменной монетой отчеканили год.
Кто кого перебьет, перепьет, переспорит...
Время ждет, чтоб ему новый выставить счет.

Я из комнаты – вон, точно свист воробьиный.
Пафос правильных стен пробирает насквозь.
Этот крик надо мной и во мне с той же глины
Обнимает меня рамой глиняных слез.

Вновь на взмахе руки мой замедлил Челлини,
Он меня бережет, чтоб швырнуть о косяк,
И расслышать тот крик, и в расколотой глине
Разглядеть эту боль и оставить вот так...

Телефон оборвав, выбрал стены колодой
В подкидного с собой, на кону – что болит.
Скоро утро и март. От грядущего года
Мелочь дней... мелочь дней по карманам звенит.
Я твержу наизусть, будь со мной моя грусть.
Сколько света в тебе.



Настя Браткова

г. Пермь

Выпускница Пермского государственного университета. Филолог. Работала корректором в газете, сейчас – в рекламном бизнесе (копирайтер, пиарщик).

Тихое, уютное одиночество

* * *

Тихое мое, уютное одиночество,
Ласковое – ближе к ночи,
Баюкающее – ближе к утру.
Можно, я буду спать, а вставать не буду?

Ты, хорошее, заменяешь мне маму.
Вечером не зажигаю свет, а только лампу.
Свечи – слишком темно и слишком больно.
Свечи пахнут стихами и снами, а их довольно.

Я не скучаю с тобой и не жду подмогу.
Одиночество удобно брать с собой в дорогу.
В самую дальнюю, на край обрыва.
Собираю вещи тихо, неторопливо.

* * *

На западном фронте нет перемен и новостей.
Постель разложена утром, вечером и даже днем.
И если не будет в этом сезоне уютных гостей,
То мы наденем плащи и гулять пойдем.

Выпить вина и раствориться в твоей руке.
Что бы ни говорил, это ты сказал.
...Чтобы ключ поворачивать в моем замке
Не разлюбил, не расхотел, не перестал.

* * *

Кажется, это ткёт свою паутину зима.
Сама не знаю, но рада остаться одна.
Подушка пахнет тобой и снегом,
И в этом запахе все.
Наверное, слишком много – я открываю окно.
Никто не хочет насилья, и каждый хочет любви.
Но мои руки бессильны, а потому – лови.
Если не сможешь, если захочешь запаха моих волос,
Только запомни, куда меня ветер унес.

* * *

Я многого добилась в этой войне,
но она прискучила.
Своих солдат и генералов я ставлю к стене.
Стреляю им в ухо.
Мои знамена не успеют раскиснуть под дождем.
Они сгорят быстрее, чем можно представить.
Я объявляю мир,
в котором нет знамен,
в котором нет побед,
в котором нет иных времен,
кроме времени на обед.
Плотно пообедав, вздремнув часок,
возможно, ты заскучаешь
по коннице, которая – цок-цок-цок –
играет очередной марш отступления.
Даю подсказку: вокруг куча армий,
которые так занятно испепелять
дальним прицельным огнем.
Но мое сердце ты больше не возьмешь.
И никто не возьмет.



Виктор Григорьев

г. Липецк

Родился в 1976 г. в городе Нововоронеже. С 1998 г. живет в Липецке, работал водителем, сейчас работает механиком. Победитель литературного конкурса «Ступени-3» в номинации «Любимый сердцу край», участник VIII Форума молодых литераторов в Липках.

Русские мотивы

* * *

Первый сильный дождь в исходе
мая,
По карнизу катится слеза,
Смотрят из окошка, не мигая,
Хмуро шестилетние глаза.

Перевернут мир в окошке этом;
Двор озябший, в лужах облака.
Смотрит мальчик из окна поэтом
Неизвестным никому пока.

* * *

Смотрю в долину мгlistую:
Туман и свет беспечно
Границу неказистую
Ломают бесконечно.

Спустишь, и все меняется:
В безмолвии звенящем
Туман со светом маются
В рассвете уходящем.

И кажется, вот-вот ответ
Придет, но вновь обман:
То ли туман окутал свет,
То ль свет пронзил туман.

* * *

Стремглав сбегаю по стерне –
Ботвою хлещет ноги;
Туда, к заречной стороне,
Комфортней нет дороги.

Осилью сочный сонный луг,
Увязнув в повилিকে.
На берег, где обрывы вокруг
Туманны и безлики.

Скорее... Реку переплыть,
Укрыться под горою,
Чтоб на мгновение ночь продлить,
Прошедшую с тобою.

* * *

Многоцветьем пахнет белым
От тебя, весной.
Пашней, травостоем спелым,
Полною луной.

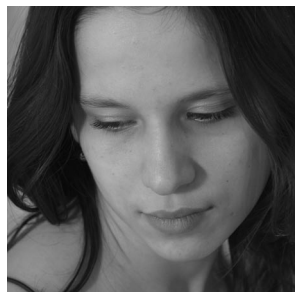
Счастьем пахнет, добротою,
И выходит так:
Надышаться я тобою
Не могу никак.

* * *

Где-то дождик ниткой тонкой
Пришивает пыль,
В небе жаворонок звонкий
Воспевает быль.

Здесь привольно и спокойно –
В самой гуще трав,
И смиреет здесь неволью
Самый дерзкий нрав.

Под ракитою устало
Прислонюсь к земле;
Боже правый, как же мало
Счастья на земле.



Татьяна Кравченко

г. Кемерово

Родилась в 1984 г. в г. Березовском. Победитель поэтических чтений «Естественный отбор» II Фестиваля актуальной сибирской литературы, Томск-2007. Лонг-лист премии «ЛитератураРРентген» (2008). Публикации: «После 12», «Урал-Транзит», коллективные сборники.

Не на своей планете

* * *

Я – лягушка, во время прыжка закрываю глаза,
испуганно вдыхаю последние минуты осени,
зелеными лапами перебирая траву, остается связать
для себя теплый свитер и спрятать зеленую кожу,
заварить себе чай из невкусных опавших листьев,
пить его каждый день и врать, что мне весело.
Вечером слушать радио, ночью – Агату Кристи,
видеть во сне Амели, жить отрывками, песнями...
Двери к тебе уничтожило взрывом, последний кусочек
сжимаю в руке, и никто не найдет остальные.
Ты, возможно, напишешь о нас еще несколько строчек,
иногда, может быть, вспоминая. И только больные
безнадежным желанием жить и верить в приметы
могут ночью идти танцевать, если свитер колет
и болит сильно лапка, носила колечко модница –
не свое и малое и не на своей планете.

* * *

Ищу иголочку твоей зимы
в сухой соломе дней, прошедших рядом,
да только мимо наших встреч случайных мы
одно и то же солнце беглым взглядом
мгновеньем сумерек проводим прочь.
Минуты острием секундной стрелки
привычно режут на фигурки время... Ночь
становится случайной, только волку
так нужен мир, в котором есть луна,

движения теней и голых веток.
Едва касаясь пола, тишина
крадется, сжав в руке листочек в клетку,
в котором ненаписанные письма. Имена
становятся теперь неразличимы,
на спинах спящих книг пытаются воскреснуть,
но даже наши сны проходят мимо,
стараясь, не касаясь взглядами, исчезнуть.

* * *

Черно-белые зерна дней прорастают зелеными нитками,
свернулись живыми петлями медленные улитки
на быстром песке времени обрывками разговоров,
следами-крестами птичьими петляет минут свора.
А я пытаюсь зажмуриться, увидеть тебя снова,
разбив все тарелки звуков, услышать одно слово
«родная» или «любимая». Мой голос украл кто-то,
хромой босоногой русалкой стояла одна на болоте,
как глупая черная цапля в холодной воде молчания...
Небо отвыкнет плакать, в след смотреть на прощание.
Сквозь холодные линзы окон мир показался серым,
оставь мне хотя бы записку, давая возможность перьям
вернуть свою нежность крыльям, которые ломит от боли.
Сегодня последние звезды кусочками белой соли
едва удержались на небе, просто повисилась влажность,
и что-то внутри сломалось, став нестерпимо важным.

* * *

Это время будет жить в твоих зрачках,
превращая в воду каждый камень,
заставляя облако в очках
продолжать движение стихами.
Эта радость остается ждать
своего предчувствия и крика,
что заставит тишину молчать,
оставаясь для себя безликой.
Это «ты» останется пустым,
это «я» тем более без смысла,
а весна зарядит холостым
ни дождем, ни снегом. Только числа

выдыхают наш двоичный код,
и на ветках оседает иней,
белый на деревьях у ворот,
не решается казаться синим.

* * *

Я иду не к тебе, по закону всех трещин
рассыпается мир, наполняется влагой.
Беспризорным котенком синеглазая вечность,
уходя, обернется, оставив бумаге
лишь холодные капли дырявой погоды,
безответный песок у реки под ногами...
У летящих камней ощущение свободы,
когда я их бросаю, замерив шагами
расстояние между пустыми словами
и неуловимой внезапностью ангела,
который танцует на крыше часами,
если небо беззвучно снежинками падает,
если небо молчит, пустотой изумленное,
и в предчувствии звезд замирает в молчании...
Я иду не к тебе, бесконечно влюбленная,
бесконечно чужая, другая, случайная...



Наталья Лайдинен

г. Москва

Родилась в Петрозаводске, закончила МГИМО. В 2004 году вышел первый персональный поэтический сборник «Небесные песни», получивший национальную премию «Книга года-2005». Автор ряда прозаических произведений и нескольких десятков публикаций в российских СМИ.

Хвост Иордана

* * *

Привычная траектория:
Диван, тротуар, траттория,
И там за бокалом кьянти
Рассказ о большом таланте.
Непризнанные кумиры
Азартно тасуют лиры:
Один бы снимал картины,
Покруче, чем Тарантино,
Другой превзошел бы Данте,
А третий стал музыкантом...
Но критики сплошь – кретины,
А члены семьи – вампиры,
И бисер метать не нужно.
А те, кто сейчас заслужен,
Все бездари и мутанты.
До ночи ворчат у столика
Три сморщенных алкоголика.
Диван, тротуар, траттория –
Банальнейшая история.

* * *

Нежность журчит насквозь,
Жар неизбежно стынет.
Ревности ржавый гвоздь
Время однажды вынет.

Что мне теперь до вас?
Не дозовешься – всеу.
Там, где межзвездный вальс,
Призрачны поцелуи.

Судного ждете дня
Вне суеты житейской.
Вам-то что от меня?
– Только воды летейской!

Чтобы напиться всласть,
Росами бросить брызги!
В землю уходит страсть,
Пленник из тела изгнан.

Долгая дань снегам,
Лунные тают дуги.
Шелест волны к ногам
Как заклинанье: Друг мой!..

* * *

Дрожащий воздух пустыни,
Где бродит тень Иоанна,
А между серым и синим –
Змеится хвост Иордана.

Льнет дьявол: гибельно место!
 Реальность плавится камнем.
 ...А ты пахнешь северным лесом,
 Балтийским ветром и... лавром.

* * *

От таких мужчин
 Не требуют дома, покоя, семьи,
 Привычки, подданства.
 Страсть ли, схватка в ночи
 Ранят руки твои
 Безрассудностью.

Безусловностью!

– Ты вернешься?

– Молчи!

С прежней ровностью.
 Пыль клубится вдали.
 Бой у стен крепостей.
 – Только б душу спасли!
 ...В ожидании жертвенном
 Вечно Бога молить,
 Жечь огонь от лучин.
 – Женщина!

Рожают детей

От таких мужчин!

* * *

Ночь чем глубже, тем напевней,
 Звезды – среди скал!
 Я с тобой познала древний
 Тайный ритуал;

Мы шагнули за пределы,
 Вне земных дорог.
 Как душа стремится к телу,
 Ты узнать помог,

Были жарче и невинней,
 Только память – прах!
 Золото весенних ливней
 Размывает страх

Всех прощаний и прощений –
 Мы в себе вольны.
 Над сияющим ущельем
 Дальний блеск волны.

В небесах парит светило
 И хранит секрет,
 Для чего судьба сцепила
 Через столько лет.

От тебя не жду ответа.

– Руки отвори!

Зависть звезд и смысл света –

Ритуал любви!

* * *

Когда я тебя ждала
 Как будто сквозь стрелы римские,
 Я за тебя сожгла
 Все свечи иерусалимские

И вылебала вино,
 Что было обоим памятно.
 Срываясь морской волной
 На острые пики пламени;

Ожогами на груди
 Обрывы любви отвесные.
 Молила тебя: приди!
 Пришли мне хотя бы вестника!

И бодрствовала в ночи
 До зори, сквозь тучи брезжащие,
 Чтоб в золото облачить
 Объятий моих убежище.

Я знала, ты будешь жив!
 Давно не дружу – с пророками.
 И близость души дрожит
 Звенящей струной за окнами.



Екатерина Решетникова

г. Саратов

Родилась в 1981 г. Закончила романо-германское отделение филфака СГУ, в 2006 – аспирантуру СГУ на кафедре зарубежных литератур и классической филологии. Участница первого и третьего Форумов молодых писателей России (Москва, Липки). Шорт-лист премии «ЛитератураРентген» (2006 г., поэзия). Стихи публиковались в журналах «Дети Ра» (2005), «Урал» (2006), в альманахе «Василиск» (2007). В 2008 году опубликовала поэтическую книгу «Замок».

Кора

1

Пронизавшая меня насквозь, от ступней до ладоней моего физического тела, падкого на ласку, соединившая разум с чувством (словно меч, вложенный в ножны, разум теперь неопасен), мою речь прошившая, будто ниткой, новым смыслом и – интонацией новой: во всех направлениях связала меня воедино и в рот приоткрытый вдохнула, меня оживив.

2

Тело, прорастая сквозь тело, неохотно, дрожа и стеной, расстается на краткие миги со своим – непреложным, законным, данным самой природой – одиночеством – чтобы заново воссоздать свою исконную обособленность, очищенную – через чуждое – от самой потребности в чуждом – и, радостное, отдыхает, утолив неотступную жажду.

3

Освобожденное из покоя движением, тело медлит
 расстаться с приобретенной в покое позой
 и донашивает, словно старое платье, жесткую форму,
 в которую было когда-то отлито и с которой –
 для себя незаметно – срослось. Оно оковано в страх,
 в боязнь потери, в силу привычки, в потертый
 доспех судьбы, и незнакомые руки, разоблачая его,
 подобно священной тайне, на ощупь вылавливают
 невидимые трепыханья – словно скользкую рыбу
 из мутного озера – из убежища темноты.

4

Обезличенная настолько, что собственное отражение
 в зеркале не удержит взгляда и на полмига
 (словно незрячей насмешку подсунули под нос),
 она ищет такую поверхность, что, подобно поверхности
 водной, наделена глубиной, так что самого дна и не видно,
 что отражает – не внешность, и не в хрусталик глазной
 посылает удар свой, а в сердце. И лицо, обретенное под
 влажным плеском чужих поцелуев, улыбнется
 и вернет поцелуи обратно, чтобы круг не прервался.

5

Плету рукой прикосновений сеть,
 вяжу узлами крепко поцелуи –
 я выловить хочу, но не большую рыбу,
 которая от наслажденья – необъяснимого –
 умрет на берегу, глотая зыбкий воздух,
 а речного бога, виновника стихов моих,
 которого приговорю внимать
 моей сладкоголосой боли,
 отлившейся в созвучья новой формы,
 покуда речь сия внезапно не сорвется,
 как спелый плод, в другие уши.

6

Я даю – заранее лживую – клятву тела.
 Руки станут путами, объятья – цепями,
 и шелест дыхания притворится
 неразборчивым словом любви.
 А ту чашу, из которой, как варвары, мы
 пьем взалхлеб поцелуи, я заброшу
 пустую – в залог своей верности – в море.
 И, оставшись одна, буду ждать –
 покуда не стихнут бурливые волны,
 берег натиском взявшие, исхлеставшие
 своим плеском неумолчным стылый воздух,
 как угроза, нависший над гаванью, – и, когда
 память, словно кожа змеиная, слезет с тела,
 все изгибы омывший крови винный поток,
 усмирившись, претворится
 в бесплотную речь, наделенную смыслом.
 И тогда я иначе скажу,
 но – иначе – ты вряд ли услышишь.

7

В сюжет чужой судьба моя вплелась
 тончайшей нитью, переменяв рисунок
 чуть заметно. Незнакомец, пришедший
 по морю, назвал себя героем и нас соединил
 мне непонятной клятвой. Я, подчинившись,
 повторила вслух слова наречия чужого,
 за голосом, незрячая, ступая, как по следу.
 И нить доверчиво в его свободные
 вложила руки. А надо бы связать их
 этой нитью. Как ошиблась! Он взял меня,
 но не в супруги, а чтобы передать другому,
 на новый лад меня настроив, как кифару,
 и бросив, спящую, на острове каком-то.

8

Твой поцелуй во рту рождает слово,
 которое глотаю, как песок горячий, –
 оно меня дерет и обжигает
 и, обращаясь постепенно в камень стылый,

под сердце залегает мертвым кладом,
 носить который тяжело и больно.
 И остается ждать разбойника, пирата,
 который, грабя, все с собой увозит
 и, чтобы сбыть скорей, дешевле продает,
 чем это стоит. По морю провожу его
 надеждой, но буду смерть ей скорую
 готовить и в пустоту под сердцем,
 как в колодец гулкий, окунать исцветший
 под палящим солнцем прежний образ,
 о том лишь сожалея всей душою,
 что ты меня связал, но не лишил свободы.

9

Свою свободу отдаю тебе на откуп.
 Бери или продамся смерти. Эта стерва
 дороже всех дает за молодое тело.
 Осталось только втиснуться в сюжет
 поинтересней. Ино изобразить, к примеру.
 Или Эхо. Впрочем, к чему последний шанс
 бессмысленно транжирить, если можно
 переиграть историю, заранее лишённую
 надежды. Так знай же: от воды
 я смерть тебе готовлю, как Нарциссу,
 который, пелену прозрачную раздвинув,
 нырнул – но нет, не в отражение свое,
 замороженный мельчайшей рябью шрамов,
 искажений, дыханием и ветром порожденных,
 а – за сестрой, во всем ему подобной,
 и, неотвязный, вслед за ней пустился
 искать цветок, который на замену живым
 оставить надо, дабы память об ушедших,
 в веках не увядая, весною прорастала
 нежным цветом намека и – припоминанья.

10

Переливаются неумолимым шумом
 подземных рек неспешные потоки,
 в которых стаи рыб бустрофедоном
 свой курс прокладывают: дружно

меня направлень в мановень ока,
 усыпая речное дно горячей блесткой
 с кожи, распахивая воду под ногами,
 иголками втыкаясь остро в икры, они мой шаг
 самозабвенно замедляют. Я прохожу
 потоки эти вброд и к выходу из царства
 на ощупь путь ищу. Когда приходит время,
 я слой за слоем постепенно пробиваю
 земли слегка поджаренную корку,
 прорастаю почти всем телом ввысь,
 на треть лишь, как растение, обитая в почве.
 И так стою, ногами посвященная Аиду, –
 который, отпуская на свободу, всегда подол
 моей туники крепко держит, – и обзираю
 ослепшим взглядом статуи античной
 теменос, данный мне по жребию богами.

11

Есть рыба, которую не выловишь ни сетью,
 ни руками, ни сотней прочих способов
 нехитрых. Меж волнами скользкая неуловимо,
 сама во всем волне подобная, она с чешуей
 серебряных разбрызгивает блеск, на блеск
 глядящих ослепляя, не выдавая себя ничем
 и неким чудом оставаясь невидимой для тех,
 кто только тем и занят, что лик ее воочию узреть
 стремится тщетно – как будто шлем аидов
 самовольно выкрав, она на голову себе воздела,
 как насмешку, тем самым подменив зиянием смысла –
 смысл, метафору, любви вместо любви скормив нам.

12

Одной из прочих мне в могиле общей
 схороненной лежать до той поры, пока
 меня не откопает археолог,
 гонимый любопытством акушерки,
 не извлечет на свет и, восхитившись тем,
 сколь превосходно сохранился камень,

под слоем мусора персидского скрываясь,
не занесет рукой любовной в свой реестр.
И может быть (коль приглянусь ему особо,
внушив неодолимое желанье вырвать
из пальцев мраморных граната плод созревший),
мне, что схоронена, хотя и не мертва,
подарит имя, выдумает жизнь
и подновит истлевший праздник красок,
в которые меня века тому назад
заботливо одел афинский мастер.

13

Когда она заснула, я осторожно выбрался
из нежного капкана и, закрывая бережно
отверстия могилу объята опустевшего,
одну ее ладонь вложил в другую.
На память взял улыбку спящей Кóры
и прочь помчался, шаг перебирая
с присущей вору быстротою, чтобы скрыться
прежде, чем она из сна успеет выбраться.
Когда она проснется, ее тело
покажется ей островом изгнанья,
и, чтобы одиночества избегнуть,
она со всем бесстыдством, на какое
способна юность, опять меня, безвольного,
заманит в коварный лабиринт,
ведущий к сердцу, на этот раз забыв,
и не случайно, вручить спасительную нить –
к свободе путь обратный.
И пленником безвестным я погибну
в объятиях ее брата, минотавра,
который в свои подвиги зачислит
смерть Тесея, сына Посейдона, чья судьба
преткнулась о любовь на полуслове
и, обернувшись рыбой, в море уплыла.



Елена Сыромятникова

г. Новосибирск

Родилась в 1974 г. в рабочем поселке Сузун. В 1991 году поступила на факультет журналистики в Сибирский социально-политический институт (Сибирская академия государственной службы). Ушла со второго курса. Побывала «неформалкой». «Посостояла» в тоталитарной секте. Публиковалась в сборниках новосибирских поэтов, в журналах «День и ночь», «Юность». В настоящее время фрилансер, занимается полиграфическим дизайном и флэш-анимацией.

Еще одно Господне лето

* * *

Я голос тех, кто перешел черту...
Тех, перед кем закрыты двери храмов...
Кто может улыбаться на ветру
и, будучи живым, не имеет сраму.
Я говорю о том, о чём молчат,
за тех, кто к немоте приучен с детства...
Для тех, по чьей болезни нет врача,
я – может быть, единственное средство,
которое нужно здесь и сейчас.
Оставим время – только слово лечит,
только оно их боль и их печаль
хотя бы ненадолго, но облегчит...

И потому (хоть нет на мне греха
тщеславия, вот в чём уж неповинна), –
я не хочу, чтобы моим стихам
был свой черед,
как драгоценным винам!

* * *

Я не жалею ни о чем.
Мне просто нестерпимо больно.
Но некому сказать: «Довольно!»,
Не сторговаться с палачом.
Святая правда немоты,
Не искаленная словом...
Смех гаммельнского крысолова...
И боль... и боль до тошноты...

* * *

Бог прощает грехи
Тем, кто любит чужие стихи,
Чьи молитвы тихи,
Чьи сердца к клевете тугоухи.

Бог прощает грехи
Тем, на первый взгляд, черствым,
плохим,
Чьи глаза так сухи,
Что за них плачут добрые духи.

Бог прощает грехи
Тем, чья жизнь, как шепотка трухи
В пальцах левой руки
Всем известной костлявой старухи.

* * *

Видишь – ничего не изменилось,
Мы с тобой такие же, как прежде.
Кто тебе внушил, скажи на милость,
Миф об умирающей надежде?

Позабывших книг бессмертны строки.
Слышишь, как скрипят ворота рая?
Умирают брошенные боги,
Люди – никогда не умирают.

* * *

Вот и еще одно Господне лето
Пакует в чемодан свои пожитки:
Цветов, травы и листьев два пакета,
Предгрозовой июльский воздух жидкий,
Укупоренный в маленькую фляжку,
Шум электричек, едущих на дачи,
Одно смешное облачко барашком,
Жужжание пчелы к нему впридачу,
Двухтомник восхитительных рассветов,
Ночных туманов полное кадило...
Вот и еще одно Господне лето
Билет в один конец себе купило.

* * *

Господь, наказавший меня немотой
За дерзкие строки в стихах и моленьях,
Вот я, пред Тобою стою на коленях,
С душою, как старый колодец, пустой...

Господь, поразивший меня немотой,
Как истиной – Савла,
Проказой – Иова,
Забравший займы Тобой данное Слово, –

Я стала немой, но не стала святой...

Господь, наградивший меня немотой,
(И я поначалу была даже рада),
Прости меня – мне не по силам
награда...

Я – брменная пыль у Тебя под пятой –
Смиренно молю Тебя: Бог, милый
Бог,
Верни мне мой голос, верни мою
силу...

Я мало прощала, но много любила,
И мне еще рано писать эпилог.



Деня Чирков

г. Зеленогорск

Родился в 1981 году. Автор многочисленных книг стихов, выпущенных в основном самиздатовским образом. Постоянный участник поэтических слэмов.

В природе могила найдется каждому

Размытое

утро трезвыми пальцами Солнца
раздирает мои глаза,

начинающийся день раскладывает пасьянс
из ближайших событий –
впишусь ли я в них?

на улицах мокро после недавнего ливня.

нужно пожаром книг согреть трезвую
Вселенную разума!

я гуляю по закоулкам города с пивом,
весной патрулируя
улицы,

участвуя в корриде перекрестных взглядов
прохожих.

я – люмпен, примеривший на себя дыбу
жизни.

я – больной, ждущий своего часа
в прихожей.

**В природе могила найдется
каждому**

бабы, выпивка, трава –
прожженное грехами тело
релаксирует в ванной,
погрузившись в теплую воду,
левой рукой сжимая
бутылку прохладного пива –
костяшки кулака на ней
сбиты в кровь.

сын королевы и алкоголика
делает приличный глоток пива,

ванная – вот то место, где
можно отдохнуть
одному,
закрывшись от гор
сломанных челюстей
массового сознания,
запивая пивом
постоянные спазмы от
отравления
работой,
сделав паузу в
хаосе этой жизни.

умереть в излишествах разврата –
вот жестокая религия
искусства.

гений толпы
глотнул еще пива,
взял с полки сотовый
телефон и
набрал номер
первой попавшейся
в списке
девушки –
так или иначе,
в природе

могила найдется
каждому.

Убийцы счастья

все вернулось на круги своя.
семьи соединяют и разваливают
лишь деньги,
медленные убийцы счастья.

мы перестали видеть красоту
вечерних разговоров за бокалом
вина.

мы устраиваем скандалы из-за
лишней, потраченной друг на друга,
копейки.

мы забыли, что
деньги насыщают лишь скот толпы.

сегодня
у счастья оказался вырван голос,
выжжены подушечки пальцев,
ослепши, оно рыдает на крутом
берегу
тишины, а
условность денег сжимается над
ним,
словно живые силки над
пойманной птицей.

мудрость
играет вечный реквием на белых
клавишах дня и черных клавишах
ночи.

мы лежим в реальности, как в коме,
чайки летают над поэзией, а деньги
по-прежнему переходят из
рук в руки,
испытаниями бомб
сотрясая наши души.

Претенденты 2008 года**Проза**



Андрей Белозеров

г. Абакан

Родился в 1975 г. в г. Абакане. Учился в ПТУ №45 на резчика по дереву, служил в армии, затем работал фрезеровщиком по камню, охранником, помощником редактора журнала «Абакан литературный». Участник VI, VII Форумов молодых писателей в Липках.

Хочешь себе такую же...

– А ты, значит, домой на выходные не поехала?

– Нет. Билеты не успела взять. Да и не особо хочется. Мама у меня, все не так, все не по ее, а тут я сама себе хозяйка.

– Ну и правильно. Приду тогда к тебе в гости завтра. Пустишь? – улыбаюсь и подмигиваю, забыв, что разговариваю с телефонной трубкой.

– Посмотрим.

– А чего смотреть-то?

– Ах... я тут шторку в ванную купила... а как ее повесить? Придется, наверное, впустить тебя.

– Все-то у тебя через шторку... – ласково улыбаюсь трубке.

Ира – моя подруга, мы учимся в одной группе на филфаке. Не то что бы мне нравится литература и лингвистика... Просто на филфак легче поступить, за каждого парня на «фабрике невест» кучерявая тетка из приемной комиссии бьется до последнего, даже если он непроходимо туп, ибо 1 к 10 бабам он. И наш брат идет туда явно не за теорией текста В. Я. Проппа, а так – покосить от армии, понежиться в изобилии женского внимания, чтоб обернулись с передней парты и конспект на экзамене протянули. Идут бедные, потому что здесь бесплатно, идут размягченные без отцовской руки дети матерей-одиночек – приличный отец со своею рукой, железно впившейся в жись, позволит ли сыну такой участи: «училкой в школу пойдешь или библиотекарем?» Девушки там на любой вкус: закомплексованные стилоплетки в черных платьях под горло, дурочки деревенские, которым при большом конкурсе не пройти, чулки с конскими хвостами, начитавшиеся Камю и решившие, что они мозг нации. Красивые и стройные, конечно, тоже есть, но много и бесцветных, с ровно распределенным по телу мясом, полагающих, что их полюбят за душемозг, точивших рельеф на мозге...

Зато, в отличие от институток с «юра» и «эконома»: смотрят на тебя, такого же филфакера, как на Человека, а если ты еще и стихами балуешься,

то они и на глагольную рифму, которую им преподаватели строго запрещали, глаза закроют, и за твой стих душой прильнут, а не за пирожное в студенческой столовой, то есть прильнут с еще меньшими затратами...

Вот и я учусь в этом чудесном раю. Меж тем работаю в охране, в аэропорту. Позволили даже остаться на очке, потому что график нормальный – сутки на работе, трое свободен – иди учись. Мать пристроила по знакомству... Тут, в охране, все списанные летчики оседают, розовощекие еще, гладенькие, хоть и пенсионеры. Потчуют меня воспоминаниями, мол, вот раньше и туда, и туда самолеты летали, за ящиком пива в соседний город летали и за час оборачивались, а теперь не летается, начальство аэропорт обанкротило, теперь и полосу отремонтировать денег нет. Я, улыбаясь, киваю...

С поста на пост меня не перебрасывают, прирос, по знакомству опять же, на вахте торгового склада, есть места совсем беспокоящие, нервные, той зарплаты не стоящие, транспортное КПП, например, пришлось мне как-то несколько смен поторчать, когда грипп свирепствовал и многие ушли на больничный. Так там охранников заставляют каждую машину проверить, с зеркальцем на штативе под днище заглянуть: а не вывез ли канистру авиационного керосина, а не ввез ли бомбу на территорию... Черными тенями ползут вести о терактах, мешках с сахароподобной субстанцией, в телевизоре – падающие небоскребы, кровавые полосы на мраморе метро. ФСБ не дремлет, изворотлива на разный «Антитеррор», провозит муляжи часовых бомб, а потом пинает нерадивую охрану... все это на транспортном КПП... а по ночам люди спуют, подмигивают – «Сочтемся?», это заправщики керосин ташат через проходную, почти у каждого условный срок за любовь к керосину. И как с ними... кто отвечает – сочтемся, и нервно смотрит в ночь – не притаилась ли где ментовская машина, кто категорически гонит – через забор лезьте, а меня не впутывайте, кто, но это редкость, совсем отморозки, хватает за руку и вызывает подмогу. Тяжело охраннику транспортного, ибо он между ненавистью народной и милицейским надзором бьется, словно птица в клетке. Как у заправщика отобрать керосин? Он с годами у него вместо крови по венам побежал. Стоит со своими пластиковыми канистрами, ставшими продолжением обеих рук, и смотрит на тебя, словно ты его жену хочешь обесчестить или дом поджечь. Оно ведь его, родное, и не милиция, не ты, вохрюга, ему не указ. Ибо жидкость эта чудодейственная нужна и по ту сторону массивных, обтянутых рабицей ворот, керосином и горло мажут, и пьют его от рака, и плещу гоняют, а дедушка один все с баночкой ходил, так он, садомазо, геморрой им намазывал, охранники за сердце хватаются – да как же ты родной, он же сжигает все, а дед привыкший уже. «Пошипит, – говорит, – да и пройдет, зато только им и спасаюсь». Но главные любители керосинчика – это обросшие жирком жители коттеджей с керосиновыми обогревателями

и камазисты на пяточке: его с маслицем разболтать – и он лучше соляры, особенно в мороз, когда соляра густеть начинает...

У меня совсем другой расклад. Тихо, цивилизованно бомбы и канистры прошли стороной, даже сама проходная выглядит иначе, на транспортном – голые, зеленой краской крашенные стены с кроваво-черной мазней от мух и резиновой мухобойки, не до занавесочек там, на пять минут присесть до вечера никак, двери вечно нараспашку, летом вся летучая тварь там гужит, стол для обеда не мыт, запакошен, никто его не пользуется, а присмотришься, так он весь мушинными яйцами усеян – мелкими, белыми рисинками. У меня на проходной все цивильно, по домашнему: занавесочки в голубой горошек, хозяйственные пенсионерчики и чайник принесли, и плитку, и умывальник есть, и на лежаке домашнее покрывало, и лампа настольная с тканевым абажуром – ткань чистая. Приговаривать любят чистюли-пенсионеры: «Мы здесь четверть жизни проводим, разве ж можно гадить там, где живешь». И пахнет от них щемящее так при этом – теплой стряпней, завернутой в полотенце, молодым луком и копченым салом.

Посетителей на моей проходной немного – с дюжину за день, и то зависит от полетов: нет самолетов – нет и посетителей. В основном это предприниматели на джипах и газелях – приезжают отправить-получить оргтехнику, лекарства, документацию разную; не свои, и ведут себя не по-свойски – на досмотр не обижаются, мол, не доверяешь что ли, исправно расписываются в журнале, ждут своей очереди, и по звонку кладовщицы я большой черной кнопкой открываю им ворота. А большой красной – закрываю. Те, у кого легкие посылки, – проходят пешком, потому что за проезд на машине еще и заплатить придется по тарифу...

– Ну ладно, Ир, заговорились мы с тобой, как бы меня не потеряли...

– Ну ладно... – и молчит.

– Не обижайся, я тут все-таки немножко на работе.

– Я и не обижаюсь. Готовь дрель.

– Угу.

– Ну до завтра.

– Пока, Ир.

Я возвращаю трубку на рычаг и какое-то время с беспокойством жду звонка от начальника караула, часто бывает – заболтаешься, а потом тебе сердито выговаривают, мол, мы тут все телефоны оборвали, не дозвониться, мол, связь для служебных целей. Но телефон молчит. Беру учебник с края стола, листаю. Учить неохота. Да и не к спеху, ведь завтра воскресенье... Однако учебник на видное место выкладываю регулярно. С каким-нибудь серьезным названием: «Введение в литературоведение», например. Чтобы видели проходящие за посылками бизнесмены, что каморка с занавесочками – это

не мой предел, а лишь перевалочная база, что не так-то я прост – от разряда к разряду переползать, плюсуя за выслугу мелкие надбавки и стариться вместе с моими пенсионерами. Вот учусь пока – кантуюсь тут, а потом в гору, в серьезные люди. «Учишься, студент?» – обычно спрашивают. «Угу», – отвечаю. «Правильно», – кивают. – «А где?» И тут пообтекаемее надо, потому что про филфак скажешь, и эти лица враз поскиснут.

А когда-то охрана аэропорта была почетным даже местом. Хорошая зарплата, паек, униформа. Оружие выдавали и на стрельбы возили. Но потом старые Макаровы помаленьку стали списывать, а то, как на стрельбы, прямо разваливаются в руках – то осечка, то заклинит, то предохранитель в траву улетит, и всей толпой ищешь его, пенсионеры кряхтят, за поясницу держатся – комедия... Оружие давать перестали, зарплату в разы «съела инфляция», молодые побежали в поисках лучшего места, и за пару лет, которые я здесь отработал, превратилась вооруженная охрана аэропорта в сторожей. Немногочисленная теперь в этих рядах молодежь стала комплексовать и друг перед другом оправдываться: «Да я тут для стажу, а вообще я извозом занимаюсь, хорошие, знаешь ли, бабки», например, постоянно говорит Витек Букреев...

А я все листаю учебник, тело окутывает теплая дрема... Нахожу нужный параграф, читаю, однако уже через пару абзацев ловлю себя на том, что хоть глаза и бегают исправно вдоль строчек, но мозг окунулся уж в беспечность сна и медленно в ней колыхается, поворачивается, словно в банке с физраствором. Встряхиваюсь. Кладу учебник на прежнее место.

– Мдаа... так время не скоротаешь, пожалуй...

Еще только три часа дня. От ночи меня отделяют 2 бутерброда с жареной колбасой и маслом: колбаса изогнулась чашечкой, масло местами подтопилось, наполнив ноздреватый хлебный мякиш. И пяток сигарет, на работе курю «LD», они дешевле, а курить приходится чаще – чем тут себя еще занять. Вот и сейчас покурю, а полпятого, пожалуй, можно взяться за бутерброды и после них покурить с особым удовольствием, а потом еще немного попереваляться с одной затекшей ягодицы на другую – и ночь. «Избушку на клюшку», ворота на цепь, «дын» – врубился и загудел прожектор, мошकारа засуетилась в его луче. И можно спать. Чутко, но спать, не цедить через сознание вялотекущее время, оставшееся до конца смены. Иногда проснуться, с радостью обнаружив на будильнике еще час-два побежденного времени, пробежаться по территории, зарываясь от предутренней сырости поглубже в куртку, подмигнуть живущей под крыльцом собаке. А утром, покидав вещи в сумку и разровняв покрывало на лежаке, выглядывать в окно и переминаясь, словно ты пассажир дальнего, который неспешно ползет к твоей станции. Очень я люблю этот момент, когда переминаешься, ждешь смену. Самые счастливые минуты в жизни... даже специально ничем себя не занимаю, томлю себя

намеренно, топчусь, прижимаюсь к окнам, хожу на крыльцо... И вот он, добро и хитро улыбается в усы, мой старичок в ореоле утреннего солнца... Расписывается в журнале приема-сдачи и все – 3 дня свободы!

Выхожу покурить на крыльцо. Тишина блаженная, словно добрая огромная амеба проползла здесь и переварила все посторонние лязги и движения. Листья желтые, солнце белое. Прямо дорога идет, и метров через сто – склад там и ворота на летное поле. Справа, в облезшей от дождей известке, покривившийся деревянный туалет. Стоит он в березовой рощице и тропинка к нему вьется, как волшебный теремок стоит, березы ветви на него свои пораскинули. Посмотришь в ту сторону, и даже внизу живота шевельнется – хочется туда, по тропинке, в это покривившееся уединение. Многим, наверное, меня не понять, выросшим в бетонных ячейках, где уборная от той же кухни отделена лишь перегородкой. И сидишь ты на толчке, а за стеной мать или жена поворачивает поварешкой щи в кастрюле и спрашивает: «Тебе щас налить или оставить на попозже?» Вот это справление нужды – справил одну, перешел через загородку – справил другую. Но мое детство прошло в частном доме, уборная стояла в самом дальнем углу огорода за кущами из подсолнухов и помидоров. И там ты по-настоящему был уединен, осознавал, что на несколько десятков метров вокруг ни души, делался самим собой, восстанавливал свою целостность, неразбавленную более ничьим существованием. И странно мне даже подумать о казарме армейской, например, где уборная – это просто 5–6 дыр в полу и бок о бок с тобой побряхтывают люди со спущенными штанами, как куры, набитые в клетки на птицефабрике – в грязи, в тесноте, знай только яйца скидывай, а потом все равно в суп. Несвобода, неудобство, вошедшие в привычку... какие уж тут пространства для личной-то души...

Конец сигарете. Щурюсь на солнце, подмигиваю выползшей из-под крыльца дворняге: старой, флегматичной. Бульон ее зовут, Буля-Буля-на-на-на. Бочонок на четырех толстых пеньках, проку от нее мало – по ночам храпит громче прикормивших ее пенсионеров, но если проснется – «вав, вав», обязательно, мол, не сплю, работаю...

И тут тишину со свистом рассекает жирная туша грузового Ила. Лениво покачивает крыльями, осторожно пару раз пробует лапищами полосу, прежде чем сесть. И потом раскатисто тормозят его двигатели, стекла в рамках трясет, заливаются на стоянке рядом на разные голоса автосигнализации.

Я сокрушенно качаю головой. Значит, скоро потянется народ всех мастей. Захожу внутрь проходной. Так и есть, вот они уже, в моих окнах: «Газель» уперлась в ворота, и чуть в стороне остановились красные старенькие «Жигули». «Газель» сигналит. Ну, граждане, тут так не делается... Сначала зайдди, созвонись с кладовщицей, и если она даст мне добро, – запишись в жур-

нале, и только после – счастливого пути. Сажусь за стол и машу водителю, приглашая его зайти. Не выходит, но и сигнальить перестает. Вместо него ко мне идут от «Жигулей». Топчутся. Что-то неладное... Пожилая женщина плачет, промакивает глаза уголком черного платка, который на голове. Среднего роста худощавый парень приобнимает ее, бросает взгляд мне в окно. Я отворачиваюсь, неловко как-то глядеть на чужие плачи. Раскрываю журнал с зеленоватыми, кое-где в жирных кругляшах страницами. Бумага дрянная, газетная, чуть ручкой надавишь – рвется, кое-где вообще, как лапша, усердные старички таблицы по линейке рисуют, и бумага по их чертам на полоски потом разьежжается.

Парень заходит. Оборачиваюсь.

– Братишка, сейчас самолет сел. Нам надо проехать. Груз у нас. В этом самолете...

– Подождите, он же только сел. Пока разгрузят. Это минут 30–35, да и все сорок... Вон видите ворота? – показываю в окно в сторону склада. – Как придет грузовик, тогда...

– Ясно... Слушай, братишка, ты тогда, не в лом, кликни меня, когда ваш грузовик появится. Я вон там, в машине буду.

– Ладно. Только... ваша «Газель»? Отгоните пока, чтобы проезд не загораживала.

– Что? – как-то он даже вскинулся, поиграл желваками задумчиво и кивнул. – А... да, сейчас...

И напоследок, открыв уже скрипучую дверь на пружине:

– У нас там это... Груз 200... Ну сам понимаешь, побыстрей бы. Позовешь, ага?

– Да, конечно, – с готовностью отвечаю.

Дверь захлопывается, протяжно гудит металлическая пружина. Гудит и гудит, невольно заслушиваюсь...

Вот почему я прятал глаза от его лица с сухой тонкой, но прочной кожей, натянутой на стальные изогнутости скул... Да что я... о каких таких скулах... На самом деле я даже не помню этого лица, а воображение рисует латекс, натянутый на сталь. Глаза его... расслабленные что ли... их рисунок не искажен ни хмуростью, ни смешинкой, ни презрением – просто глаза... И я прятался от лица из-за чувства вины. Ну да, у них горе, а у меня – нет, чем не повод виниться... Вот, вспомнил теперь: «Гроб летит». Это кладовщица шла с обеда, и с ней грузчик. Кладовщица толстая, сто метров до склада преодолевает медленно, переваливается, словно у нее по ведру воды в руках, ну да, хоть руки ее и пусты, на каждом боку однако и поболее, чем с ведро,росло и свесилось через черную плиссированную юбку. Она сама, как склад, мобильный шагающий склад – снялась с места, передислоцировалась –

опять склад, на новом месте. А грузчик рядом худой, сгорбленный... Люблю на них смотреть, когда они вдвоем направляются к складу... И вот шла она, пыхая, через проходную и говорила грузчику, и в речи ее было: «Гроб летит». Только это и слышал. А значения не придавал. А вот значит, что за «Гроб летит». Я с Ирочкой по телефону трепался, упершись ботинками в стол и покачиваясь на задних ножках стула, а он летел ко мне; я клевал над учебником, а он на несколько сотен километров стал ближе, пересек Саянские хребты, отбросил долгую тень на степи, перечеркнул лоскутные половички пригородных дач; я вышел покурить, ублажал себя тишиной и планами на завтрашний день, а у него уже сегодня на меня были свои планы, он там, еще за границей моей тишины грохотал во всю мощь, готовился к посадке...

Белая «Газель» за окном, дрогнув, отплывает от ворот. Жду, каждую минуту поглядывая в сторону склада. Кстати обзор у меня почти круговой: в левом окне – склад, прямо – вид на ворота, в правом – «Жигули» и их пассажиры. Парень ходит, попинывая щебенку, в пальцах дымится сигарета. Женщина утирается уголком платка. Подходит мужичек в кепке, похоже знакомый, тихо ее утешает.

Совсем мне неловко, им ведь меня видно не хуже, на стуле покачаться неловко, бутерброды есть, верхней губой гоняя по маслу выгнувшуюся от жарки колбасу, тоже не ловко, только вот если с каменным видом сигаретой затянуться – вроде бы как и соответствует ситуации...

Отвернулись... Надо задернуть окно, пока не посмотрят.

Встаю, драпируюсь от них голубым горошком. В форточку слышно голос той плачущей женщины: «Сказал мне еще напоследок, все, мам, последний раз еду, хватит... Оооой... а ведь и за ум взялся, половину ипотеки выплатил уже, жених на зависть... А сколько отговаривала... А что я тут делать буду, говорит, с такими зарплатами... за жрачку работать, а я семью хочу... последний раз, говорит... вот и вышло, что последний...». И плачет. «Ну-ну-ну... тыщ-тыщ, тишь...» – бормочет мужик, явно не зная, как поддержать.

А грузовика все нет...

Походил из угла в угол. Ага, походил... два шага – вот и угол... потыкался, вернее будет. Съесть бутерброды что ли... или еще подождать... Решил съесть, но только один. Разворачиваю упаковочную бумагу – тесное помещение миглом заполняет колбасный дух. Озираюсь. Грузовика нет. Ожидающие гроб тоже притихли. Устраиваюсь на стуле поудобнее. Жую торопливо. Резко открывается дверь. Оборачиваюсь, пытаюсь насильно протолкнуть в себя сухой непрожеванный мякиш.

– Приятного аппетита. – Нет, это не они, это мужик в белом свитере, деловитый, энергичный.

– Угу, – недопрожевав, мычу я.

– Позвоним? – и уже тянется через меня к телефону на столе.

– Валь, это я. Так точно. И вашим. – Смеется. – Проеду? Хорошо. Скажи хлопцу.

Тут уж я окончательно справился с куском бутерброда. Трубку к уху.

– Да, я слушаю.

– Саш, – говорит кладовщица, – открой, пусть заберет свои мониторы.

– Ясно, – отвечаю.

А мужик уж и сам себя в журнал записал, частый здесь гость. Записал и подпись вжик-вжик-вжик, словно ток по его руке пропустили, и под самой энергичной загогулиной тонкая бумага прорвалась.

– Ой, – сказал мужик в белом свитере и улыбнулся белыми зубами.

Давлю большую черную кнопку – гремят, катясь по роликам, ворота, скребет по железу тянущая их цепь.

Верхушка его серого универсала проплывает в окне.

И что-то не так, пока я жму свои кнопки. Холод по спине идет и словно неродная она становится, черепашьим панцирем словно сковало ее... Поворачиваюсь, а этот, который за гробом, стоит в дверях, смотрит своими расслабленными глазами, стоит – руки-в-брюки, и сжаты, видно, его ладони в кулаки, и карманы от этого бугрятся.

– Грузовик приехал уже...

Я скосил глаза на склад.

– Да... действительно...

– И что дальше?

– Вам надо записаться, нужно номер машины, фамилию, дату, подпись...

Кивнул, вынул из карманов, подошел к столу.

– Сейчас...

Прячу в столешницу так и недоеденный бутерброд...

– Где эта ручка...

Ручки нет. Значит увел мужик в белом свитере... Не специально, конечно, на автомате. «Шоферская привычка» – обычно они говорят, если успеешь их прихватить. Будет выезжать, можно и спросить. А вообще на такой случай всегда имеется запасная, где-то в столешнице... Где-то вот здесь, под бутербродом в промасленной бумаге, меж мусора, гаек и старых тетрадей. Нашел одну. Конечно, не пишет. Пытаюсь расписать на задней обложке журнала, крепкой картонной, получилось.

– Как, говорите, фамилия?

– Моя что ли? Белов.

– Так... а номер «Газели»?

– Номер?

Откинул мою занавеску, выглянул в окно.
 – 329 аа.
 Зрение у него хорошее...
 – Э... – следующая графа «тип груза». Я захлопнул открывшийся было рот, пропустил графу.
 – В общем, вот здесь распишитесь.
 Но нет, бумаги не порвал, вывел аккуратно.
 – Всё?
 – А... секунду... только созвонюсь с кладовщицей...
 К счастью отвечает практически сразу. Славным таким, родным голосом.
 – Да, Саш, что тебе?
 – Тут за грузом подъехали.
 – Фамилия?
 – Белов. Я запущу?
 – Так. Погоди... – голос становится тише, – груз 200, да?
 – Ну да, – и у меня тоже тише, – открываю?
 – Нет, Саша, пусть подождут, что сделаешь. Во второй партии только привезут.
 – Ох... а скоро?
 – Через полчаса где-то. Я тебе сразу отзвоню и запущу их сразу.
 – Понятно... Ну ладно. Звоните...
 Встал перед ним как нашкодивший школьник.
 – Она говорит, что нету еще... Во второй партии будет...
 – Нету...
 Развожу руками. А не так уж он и страшен. И ниже на полголовы оказывается... Другое дело в плечах...
 – Она сказала, перезвонит сразу...
 Тунннн. Искры само собой, круги черные. В левую бровь, кажется. Валюсь, переворачивается стул, грохот. Теперь пинки.
 – Ах ты, черт ебаный! Я таких ублюдков, как ты, насквозь вижу. Штаны тут протираешь! Пока мой брат за тебя, сука, кровь лил с остальными пацанами!
 Съежился я, голову прикрываю, локти поближе к почкам. В сравнении с первым ударом уже не так больно...
 – У нас таких как ты в роте на клык садят, сучара! Чё, думаешь, прикрылся, да!?
 Скрип двери. Женщина кричит.
 – Дииима! Димочка! Оставь его! Тебя же посадят! Хватит, слышишь! – голос ее ломают очередные рыдания – у меняа одного... о-о сына уже отня...

а-али... Хватит, прошу...
 Напоследок все-таки достал – черный ботинок смазал по губам, засаднило сразу, посолонело.
 Выскочил прочь, она следом, опять долго гудит пружина на двери. Переваливаюсь на спину, ощупывая зубы языком. Вроде на месте. Взгляд мой упирается в кнопку экстренного вызова милиции. Она прикручена к крышке стола, снизу. Простая такая. Из детства... Изначально белая, теперь пожелтевшая, круглая, с ямочкой для пальца... На черном круглом корпусе. От корпуса толстый провод идет, прихваченный сапожными гвоздиками к ножке стола, и дальше по ней вниз... У нас на двери была похожая... Прибежишь после школы, дотянешься и особым каким-нибудь паролным звонком: дзииинь-дзи-дзинь. Изнутри проворачивается ключ – мама пошивом брюк на дому занималась и почти всегда была дома. А значит, сейчас яичница ждет, с хрустящим, слегка пригоревшим низом и мелкими кубиками колбасы... И оранжевые желтки в крапинах черного дробленого перца выпуклы... Мама говорит: «сальмонес, надо все прожарить», а ты упрасиваешь, не разбивай их, только не разбивай. А она хоть и твердит про «сальмонес», но не разбивает... И значит выпуклы, а я их, как гнезда, и разорю хлебной корочкой... И вымочу...
 Левый глаз заливают кровь. Нажать или не нажать... «Ах ты черт ебаный», – говорит недавний парень. «Надо прожарить, сынок», – говорит мама...
 Вечером обход. Увидит меня начкар, а у меня тефтель вместо лица. А утром нормальный был. Что я скажу. Упал лицом в асфальт три раза? Снимет с караула, наверно... объяснительную заставит писать... Да и сколько народу пройдет еще тут, на этот тефтель глядя... А гроб как забирать будут? Цедить презрение на «черта» в кровавых соплях... А если нажать? Погоны, протоколы...
 Но уже нажал. Палец вспомнил эту выпуклость, особый нажим... Кнопка в детство... И только теперь отгудела пружина на двери, возвращая замедлившемуся времени свой нормальный ток.
 Перезванивают. Дежурная часть близко, сто метров, но ленивые, перезванивают, тебя тут хоть убьют, а они сначала удостоверятся, все ли так плохо, а ты правда мертв, а может ты случайно коленкой надавил?
 А я не отвечаю.
 Поднимаюсь, смотрю в маленькое зеркало над рукомойником, целиком туда физиономией не влезешь, так что собираю картину по фрагментам: воротник весь по кругу в красном, словно кого-то гильотинировали в моей рубашке; от брови полоса крови, под глазом – разделилась на два рукава, обогнула вспухшие варениками губы; сами губы... тьфу... зацепил-то легко, а зубы кривые – острыми углами все изнутри и поразодрали; бровь... бровь

по-хорошему бы и шить – не склеиваются края и бежит из улыбающейся мясным беззубым ртом ранки беспрепятственно...

В общем, милиции есть что показать. За дверями приближается топот. В глазах эта ослабившаяся дыра в брови... Начинает кружиться голова, опускаюсь на кушетку, закрываю глаза. Внутри у меня возникает гул, тяжелый, ничего хорошего не предвещающий, он обволакивает меня, давит на плечи, в нем, словно в кастрюле с багровым таким, кипящим борщом ворочаются, всплывают и тонут, как вареные картохи, все последующие хмурые лица, объяснения... Санчасть при аэропорту, тут же через стенку с милицией. Шить не стали – стянули пластырем, посмотрели глазное дно – сотрясения вроде нет, но в будние дни придется понаблюдаться у врача... Сказавши так, слегка повернулись вокруг оси, утонули в жиже... Белые тени сменяются на серые и железную дверь с бойницей. Всплывают 3 маленьких звездочки на погонах. Клетка сварена из арматурин. В клетке он. Не смотри туда. Опять объяснения... «Слушай» – откладывает ручку, переминается щекастым лицом, сам в стуле переминается, и погоны от таких его движений выгибают спинку... «Это вот мы все запишем, это все понятно... а по-человечески... горе у них, можно понять... там их сейчас гроб ждет, машина простаивает... Тебе решать... Можешь отказаться от заявления...»

«Давайте, а то эти протоколы, понятые...» – и даже гул начал стихать.

Мнет понаписанное. А я свободен. Парень тоже, но я не смотрю...

Иду в караульное помещение.

– Ты все правильно сделал, – подмигивает мой начальник караула. Дает мне отгул на сегодня, теперь только забрать сумку с вещами и куртку, оставшиеся на посту.

Вышел из караулки, сижу на скамье возле зала ожидания – отсюда хорошо видно мою проходную. Там за меня Витек Букреев. Жду, когда уедут «Газель» и красные «Жигули».

Главное, я свободен.

Сигареты... Достаяю из кармана штанов. Пачка сплющена, сигареты поломаны – это когда я на пол упал, раздавил... Нахожу уцелевшую. Закуриваю, сильно затягиваясь. Перед глазами идут одно за другим лица из сегодняшнего кошмара и, проходя так, растворяются – каждое по-своему. Подмигнул начкар, и так на подмиге замер перекошенный, и потом все его лицо к этому главному пупку стянулось и само в себя всосалось. Мать Белова лила слезы и вместе со слезами все лицо стекло. Сам Белов смотрел расслабленными глазами, глаза все больше расслаблялись, расширялись, словно разъедавая кожу вокруг и потом – хлоп, как круги по воде разошлись и ни лица, ни глаз... А уж у старшего лейтенанта щеки мялись-мялись, наконец, смялась вся его здоровенная физия в комочек протокольной бумажки

и выбросилась в урну...

Минут через 15 «Жигули» и «Газель» появляются из ворот и едут по дороге в сторону города – внимательно провожаю взглядом белый микроавтобус со злополучной начинкой. Так я и не увидел этот гроб, он приближается, удаляется, меняет мою жизнь и при этом остается невидим... Вот и сейчас он уезжает вроде, но остается при мне, обходит с подветренной стороны, отступает, чтобы перегруппировать силы...

Витек успел за полчаса обжиться, маленький черно-белый телевизор притащил и MTV в нем. Шуршит пакетом с кириешками. А, значит, где-то и бутылка с пивом припрятал.

– О-о... Шурик! Ну выкладывай, как это ты пресек нападение на охраняемый объект, хе-хе.

Точно, припрятал и духом пивным дышит на меня.

– Ой... потом, как-нибудь. Отгул вот заработал... Сергеич еще и на премию намекнул... – криво улыбаюсь распухшими губами. Собираю пожитки, натягиваю куртку.

– Ну герооо! А вот фингал-то будет реальный. Хех, и лычка на брове теперь будет, как у рэпера.

– Йоу... – вяло отзываюсь я и надвигаю капюшон куртки.

– Ага, книжку вона забыл, – тянет мне «Введение в литературоведение», – дома-то чё скажешь? Вступил в бой с превосходящими силами противником?

– Точно. Пострадал при исполнении. Дрался не на жизнь, а на смерть, – подыгрываю Витьку.

– Э-э, Шур... дрался... морда бита, а казанки целы... это не дрался, называется, а отпиздили.

Гоготнул. Не выдержала душонка – достал из-под топчана бутылку и припал к ней.

– О... зашибись! Не хочешь, кстати, транквилизатору?

И бутылка мне тянет. А я рассматриваю костяшки на руке, которой он мне бутылку тянет. И снова поднимается утихший было гул. Костяшки его все в старых отметилах, овальных, на вроде той, что на левом плече от прививки остается, только поменьше.

– Не, я пошел...

– Ну иди, восстанавливай здоровье.

От вида этих костяшек заныла бровь... Все неувовимо переменялось после прилета гроба, наполнилось тревожными знаками... Вот Витек Букреев, кулак у него как литой, костяшки ровные – одна к другой, как будто специально Бог ему так руку придумал, чтобы удар на все 4 костяшки поровну распределился и чтоб от того удара ни один казанок не выбило; создана, зна-

чит, чтоб по шам кому съездить, а у меня вот и зубы Бог создал кривыми, выходит, не без намерения, а для того, чтобы ши мои больше урону претерпели... Странно, раньше не замечал я Букреевских кулаков, второй год с ним работаю – душа в душу, родной почти, а тут... И имя какое-то опасное, и фамилия тревожно звучащая... и разве уж не презрительно он усмехнулся напоследок?..

В раздумьях прошел автобусную остановку. Аэропорт, кстати, в километре от города. Миновал развязку, иду по обочине шоссе – вокруг пустырь, безлюдье, из растительности клочкастая полынь да рекламные щиты, да столбы железные, по которым троллейбусные провода тянутся. Солнце меж тем садится, пролилось поверху кастрюлей борща. Вдали виднеются пятиэтажки, торчащие из необжитого еще толком пустыря, – беспорядочно, под разными углами, пыльные, с въевшейся в бетон чернотой, как старые гробы, вылезшие на поверхность кладбищенской земли. А в небе на багровом престоле Бог – готовит свой Страшный суд. И гробы ждут, чтоб по первому Его знаку с треском отлетели коросты запекшейся земли, распахнулись створки и выпустили подсудную начинку.

Пялюсь в это небо и вдруг вижу правее яркую надпись: «Хочешь себе такую же?» Здоровый рекламный щит. Блондинка в камуфляже, кармашки с клапанами, верхние пуговицы расстегнуты, раздутые сиськи галочкой очертились, раздвинули ткань. Голова наклонена, чтобы белым кудрям лучше литься на плечо. Рот плотоядно изогнут... Щеки отдраены в фотошопе до мультяшной однотонности. «Хочешь себе такую же?» – у блондинки над головой... и внизу под морщинистым кожаным ремнем: «... форму», и совсем внизу: «Служба по контракту ждет вас»...

Как по заказу явилась. Распяленная на прямоугольной металлической раме. Нелепая, бестолково торчащая в этом пустыре. Такая же нелепая, как и весь мой сегодняшний день. Уродливая смехота. Из горла вырывается нервный смешок. Приближаюсь. С каждым шагом голову приходится заворачивать все выше – она велика, в четыре моих роста или даже больше, уходит в багровое небо. А я мал... Гул становится явственней, так опасно, живя своей противочеловеческой жизнью, гудят вены высоковольтных линий в ночном воздухе степей, где-нибудь за городом – и теперь это, до ощутимой вибрации, в моей голове, и мои ссадины от сегодняшнего мордобоя зудят и звенят в ответ тоненькими звоночками... Гул душит меня, становится невыносим. Мерзкая резиновая кукла. Сколько вас, резиновых, я еще встречу сегодня? Щит на толстой ноге... четырехгранной железной ноге в струпьях шелушащейся от сырости краски. Рука сама прыгает вперед. Хватил со всей дури об железо, раз, другой, третий...

Согнулся от боли. Отступаю назад. Шипение сквозь зубы, сжимаю что

есть силы кулак, будто выдавить из него боль пытаюсь. Получилось, выдавил и тряхнул рукой в сторону щита. Все смолкло. Тишина.

Осматриваю разбитую руку, счищаю налипшие чешуйки краски – хорошо, боец... Втягиваю в себя побольше воздуха. Выпрямляюсь. Легко. Свежо. Почему-то больше совсем не хочется домой, в одеяло с книжкой... Лучше к Ирочке... Моей удобной студенческой радости. Удобной? Еще как – родители в деревне, съемная однокомнатка... Красота...

Неожиданный ветерок пробежался по обочине, зацепив самые высокие ветки полыни, налил в большую плоскость щита, мягко надавил, и тот утробно скрипнул. Губы блондинки, вывернутые от силикона наизнанку словно бы и шевельнулись. Я присмотрелся к ней...

– Вот какая ты... Родина-мать... – прошептал еле слышно.

А теперь еще один глубокий вдох...

И через полчаса с двумя бутылками шампанского возле подружкиной двери – последние деньги из карманов выскреб. Будет Ире сюрприз...

Она медалистка, пятерочница. Но милая. Правда, главную роль в нашем знакомстве все же сыграло то, что жили рядом и ездили из института по одному маршруту – повод проводить до дома. Волосы у нее хорошие – густые, черные, и ямочки на щеках хорошие, щеки мило розовеют, когда она ест яблоко – это конечно какой-то аллерген так действует, но румянец выглядит здоровым и аппетитным. Сейчас она не ест яблоко, она прикрывает хитрые, темные, как у лесного зверька, глаза. Правой рукой прикрывает так наиграно.

– Гоосподи, Саш, что с тобой.

– Здравствуй, мое последнее прибежище... – улыбаюсь и звякаю содержимым пакета.

Приоткрывает глаза, выглядывает из-под козырька ладошки и хлоп – снова спряталась.

– Ты пьяный, что ли? Ты же на работе...

– Трезвый. Но намерение есть... Все нормально, отгул мне дали.

Наконец убирает руку от лица и покачивая головой, с особой своей улыбочкой на одну щечную ямочку пропускает внутрь.

Милая... Жаль, что не до самого низу. Вся эта, похожая на хорошенькую евреечку Ира заканчивается на уровне колен, и далее вниз идут короткие и кривые голени. И ступни какие-то неприятные – узловатые, с шишками красными и плоскостопно расплюснутые. Впрочем мелочь, спать с ней это уж точно не помешает – ноги там, где-то внизу, а все самое хорошее как раз где надо, перед глазами. А по улице гулять можно и в джинсах.

Разуваюсь, вешаю на крючок куртку, располагаюсь на кухне – одну бутылку в холодильник, другую наизготовку. Появляется Ира, расчесала воло-

сы. Халат на ней – так и хочется сказать, мамин, потому что больно старый, вытерт по разным местам, полы скреплены булавкой.

– Доставай бокалы. Ты не против романтического вечера?

– Не против. Что случилось? Подрался, что ли?

Бокалы. Не слишком чистые. Но если вспомнить мушинные яйца на транспортном – отличные бокалы.

– Ну как сказать... – медленно разминаю разбитую руку, – вроде того...

Беру этой рукой, носящей гордые отметины, бутылку за горлышко, а второй снимаю золотинку, скручиваю проволочный каркас.

– Да... фигня... Двое пьяных на проходную завалились, а я их не пустил... Вот и заработал отгул... получается. С одним-то я еще более-менее, а с двоими, уж извините... Опа!

Ира зажмурилась. Но хлопок не удался – пшик один.

– Эх... ну ничего. У нас еще есть. Вторая точно стрелнет.

– Не на-до. – По слогам. – Стрелять.

И с улыбкой села за стол, сложив руки, как примерный первоклашка.

– У тебя фингал.

– Уже? – разливаю.

– Уже. Хочешь посмотреть?

– Нет. Застесняюсь еще и уйду. А так вроде все нормально.

– Да ничё. С шампанским пойдет.

– Ну и ладно... Давай. За мое последнее прибежище, где приютили меня, битого и голодного. За встречу, в общем.

Пьем, разговариваем о мелочах, вот о дрели опять и шторке... Шампанское быстро пьянит. Вторая. Остыла в холодильнике. Опять пытаюсь стрелнуть, но Ира запрещает – забрызгаешь потолок, кто белить будет... И еще много разной болтовни... И тосты – за удачу, сдачу экзаменов... Однако и Ирочка моя уже блестит глазками. Чаше начинает ко мне прикасаться. И смотрит на меня иначе. Похоже, ее заводят мои боевые раны – был себе скучный студент-филолог, а тут... Романтика, бля. Дотягиваемся друг до друга через угол стола, выпиваем на брудершафт. Смачный поцелуй... Больно битым губам...

А после я опускаюсь на место и долго сижу молча... Не любит она меня. С таким лицом и невозможно любить. Ага, сейчас попытаюсь представить – Ира, лицо ее, и любит она, люуубит, в полную силу, выплеснулась вся без остатка... Нет, не представляется... Что-то в нем... В районе рта... Рыбье какое-то. Да-да, и при этом ехидное. Ирочка может заигрывать, смеяться и плакать, но никогда не выплеснется до донышка, потому что на дне сидит вот эта рыбина. Или моллюск... Скользкий! А я все думал, что же такое неприятное мне в Ирочке, а совсем, значит, не шишки на ногах... Вот

поцеловался я, и словно морским чем повеяло... А на подоконнике у Ирочки лежит здоровенный том, и закладка торчит уже на второй трети. Она... она читает Фаулза. О Боже! Зачем! Человек, который такое читает, определенно должен быть немножко рыбой!

Лицо мое обдало жаром.

Как бы мне хотелось увидеть, как сползают эти романтические улыбки, фальшь аллергического румянца, тухнут глаза и является из дрогнувших уголков рта Ирочкина рыбина со своей любимой коллекцией пятерок, золотых медалей и красных дипломов. И я... я тоже там, в ее коллекции, потому что Ирочка решила – иметь парня – это хорошо, это по-людски, а их у нас в группе всего трое, и иметь одного из них – это уже как золотая медаль.

Видно, я слишком долго сижу замерев. Она спрашивает:

– О чем задумался?

– О чем же я... О людях... О себе...

Голова моя превратилась в плавильную печь, о чем же я? о чем... я редко умею толково и связно говорить, все мои прекрасные внутренние монологи, кипение мысли обычно остаются не озвученными. Но сегодня расплавленный металл проел загородку и полился мне на язык.

– Так вот о чем. Вижу – война... Не та, что сейчас, куда люди едут, как на работу вахтовым методом. Вижу: мир охвачен войной и никто не поднесет зарплату в конверте, и некуда будет, навоевавши, возвратиться... Вижу наш четырехэтажный филфак. Где дюжины преподавателей стоят за кафедрами, и некоторые даже со страстью, с любовной силою преподают зевающим студентам. Вижу бедного Бурмистровича, у которого от его этих бредотеорий... как там его... развития фонематической истории славянских языков, во, у которого второй инфаркт от этих теорий, от того что их надо пробивать и доказывать, но он вот живет и верит, и жгет глаголом зевающих студентов. Но поднимается вой сирен, и на наш любимый филфак, раек для лохов, падает авиабомба. Пожар. Электричество вырубил. У секретаря в приемной комиссии потух монитор с пасьянсом. Ха! Я... я хочу посмотреть, что будет делать профессор Бурмистрович. Что у него будет на лице.

Я встаю из-за стола, внутренний жар разгорается все сильнее.

– Очень возможно, он начнет таскать из огня студентов. Очень... мне кажется... А может... подвывая, упадет за кафедру? Или просто упадет, схватившись за область 3-го инфаркта. Или громогласно рассмеется! А! Вот вам, воот, жалкие черви! Чего же вы боле не зеваете?! Вам теперь вообще не придется зевать, ибо смерть и огонь очистительный уже рядом, вы еще с тоской вспомните мои лекции, где можно было в покое и тишине подержать свою жопу на стуле! Но не бывать этому! Смерть и огонь, огонь и смерть отныне. Ха-ха! Дааа, и все наши давешние знакомые преобразятся. Сева Ложкин.

Вчера он списывал с намотанной под рукав шпаргалки, а сегодня он, давя остальных, разгребая хрупкие ребрышки девушек локтями, бросится на выход из рушащегося здания. Еще вчера он мечтал нежно потрогать эти спинки и грудки, а теперь, бляаа, – локтищами швяк-швяк! А кто-то точно так же ломанется назад, так же швяк-швяк, чтобы спасти, допустим, брата, дааа, именно брата, братишку. Браат – это святое. Брат, ты же брат мне, брат. Кто-то тем временем зашкерится, тихонько наблюдая, как его подружка, с которой он трахался на протяжении 2-х курсов и которая помогала ему писать курсовик... как его подружка лежит, придавленная горячей балкой и тянет ему руку, помощи, мол. А вокруг горит, рушится, и он сбегает, заткнув уши. А кто-то наоборот – герооой! Ну, хотя бы Левандовский, которого ты мне все время в пример ставишь. Бежиит! Спасает, спасает всех подряд, таскает как каштаны из огня, а мать его, Ольга Петровна, здешний завкафедрой – горит в соседней аудитории. А Левандовскому уже не до мамы, он уже выработал весь свой спасательский ресурс, ему, так и столько раз искусившему судьбу, упал потолок на голову, и он там тоже за геройство свое придавлен и медленно горит, и даже медленней и мучительней обязательно, чем другие.

Замолчал, стою выжидая.

– Не зря тебе преподавали риторику... Но я еще у Бодлера что-то похожее, по-моему, читала...

– Начитанная моя. Бодлера не будет, его сожгут в буржуйке в подвале, чтобы немного согреться.

Я сгреб пятерней ее волосы на загривке. Потянул. Любуюсь – пятерня, сбитые казанки, черная грива так густо крепко заполнила руку. Тяну, понужая подняться из-за стола. Блестят ее игривые карие вишни. Прижимаю к себе, сопит. Я улыбаюсь роковой улыбкой.

– Сам-то ты... Себя-то представил? Там, в огне?

– Представил, в первую очередь. Это и страшно...

Тяну ее по коридору к маленькой комнате с выцветшими желтыми обоями.

– А-а... – нервно и театрально смеется она, – и я бы там горела, а ты заткнул уши, да?

– Очень может быть... не пытайся смутить меня, моих намерений.

И вот уже кровать. Ей приходится запнуться об нее и повалиться на пододеяльник. Расстегиваю булавку на халате, старый халат расходится, под ним светло и гладко. Она придавлена и толкает меня в плечи.

– Я не бу-ду с тобой спать.

– Ты будешь. По закону военного времени. Женщин об этом не спрашивают.

– Ахха, может, тебе по закону военного времени еще и будущих воинов

нарожать? Все, игры кончились!

– Игры? К черту ваши игры!

Я прижал ее к стене лицом, навалился ей на спину. Заёрзал ногами, освобождаясь от штанов. Вдоль хребта у нее тянулся довольно длинный пушок – я провел по нему рукой, снизу вверх, до созвездия родинок – темных на светлом, как на негативе... И вцепился зубами в шею. Больше она не говорила. Но я бы и не услышал – я рычал от удовольствия и силы, вышедшей из меня. Я был ангелом. И драконом. Я был, блядь, – крылатым рыцарем! Вой сирен выл. И ухали бомбы. И корчилась ядовитым стеблем, размазывая по себе кровь и потрясая белыми космами и грудными наростами, ведьма с рекламного щита. Лучшей поэзии я не знал! И я бился над этим слабым, напитанным шампанским телом, над человеком-спиной, человеком-вагиной, вдавливал его в стену, в грязные пятна на старых обоях...

Вот и все... Отпадаю... тяну из-под себя скомканный пододеяльник, чтобы прикрыться... Она лежит не двигаясь, уткнувшись в стену... Задерживаю дыхание, слушаю. Мне теперь даже жутковато. Что будет? Она вскочит, будет звать милицию – изнасиновали! Или скажет, подонок, я тебя любила, а ты? Может, она там плачет, увлажняя обои? Осторожно беру за плечо. Щас отдернет. Не отдернула. Добрый знак. Послушное руке плечо подается, Ира поворачивается. В глазах блуждает улыбка. Губы полуоткрыты, набухли. Часто вздымается грудь. Мой страх постепенно проходит... Какая она сейчас красивая... Ее лицо исходит тихим светом в этом магическом полумраке... Не удержался – провожу рукой по ее щеке...

Но когда убираю руку... словно колдовским пассом я изменил что-то в лице, черты плывут, искажаются – под кожей шурудят суетливо множества щупалец. Лезет наружу рыба-моллюск.

– Черт. Ты же кончил в меня, придурок. А у меня таблеток нет!

Перекидывается через меня и шлепает своими неказистыми ногами по линолеуму. В ванной скрепят вентиля, включается вода. Ш-ш-ш – шумит струя из душа. Чавк-чавк – чавкает моллюск, выпростав из себя щупальца и загребая ими воду в свой мясной цветок в середине тела. Что-то пластмассово загремело по дну ванны: упало что-то. С таким коротеньким эхом, как это бывает в ванной, зубная щетка или бритва, может, упала с полки. Потянуло сыростью. За слепым незашторенным окном, в котором отражается похожая на стакан с молоком коридорная люстра, уже темно. Над окном висят пустые карнизы – шторы, наверное, в стирке... Я начинаю мелко дрожать, глядя в окно, тяну на себя пододеяльник выше, к плечам... Сворачиваюсь в комок... Ш-ш-ш, продолжает своё душ...



Полина Журавлева

г. Сергиев Посад
Студентка Литературного института имени Горького.

Про клены

Петра Семёныча мучила боязнь аудитории. Работа у него была тихая и не требующая частых выступлений на публике, и все было бы ничего, если бы Петр Семеныч в свои пятьдесят с хвостиком вдруг не вздумал писать стихи.

Такая что ли осень накатила особенная, или в воздухе появилось какое-то новое вещество, которое так на него повлияло – факт в том, что Петру Семенычу никак невозможно было противиться этой охватившей его жажде поэзии.

Стихи были про природу, в основном почему-то про клёны. Про любовь он не писал принципиально, очень этим гордился, и, опять же, все было бы ничего, если бы у Петра Семеныча не появилась вдруг неодолимая потребность кому-нибудь свои сочинения прочитать.

Бывало, когда он сидел на главной аллее города, на деревянной скамье, и листал какую-нибудь книгу, к нему иногда подбегали безумного вида люди с тонкими брошюрами. «Хотите, я вам прочту свои новые стихи?» – говорили они, заикаясь на ударных гласных, и Петр Семеныч хорошо помнил, как ему было стыдно и грустно за таких людей.

Так что найти публику на аллее он не посчитал возможным. Тем более, он знал о своей боязни аудитории и опасался, как бы во время чтения не начать вдруг от стеснительности заикаться на гласных, ударных и безударных, картавить, шепелявить и еще Бог знает что. Поэтому Петр Семеныч остался дома и решил тренироваться. Сначала он читал стихи просто так, стоя перед зеркалом в позе римского полководца, а потом придумал одну совершенно замечательную штуку.

Хотя Петр Семеныч жил один, у него было целых пять табуреток – на всякий случай. Так вот, он придумал во время чтения ставить эти табуретки перед собой и воображать на них всяких знакомых и незнакомых. Сам он с удобством устраивался на диване и, затягиваясь папироской, декламировал стихи с важностью именитого мэтра, даже с тем характерным подвыванием

в особо выразительных местах, которое дает слушателю понять, что прочитано не что-нибудь, а стихотворение. Невидимая аудитория тем временем взволнованно переглядывалась и аплодировала.

Но скоро Петр Семеныч понял, что просто табуреток с воображаемыми слушателями ему недостаточно – наоборот, их пустые клеенчатые сиденья с каждым разом все скорее навевали на него тоску. Но человек найдет выход из любой ситуации. Вот и герой наш додумался до такого, что сам потом себе удивлялся.

Одним прекрасным утром Петр Семеныч пошел в магазин и купил дюжину воздушных шариков разных жутковатых расцветок. А еще он купил черный маркер и скотч. Дома он надул пять шариков до размера человеческой головы, нарисовал на них вдумчивые, интеллигентные лица и скотчем приклеил к табуреткам. Выглядело странно, но когда Петр Семеныч в порядке эксперимента уселся на диване в своей излюбленной позе и декламировал им «из раннего», он, к своему удивлению, заметил, что лучшей аудитории и пожелать себе не может.

Но дней через пять шарики сморщились, физиономии скукожились, и пришлось изготавливать им замену. На этот раз Петр Семеныч подошел к делу совсем уж творчески – нарисовал на скрипучих разноцветных боках портреты своих хороших знакомых. Вышло очень похоже, он совсем раздорился, кому усы приклеил, на кого шляпу надел, а к Инессе Николаевне, очень положительной даме, живущей за дверью напротив, он, подумав, прицепил еще два шарика, поменьше, где-то сразу под подбородком, и соорудил парик из бумажных кудрей.

Таким образом, вооруженный лишь простейшими орудиями труда, он изготовил Евгения Егорыча, приятеля и сослуживца, его жену, милейшую Анну Николаевну, еще двух близких знакомых и пресловутую Инессу. К тому же он изобрел хитрый такой узел, который, при желании, можно было легко развязать и сдуть шарики – так что новые слушатели обещали прослужить куда дольше своих предшественников.

Тут как раз начался отпуск, и, учитывая, что клёны именно в это время пребывали в самой своей красе и разноцветии, у Петра Семеныча случился очередной творческий приступ. Тем вечером, когда уже стемнело, он взял стопку рукописных листков, красиво разложил подушки на диване, помог разноцветным гостям занять свои места и принялся декламировать. Уютный свет торшера причудливо оттенял тех, кто сидел перед ним на табуретках, и Петру Семенычу казалось, что они благосклонно улыбаются.

...И кленов огненных пылающи костры

И золотых нам взгляды утоляют...

Вдохновенно выводил он и с умилением наблюдал, как в веюшем со сто-

роны балкона осеннем ветерке трепещут бумажные локоны и нижние шарики прекрасной Инессы.

Еще одно стихотворение решил он прочитать в тот вечер, на свой страх и риск, потому что оно казалось ему чуточку недоработанным. Но аудитория, чувствовалось, была к нему расположена, и он начал, чуть заикаясь:

*Ах, вы, клены, мои клены, клены пышные,
Ну а мы живем в России, никудашные...*

Оно было ему особенно дорого, это стихотворение, в нем он впервые решил коснуться темы Родины. Но, не дочитав до конца, он запнулся и замолчал: то не свет торшера обманывал его зрение – Евгений Егорыч как-то слишком насмешливо улыбался, слушая его.

Петр Семеныч мотнул головой несколько раз, но выражение лица приятеля и сослуживца осталось прежним.

«Так и есть, ухмыляется! – подумал Петр Семеныч, холодея. – Вон как рот кривит... Ой, это надо же о ерунде такой думать! Ты ведь его сам нарисовал, дурила, вот этим маркером! Собственными руками! Да и как он может ухмыляться, если у него самого рожа вон какая синяя...»

На него вдруг нахлынула такая обида, что он вскочил с дивана и прошелся по комнате, потирая пальцами ладони.

«Надо взять себя в руки!» – решил Петр Семеныч. Он снова сел на место, закурил и продолжил срывающимся голосом:

*– Ой, вы, клены, мои клены, раскрасивые,
А Россия наша добрая и сильная.*

Тут он не выдержал и снова посмотрел на Евгения Егорыча, и наткнулся на ту же презрительную ухмылку. И тогда с Петром Семенычем случилось такое, чего не было очень давно, а может быть, и ни разу в жизни: приступ ярости. Отчаянно взыв, он молнией метнулся вперед, и уже в полете, словно шпагой, ткнул в синюю физиономию своего противника тлеющей папирсой.

Раздался оглушительный взрыв. Когда Петр Семеныч решился, наконец, открыть глаза, он увидел, что на табуретке остался только невзрачный лоскуток, с которого смотрел на него очень уменьшившийся и ставший удивительно четким глаз Евгения Егорыча.

У Петра Семеныча задрожали губы. Двумя пальцами он схватил синий лоскуток, побежал на балкон и скинул его вниз, навстречу мокрому осеннему асфальту. Лоскуток некоторое время кружился, падая, а маленький четкий глазик укоризненно смотрел на Петра Семеныча, пока не растворился в сумерках. Со вздохом, похожим на поскуливание, тот закрыл балконную дверь, на заплетающихся ногах подошел к дивану и упал на него как-то боком, обхватив голову обеими руками.

Случившееся настолько поразило его, что он не мог более пошевелиться. Боже мой! Ведь только что, вот этими вот своими руками он лопнул Евгения Егорыча! Этого добрейшего человека! Лопнул, как разбойник какой-то, даже не спросил, как ему это понравится; да и не просто так лопнул, а на глазах его супруги, милейшей Анны Николаевны! Петр Семеныч в ужасе посмотрел в ее сторону и обнаружил, что Анна Николаевна, прежде такая желтенькая – ну прямо цыпленочек! – как-то вся сдулась и посерела, а одно ухо съехало на бок.

Бедняга начал биться головой о мягкое диванное сиденье. Может быть, это помогло, потому что в голове зародилась злорадная мысль: «А вот не надо было ухмыляться, и поделом тебе!» В глазах Петра Семеныча зажглось торжество; он встал с дивана, и, горделиво переставляя ноги, принялся кружить по комнате, танцующими жестами собирая шарики с табуреток, сдувая их и складывая в ящик стола, смакуя при этом в голове единственную фразу: «А вот не надо было!». Пропорхав таким образом еще минут десять в самом приподнятом расположении духа, он решил, что на сегодня хватит, и улегся спать.

А ночью ему приснилось такое, отчего утром зуб на зуб не попадал. Сон был, будто звонит ему Анна Николаевна, и, рыдая, говорит, что, мол, так и так, помер Евгений Егорыч, точнее, был убит наемни одним или несколькими неизвестными. А завтра будут похороны, и она очень хочет, чтобы Петр Семеныч, как один из близких друзей покойного, непременно присутствовал.

Потом кто-то постучал в дверь. Петр Семеныч посмотрел в глазок, но увидел только два серебристых кружочка на темном фоне, один над другим. Тогда он открыл дверь, а за ней стоял милиционер, и голова его терялась где-то в полумраке, скопившемся у потолка, а голос был громоподобен. «Разрешите пройти!» – пророкотал он и следующие полчаса сидел с Петром Семенычем на кухне и расспрашивал его касательно загадочного убийства его друга, гражданина Сёмкина Евгения Егоровича. Хозяин прятал глаза, виновато улыбался, избегал прямых ответов на любые вопросы и подхалимски предлагал милиционеру чай. Но в руках Петра Семеныча – к немалому ужасу их обладателя – время от времени появлялся то окровавленный кинжал, то пулемет, то дубина, то тяжеленный клевец. И каждый раз милиционер, к счастью, не замечающий этого – Петр Семеныч стыдливо прятал улики за спину – заявлял, что именно этим видом оружия и был убит гражданин Сёмкин. Петр Семеныч страдал и хотел уже сдать, но тут гость внезапно распрощался и ушел.

А потом Петр Семеныч оказался уже на кладбище. Тут и безутешная вдо-

ва, и венки с траурными лентами, и пьяненький оркестр. И в центре композиции – гроб, обтянутый малиновым плюшем. «Петр Семеныч, идите, попрощайтесь с покойником!» – толкает кто-то в спину. Он подходит к гробу, склоняется над ним... И с ужасом видит, что в гробу никого нет, зато на атласной белой подушке лежит синий лоскуток с нарисованными глазами! Глаза эти широко открыты, и в них – такое злорадство, что у Петра Семеныча случился спазм в горле и он стал задыхаться.

Тут он, наконец, проснулся в абсолютно темной комнате, и только странное оцепенение не дало ему тут же побежать в милицию и чистосердечно признаться в содеянном. Так он и лежал некоторое время, глядя вверх и стискивая зубы. Совесть не давала ему покоя. «Надо пойти и извиниться хотя бы!» – стучало у него в голове. «А в чем, собственно, извиняться – самому Евгению Егорычу я ведь ничего не сделал! Или сделал? А кто знает, вот пойду к нему с утра – а он там и правда умер, и меня сразу под белы ручки и на допрос. А второго за день я ведь не выдержу, я ведь расколуюсь!»

В таких тяжелых думах Петр Семеныч до утра проворочался на постели. С первыми лучами солнца он встал, оделся и выскочил на улицу.

Снаружи оказалось совсем промозгло. Улицы были пустыньны – может быть, оттого, что сегодня воскресенье. А может быть, потому что все ушли на похороны Евгения Егорыча? Его ведь многие знали и любили, немудрено, что весь город сбежался! «Вот беда! – думал Петр Семеныч, – Я ведь даже не знаю, где и во сколько будут хоронить, и будет ли отпевание, и где оно будет... Ой, что же я такое думаю, с чего ж я взял-то такое! Надо бы пойти к нему, прямо сейчас. Повод... повод – ну, просто на чай попроситься. А если там милиция? И гроб в малиновом плюше?»

Ноги тем временем сами несли его в сторону дома Евгения Егорыча. И когда донесли, Петр Семеныч несказанно обрадовался, не увидев рядом с подъездом ни венков, ни еловых веток на асфальте, ни скорбящих старушек. В окнах не было света.

У Петра Семеныча отлегло от сердца. Он хотел уже вернуться домой пить чай, но тут сообразил, что со дня смерти до похорон обычно проходит трое суток. Не в силах больше сдерживаться и вообще что-нибудь соображать, он кинулся в подъезд, махом взлетел на четвертый этаж и принялся трезвонить в дверь квартиры.

Наконец заспанный Евгений Егорыч с весьма недобрим выражением лица отпер замок и предстал перед гостем в синей японской пижаме с веерами.

– Чего тебе? – спросил он силным ото сна голосом.

Петр Семеныч несколько секунд стоял, остолбенев, а потом вдруг бросился хозяину на шею, обнял его и залепетал, поливая пижаму слезами:

– Ой, Евгений Егорыч, Женька! Как я рад, что у тебя все хорошо! Как

я рад! Живой, а! Огурец-молодец! Ых, какой мамон отрастил!

Евгений Егорыч стоял в полном изумлении, не предпринимая никаких попыток отстраниться. Потом он попятился назад вместе с висящим у него на шее Петром Семенычем и допятился таким образом до кухни. Там он, наконец, пришел в себя, усадил нежданного гостя на стул и просипел сердито:

– Вот те на! Ты чего в такую рань? Ты чего творишь-то?

Но Петр Семеныч уже оклемался и потому только молчал, стыдливо опустив глаза.

– Эй, ты меня слышишь? Случилось что-ль чего?

– Не, я просто... просто так вот... решил зайти попроведать... Как ты тут – жив или уже умер... и нет ли тут... этого... в малиновом плюше... и старушек всяких...

Евгений Егорыч подумал, потом включил электрический чайник.

– Давай, выкладывай, что там у тебя.

Петр Семеныч долго отнекивался, но потом не выдержал и рассказал Евгению Егорычу все как есть: и про аллею, и про стихи, про табуретки и шаррики, и про то, как он его проткнул папиросой и скинул с балкона, а потом еще злорадствовал. И про сон рассказал, и про милиционера, от которого в глазок были видны одни пуговицы. Евгений Егорыч сначала хихикал, потом отчего-то расстроился и спросил вдруг:

– А чего за стихи-то такие?

– Да вот, я сочинил тут немного...

– Давай, читай, что там у тебя! – предложил Евгений Егорыч с выражением снисходительного добродушия на заспанной физиономии. – Я тебя знаю, ты мужик нормальный, плохого не напишешь...

Чайник умиротворяюще побулькивал. Петр Семеныч, тихо млея от накатившей внезапно радости, начал бормотать про себя, перебирая оставшиеся в памяти строчки – даже закурил на радостях без спросу, спеша собраться с мыслями. Евгений Егорович тем временем открыл холодильник, достал слипшиеся холодные пельмени, заварил себе и гостю чай и приготовился слушать.

Сначала все шло просто прекрасно. Боязнь аудитории была забыта, Петр Семеныч читал особенно вдохновенно, всё новые и новые строчки лезли ему в голову, обгоняя друг друга – он был на грани гениального экспромта. Евгений Егорыч слушал внимательно, в нужных местах кивал и даже жмурился иногда, что доставляло гостю особенное удовольствие.

Наконец он вздохнул полной грудью, видимо проснувшись окончательно, с хрустом размял пальцы и, взяв со стола вилку, ткнул ей в пельмени, поймав сразу два. Раздался скрежет зубчиков о кастрюлю, пельмени чавкнули, отлепляясь.

Среди огненных кленов

Я иду удрученный...

Петр Семеныч чуть запнулся, но продолжил с еще большим вдохновением, полуприкрыв глаза и постукивая в такт ребром ладони по коленке. Утро за окном наконец прояснилось, луч солнца забрел в комнату и прошелся по Евгению Егорычу, заставив его зажмуриться и пробормотать: «Вот, хорошо так с утра...» С этими словами он подвинул чашку размером с доброе ведро поближе к себе, шаркнув ею по столу, и многозначительно покивал головой – очередное стихотворение вошло в стадию финальной морали. Петр Семеныч покосился на него, но лицо друга и сослуживца излучало неизменное добродушие, и это солнечное выражение не портила даже зеленюшка, свисающая из уголка рта. Петр Семеныч хотел указать ему на эту зеленюшку, но в момент передумал и продолжил изливать душу дальше. Евгений Егорыч тем временем забубнил под нос что-то музыкальное и пошевелил в такт пальцами ноги, отчего тапок на мягкой резиновой подошве ритмично шлепался об пол. Раздалось очередное шкрябанье вилкой по кастрюле. Тут Петр Семеныч все-таки прервался и исподлобья, укоризненно посмотрел на хозяина. «Ты пвдолжай, пвдолжай, очень интеесно!» – откликнулся тот с набитым ртом. «Ну вот, строчку забыл...» – расстроился было Петр Семеныч, но строчка тут же отыскалась, и он продолжил читать. Евгений Егорыч в этот момент уже нацелился запить пельмень чаем. Чай был горячий, он потянулся к нему губами, с шумом всхлюпнул и, видимо, обжегся, потому что начал с несчастным видом шипеть и высовывать язык.

И наш герой снова не выдержал. Как дикий барс вскочил он со своего места, глаза его сверкнули сталью, а в голосе гремело железо. «А-А-А!» – прокричал он, и метко ткнул своей папиросой в мохнатую бровь друга. «Ай-й-йопт!..» – завопил тот, хватаясь за лицо. Петр Семеныч застыл на мгновение, отчаянно вращая глазами, и грохнулся в обморок.

Когда он, наконец, пришел в себя, то увидел, что лежит на диване, на голове у него мокрая тряпка, а Евгений Егорыч сидит рядом на стуле, подперев щеку кулаком.

– О, очнулся, мушкетер... – хмыкнул он. – Ань, очнулся, слышь?.. Тебе еще повезло, что Ани рядом не было, она бы тебя... Эх...

Петр Семеныч уселся, снял тряпку со лба.

– Т-ты, это, извини, я ч-чѐ-то совсем того... Я пойду, пож-жалуй...

– Тебе, брат, просто поспать надо, – Евгений Егорыч заботливо похлопал его по голове. – Хочешь, у нас оставайся, полежи, а то дуй домой... Дойти-то сможешь? Может, проводить тебя? Ох, Петя-Петя, что же ты с собой делаешь, а? Эх... Этак и заболеть можно чем-нибудь психическим, беречь ведь себя надо! Укутайся там потеплее, чайку себе завари лечебного...

Петр Семеныч уныло встал и пошел к двери.

– Я пойду тогда... До свиданья... – пискнул он. – Дсвданья... – из кухни высунулась Анна Николаевна с лицом фурии, посаженной на цепь. – Извини... –

Он уже вышел на лестничную клетку, когда его остановил Евгений Егорыч.

– Слушай, как мужик мужику тебе скажу, – сказал он, ткнув его толстым пальцем в плечо. – Брось ты эти штучки про клены и пиши нормальные стихи – про любовь там, и подкладывай Инессе своей под дверь, например... И польза, и приятно! Ну, это я так, дружеский совет, понимаешь?

Петр Семеныч подавленно кивнул.

– Вот. Ты, это, только, курить брось что ли, потому что если ты Инессу подожжешь... Гы-гы... – лицо Евгения Егорыча расплылось в довольной улыбке. – Хе-хе!

Выйдя на улицу, Петр Семеныч посмотрел на небо, посмотрел на клены, вздохнул, пожал плечами и подумал: «А что я, в самом деле?» Дальнейшие его мысли были сплошь рифмованные, и предметом своим имели всякие шарики и прочие прелести прекрасной Инессы.



Татьяна Замировская

г. Минск

Родилась в 1980 году в г. Борисове (Беларусь). Живет в Минске. Закончила факультет журналистики Белорусского государственного университета и аспирантуру факультета журналистики. Является музыкальным обозревателем ряда ведущих белорусских изданий. Работала редактором журналов «Джаз-квадрат» (журнал о джазе, Минск) и «Доберман» (интеллектуальный глянецовый журнал, Минск). Публиковала короткие рассказы в журналах «НАШ» (Украина, Днепропетровск), «Крокодиль» (Москва), сборниках «Фрам» издательства «Амфора» (составитель Макс Фрай), а также в сборнике «Автор ЖЖOut», вышедшем в издательстве АСТ.

Забыл, как выглядят женщины

Память

...и когда я спросил: «Мама, а когда умрет дядя Вовик? Он же совсем больной уже», – она ответила: «Да, вот теперь ты уже можешь об этом узнать». И я снова спросил: «Хорошо, а когда, когда умрет дядя Вовик, у меня уже нет никаких сил входить с мухойкой в эту жуткую комнату»; И тогда она – ну, вот эту всю историю, да – о том, что дядя Вовик никогда не умрет, что это ему проклятие какая-то цыганская вдова подарила добрых полтысячи лет назад, и что дядя Вовик так и будет лежать и гнить в соседней комнате вечно, такие правила – разумеется, уход за ним нужен, иначе никак; я так тогда и не понял, почему нельзя бросить его и переехать в другой дом, но она плакала и говорила: да, многие переезжали, бросали, но он каким-то непонятным образом вставал, начинал говорить, подписывал бумаги, отвоевывал через суд, и его возвращали, да еще и деньги каким-то образом снимали – штрафы, тяжбы, услуги адвоката – и потом он снова лежал на деревянной скамейке с этой своей отваливающейся кожей, и каждый день по-прежнему надо смазывать его пальмовым маслом: и она так мазала, и моя бабушка тоже, и бабушка бабушки мазала чем-нибудь, может, и не пальмовым, но мазала

наверняка; и мои внуки тоже будут нянчить дядю Вовика, и так будет всегда, пока не умрут все люди.

– ...

...Ну да, так и сказала: все люди умрут, а дядя Вовик останется жить – жалкий, беспомощный, слепой, с гангренозными ногтями и этими сальными глазастыми шарами под кожей – я, конечно, спрашивал: «Мама, мама, ведь его можно задушить подушкой?» А она улыбалась двухслойно, как нож, и таинственным голосом говорила: «Ну поди, проверь».

– ...

...Конечно, шел и проверял! Ну сама подумай, что я еще мог сделать, я боялся передавать эту жуткую историю своим будущим детям, вина перед этими детьми меня сводила с ума, хоть-ты-не-женись-право-слово; и я брал подушку и шел к дяде Вовику в комнату, клал ему эту подушку на уставшее, пергаментное лицо – оно было все как россыпь драгоценных камней, только очень страшных – надавливал на нее руками и долго-долго стоял так и слушал, как за стеной девочка Алечка играет гаммы – пять-шесть гамм прослушивал с каким-то симфоническим ощущением многообразия каждого звука, а дядя Вовик показывал мне сквозь подушку диснеевские мультфильмы – ну да, они отображались там сквозь все эти перья, не знаю я, как! – я потом специально только белую подушку брал, на ней лучше всего видно. Только они без звука были – вот эти гаммы только. Я потом, когда вырос, долго не мог понять, что именно было раньше – триста лет назад, четыреста – он тоже показывал диснеевские мультфильмы? или что-нибудь другое? что вообще можно было показывать в то время?

– ...

...нет, спросить я не могу. Я вообще не знаю, как у него можно что-нибудь спрашивать. Но ты понимаешь – я точно знаю, что она меня обманула; просто она понимала, что умрет, и тогда я от него точно как-нибудь избавлюсь – ей жалко было, она и придумала эту историю про цыганку – я бы и правда избавился, но когда мы уехали в Коктебель, тогда – я тебе говорил, вроде бы – он действительно пошел в суд и нас потом оштрафовали, поэтому пускай себе лежит, это не очень важно; это как память, это и есть память.

Совершенно другое

Фармацевту Вешникову нравится пловчиха Маша. Он приглашает ее в кафе, он приходит к ней домой поиграть в настенный теневой бильярд, он даже дарит ей подшивку газеты «Око». Маша выглядит умной, много молчит, по вечерам выбрасывает в форточку одноразовые контактные линзы.

Фармацевт Вешников очень хочет узнать все о пловчихе Маше. Он изуча-

ет содержимое ее шкафов, читает ее блокноты и менструальные календарики (Маша не каждый день может плавать, оказывается – удивился Вешников), пьет чайное вино с ее подругами и заражается от них неизлечимыми вирусами красноречия и пустословия.

И все ему мало; кажется ему, что Маша что-то скрывает.

«Давай попробуем встретиться раньше», – однажды предлагает он.

Маша кивает и вынимает из головы небольшую пластмассовую уточку, потом аккуратным движением вставляет ее в слот в форме уточки, расположенный глубоко в затылке Вешникова.

**

Вешников встречается со студенткой Машей на втором курсе, но она бросает его ради возможности плыть вдаль и получить медаль; Вешников дарит Маше-первокурснице букет гангренов, ганглий, гранатов – Маша смеется и уплывает за горизонт бороться с испанцами за стальной вымпел; Вешников подстерегает 16-летнюю Машу в подъезде, прижимает ее к белой, сыплющейся кальциевой перхотью стене и целует в прозрачные зубы, но Маша мотает головой и хихикает: «Нет, я тут не могу... нет, ой, ты что...»; Вешников подбрасывает школьной Маше в портфель живого ежа, но еж оказывается мертвым (причем давно, вот ужас-то); в детском саду Вешников отдал Маше свою порцию молока, а оно оказалось отравленным – смерть, смерть; Вешников и Маша встречаются в мире растений, и одно растение без остатка сжирает другое – стоп, остановить.

«Нет, – говорит Вешников, вынимая из головы гудящую и нагрешуюся уточку, – раньше не получается никак».

«Зато смешно же», – уныло отвечает Маша, но ей как-то не по себе. Теперь ей больше нечего скрывать от любопытного влюбленного Вешникова – и теперь он может надеть пальто, поцеловать ее в левое весло и уйти навсегда; потому что если в прошлом у них как-то не складывается, какой смысл пытаться делать вид, что сложится в будущем?

Так все и случилось. Какое мудрое изобретение все-таки, думает уходящий Вешников, и правда – если ты хочешь знать, стоит ли тебе пускать что-то в свою будущую жизнь, вначале проверь это прошлой, все равно она уже растратчена, потеряна, исхожена, израсходована; ее можно терзать сколько угодно – непаханое поле!

Правда, он забыл, что на самом деле хотел узнать совершенно другое.

Чудо нежелательного рождения

В одну ночь у них родилось четверо детей: один выпал из шкафа сальным, влажным куском с водяными прожилками взгляда (виноватого до-нельзя, словно собственное рождение является делом стыдным, абсурдным и неловким); второй запутался в складках постели и напугал их вишневыми, пряными запахами («словно бабушка печет пирог где-то под землей» – сдавленно сказала она, от безысходности пеленая новорожденного старенькой алой майкой, изорванной в клочья); третьего сами догадались поискать под ванной («я слышу плач» – сказал он, и точно, в ванной будто мокрыми ключами звенели); четвертого же вынесло изображение Президента из телевизора – Президент раздавал грамоты и ордена работникам канала «Победа» и вдруг немного пошатнулся, как бы пластилиновым рулоном наполовину выпал из телевизора в комнату – в руке его уже был синеватый младенец с надписью «Грамота Отдельным» – они успели подхватить задыхающееся от электрического стрекота тельце, а Президент дымно втянулся назад в крошево экрана, продолжив повторять снова и снова слово «цельность».

Цельность, цельность. Они молча разложили всех четырех на ковре, «вот и родились наши дети», «как жаль, что они на нас не похожи», «позвони маме». Но кто звонит маме в три часа ночи? Возможно, мама тоже сидит под землей вместе с бабушкой на земляной табуреточке и помогает ей печь пирог из земляных вишен, а рыхлый потолок будоражат блестящие дырочки дрожащих от нетерпения пятачков – это специально обученные свинки ходят по лесу наверху и ищут трюфели. «Отдать их на воспитание маме и бабушке?». «Не думаю». «Может, они заболели? Дети ведь часто болеют чем попало». «Вот этот синеватый похож на дядю Гиви, это омерзительно, ведь дядя был не родной, его бабушка Кооря взяла из приюта, чтобы ее не угнали в Сибирь».

Они идут на кухню, очень тихо греют чай. Заглядывают в холодильник: там томик лука, ягода-малина, маленький вепрь в целлофане, сырники дракончики из Италии, тертая мука, йогурты для уменьшения бедер. «Закрой, вдруг оттуда еще один». «О господи». Звучный, почти панический, хлопок дверью. Они сидят друг напротив друга, пьют чай и разговаривают о театре. «Тебе придется бросить театр». «Да, мне придется бросить театр. Признаюсь по секрету: ужасно хочется случайно разбить голову о металлический крюк».

Через несколько минут им позвонили и извинились: «Да, да, это не ваше, произошла ошибка, сейчас заберут, бывают иногда сбои в системе, сами понимаете, отключение энергоблока из-за перепада температуры, антициклон, тетрациклин, интерферон закапайте в носики, через пару часов мы за ними

заедем». «Как странно, а ведь я только что подумал, что дядя Гиви стал нам родным не через своих предков, а через потомков – какая милая инверсия, какая трогательная, а теперь все, теперь чуда не случилось и я по-прежнему буду игнорировать его могилку», – пробормотал он каким-то продавленным, проваленным голосом, все провалено, ничего уже не поделаешь, надо было радоваться, что ли.

В одну ночь у них родилось четверо детей, четверо чужих детей родилось и ушло навсегда в одну и ту же ночь – будем считать, ушло в новую самостоятельную жизнь; разницы ведь никакой – у некоторых это происходит за 17–20 лет, у некоторых этого не случается никогда, а у них все случилось за одну-единственную ночь, неплохой опыт. «Краткосрочный опыт материнства – именно то, чего не хватает современным драматургам», – смеется она, вытирая слезы прощания; а дядя Гиви уже сидит усатым пятилетним мальчиком, только что получившим первого своего дареного коня из картона, на хорошенькой земляной табуреточке вместе со свежобретенными бабушкой Коорей и другой, безмянной для постороннего, бабушкой, которая вместе со своей еще, возможно, не совсем мертвой дочкой печет сладкие вишневые пироги. «Сегодня будет сладкое», – радуется усатый малыш, который первый раз в смерти обнаружил что-то по-настоящему волшебное; видимо, это и есть счастье – видимо, это и есть главные эффекты чуда нежелательного рождения.

Забыл, как выглядят женщины

Ковалицын проснулся весь липкий от ужаса: он забыл, как выглядят женщины.

За окном все было тяжелым и белым – пока Ковалицын спал и забывал, валил снег и помогал ему забывать; теперь снег жирно и как-то по-польски уговаривал деревья и троллейбусы постоять, отдохнуть, отдышаться, а у Ковалицына волоски на подбородке дрожат – забыл!

Поставил чайник, открыл журнал «Симфония» и трёт пальцем глянец: возможно – вот так? Или даже – так? Страничка мод – самая показательная, на ней женщин одевают в звериные шкуры и пускают на арену танцевать кровавый парад, здесь должно быть все понятно – нет, Ковалицын видит что-то пестрое и угрожающее, он ничего не узнаёт, все здесь – чужое. Руки, ноги, темные полосы внутри живота – все это когда-то могло быть на этих страницах, но он ничего не узнает, все ему – чужое.

Ковалицын выбежал в подъезд и от безысходности дежурил три часа под лестницей. Когда мимо шли заснеженные мужчины и женщины в треугольных шляпах, он выбегал весь всклокоченный и пытался рассмотреть их, пока они неуютно пробегают мимо. К сожалению, он так и не вспомнил, как выгля-

дит женщина – одну из них ему даже посчастливилось затянуть под лестницу и дотла раздеть, зажав ей рот оранжевым шарфом – ноги опять же, какие-то темные полосы внутри живота, кошмарные железные складки из детских сказок про смерть, маслянистые волчьи глаза где-то в глубине, если насильно развести пальцами, стройный куриный сустав с ключьями чего-то насекомого и разноцветного – всё чужое, всё неизвестное ему, и ни одной зацепки, ни одного луча света не выбивается из этих одиозных отверстий, чтобы помочь ему вспомнить, осветить его жизнь и вывести его из сумрака.

Ковалицын вернулся домой (пострадавшую женщину он как-то умудрился одеть и вытолкать из подъезда назад во двор, чтобы она отдышалась и постаралась не думать о плохом) и включил радиоточку.

– Три угла, – сказали в радиоточке, – три кольца – это как три слона: кольца с живыми подвижными хоботами и размножаются через лень и грязь. Посередине – живая кукла матрёшка. Открываешь ее – и так четыреста раз. Приблизительно вот такое зрелище.

– Спасибо, – прохрипел Ковалицын. – Я не могу вспомнить, но верю вам на слово.

– Еще у тебя воспаление оболочек мозга, – добавило радио, – поэтому ты и забываешь такие простые вещи. Но это ничего, иногда помогают антибиотики.

Ковалицын повалился на паркет и, взмахивая руками, точно отгоняя невидимого медведя, уснул. Ему снились прозрачные, гибкие ампулы с антибиотиками, пахнущие чем-то больничным и революционным – когда одну из ампул внедрили в алый мраморный шприц и поднесли к его уху, чтобы он услышал, как антибиотик внутри перекачивается, он приблизительно понял – ну да, женщины какие-то вот такие же, все как-то вот так теперь будет, как-то так.



Игорь Кузнецов

г. Кемерово

Родился в 1983 г. в Кемерово. Учился на филологическом факультете КемГУ и юридическом факультете Томского госуниверситета. Работал веб-мастером, программистом, охранником. Участник Всероссийского совещания молодых литераторов (Ишим, 2003). Победитель поэтических чтений II Фестиваля поэзии «Урал-Транзит» (2004). Шорт-лист премии «ЛитератураРентген-2006». Участник VIII Форума молодых писателей России (Липки, 2008). Публикации в журналах: «Транзит-Урал» (Челябинск), «Крещатик» (Германия), «Сибирские Огни» (Новосибирск), «День и Ночь» (Красноярск).

Головняки

1

Наверное, так вышло, потому что наши отношения начались с вранья. Почти с первых недель общения. А потом обман стал нормой, как бы необходимой частью моей жизни. Я верил в то, что врал. Еще я долго переживал, что она не кончает. И то, что мы – не пара. И старался дать ей больше, чем мог Тане раньше. Теперь она ушла. И дело, может, не в том, что появился этот Артем. Просто у нас обоих сил не хватило. Вот так вот. А они сблизилась, и все. И мне совсем не важно, было между ними что-то или нет. Главное, больше не нужно врать.

Но разговор был неприятный. Сначала она не звонила мне три дня, я жил у отца в Томске. Позвонил сам.

– Ты почему, Пика, мне не звонишь?

– Денег совсем нет на трубе, не поверишь.

– Правда, не поверю, даже на эсэмэсочку?

– Да и учеба еще эта. Занята все время, – голос был не Алесин. Голос был девушки, которая по пьяни трахнулась со мной, а теперь не очень-то хочет еще встречаться.

Мою сучью интуицию нельзя было провести. Было ясно – что-то не так.

Надо было узнать, что, но я сделал, как обычно. Сделал такой же тон, как у нее, мы трепались еще пару минут, потом сухо попрощались. А потом пришла смс от нее: «Прости, Игорь, что так все получается». Что-то екнуло, и я набрал ее номер. Сучья интуиция подсказала, как говорить. И я начал:

– Не проси прощения, если любовь проходит.

Она молчала.

– Алеся, никогда не извиняйся за это. Просто скажи как есть.

– Так нельзя больше, ты – там, я – здесь.

– Не начинай, через пару месяцев все устаканится.

– Ты мне это с лета говоришь.

– Давай трудности вместе преодолевать. Надо подождать.

– Последний год ты у меня есть, вроде, а в реале тебя – нет.

– У тебя появился кто-то?

– Нет. Но я как связанная, не могу ни с кем погулять.

– А ты этого хочешь?

– Что?

– Гулять. Гуляй, если хочешь, не встречайся тока ни с кем.

– Нет.

– Что за х... я? – я начал орать.

– Мне тебя не хватает, я не вижу тебя. Я отвыкаю.

– Я завтра выезжаю к тебе! Деньги найду. Жди.

– Не надо ко мне выезжать.

– Мы что, расстались?

– Да.

– Два года коту в жопу?! Как же ты можешь так просто?

– Игорь, мне не просто, не говори так, не рви мне душу...

– Да пошла ты! – я кинул телефон. Закурил. Интуиция по-сучьи выла.

Я перезвонил. Мы говорили долго. Алеся, ты не соображаешь, что делаешь. А как же все планы и мечты. Выслушай. Нет. Игорь, ты не понимаешь.

Я ничего не понимал.

Я позвонил Даше, выскочил из квартиры, добежал до остановки. Показалось, что забыл закрыть дверь. Вернулся, закрыл, не показалось. Я думал, что это очередной Алесин психоз, так быть не может. Мы никогда не расстанемся. Я ждал маршрутку и курил-курил-курил.

Даша сказала, что все понимает, Даша купила пива, Даша разрешила курить у нее на кухне. Даша разрешила позвонить по межгороду. Я позвонил.

– По телефону расставаться глупо. Что случилось? Кто у тебя там?

– Я не могу сказать...

– Значит, кто-то есть.

– Зачем тебе знать? – и тут мне будто по яйцам дали.

– Мы же договаривались говорить сразу. Зачем врала? – голос предательски срывался.

– Ты меня убьешь.

Мне показалось, что я очень-очень устал, что обманывал других, а обманул сам себя.

– Это Антонио?

– Да ты что! Нет, конечно.

– Артем... – я сразу вспомнил, как она показывала мне фотографии группы, где он рядом с ней, как я критиковал внешность этого парня, а она сказала, что он интересный. Музыкант какой-то. С хвостом.

– Да. Артем.

– Давно у вас? Спите?

– Нет, не спим. С октября. Я еще на дне рождения к нему присматривалась.

– Что ты в нем нашла?

– Он похож на тебя.

– А меня тебе мало?

– Да.

– Давай я приеду, и буду жить в Кемерово, а ты с ним – всё.

– Нет, я люблю тебя, но без него тоже не смогу теперь.

Я пожелал счастья, сказал, что буду скучать по ее родинкам и повесил трубку. Хотел, чтобы получилось сильно и по-мужски. А получилось жалко и по-бабьи. Представилось, как он целует ее шею, как она стонет под ним, может быть, не так, как подо мной, как она кончает. Хотелось орать. Я открыл окно и закурил. Даша говорила что-то, но ничего не было слышно.

Мы пили пиво, и я уехал поздно вечером. В автобусе мне так захотелось срать, что полчаса я вообще об Алесе не думал. Выскочил на четыре остановки раньше дома, долго поливал заснеженный кустик возле какой-то школы и пошел пешком. Отцу не стал ничего толком рассказывать, он бы все равно ни хрена не понял. Чтобы оправдать собственный вид и запах алкоголя, сказал, что от меня ушла девушка. Он сказал: «Забей, хорошо, что это сейчас выяснилось, а не позже», – подарил мне крутые часы, и мы легли спать. Утром мне было легко. А потом еще часто становилось хуево, график этих явлений я так и не составил.

2

На самом деле, я счастливый человек. Мне грех сетовать на жизнь. Большую часть жизни я выдумываю, проживаю в собственной голове. А в тех жизнях все так здорово, что иногда даже расстраивает.

То, что перед сном люди мечтают, всем ясно. Я проживаю жизни в голове всегда, кроме случая, когда с кем-нибудь разговариваю. Еду в автобусе в какой-нибудь город – значит:

1) веду новую RAV4 с левым рулем и забираю жену с дачи или

2) маму с дачи или

3) еду в командировку или

4) едем с Саней на рыбалку, затарившись до не хочу.

Вариантов много. Причем дача (на самом деле – большой, но холодный, с поплывшим фундаментом дом, лишенный всех удобств) в той жизни – в голове – уже:

1) утеплена;

2) обшита сайдингом;

3) сделан теплый туалет;

4) проведена вода;

5) вставлены пластиковые окна;

6) мама рада.

Сейчас приеду, поставлю «Тойоту» в гараж. А на самом деле пилу-пилу целый час на 102-м автобусе до самой дачи.

Еду в электричке – значит:

1) едем с будущей семьей на юг;

2) с мамой в Екатеринбург, Москву или еще куда-нибудь.

Пофиг, что вагон жесткий. Выдуманная жизнь все равно хорошо представляется и проживается. Когда иду – выдумываю. Тут может быть все что угодно:

1) я открыл центр современного искусства и арт-кафе;

2) издал журнал на хорошей бумаге с приличным тиражом;

3) мы с Саней выступаем с концертом на крутой площадке,

и на самом деле, я иду не за пачкой сигарет стоимостью 8.50 рублей, а в кафешку – почитать интересную газету и выпить пару чашек кофе с коньяком. Даже ем – проживаю другую жизнь. Даже могу выдумать, что ем – не то, что ем. Как осенью на даче. У нас покончались все деньги, мы не могли оттуда выбраться, Андрей варил из последних сил какую-то бурду, а я представлял себе буржуйский суп. Потом мы сдали чугуна на сто пятьдесят рублей и уехали в Кемерово. Завтра нужно разнести газеты и уехать в Томск, чтобы заработать там немного денег, отвезти часть маме, а на часть жить на даче в Анжерке. А раз в две недели ездить в Кемерово, к Сане, чтобы мечтать с ним вместе и записать пару недопесен, или к Тане, когда позовет. И снова в понедельник на газеты. Потому что все до копейки пропьется. И я буду искать на даче в холодильнике оставленную кем-то с лета капустную кочерыжку.

Алеся, ты меня правильно бросила. Нас не спасли снятые квартиры, тем более нас не спасло бы и мое брожение. И даже перспектива выиграть тендер на офис. Все в угоду кире. Центру современного искусства здесь не место. На него просто не хватит времени. Я так много мечтаю, что не хватает времени и сил сесть и написать что-нибудь стоящее, тем более заняться регулярной работой. А когда реальность показывает зубы, я напиваюсь. И не в арткафе. Реальность часто скалится. Уже были разные сезоны. Был с Евгеном и Саней – сезон можжевельника, с Саней были сезон спирта и дешевого портвейна. Потом был сезон дорогих алкогольных напитков и «Парламента». Потом снова – долгий сезон всего подряд с моими знакомыми Андреем и Игорем. Теперь сезон самогона, Васильич наливает в долг.

Причем всегда, кажется, вот, сейчас началось. Завтра включится мой супер-мотор, добьюсь всего, осуществление идей и планов – всё уже здесь! Конечно, здесь. Т.е. в прошлом. Пока я ездил в любой из трех заветных городов, я добился всего по дороге. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время бросать и время поднимать. Думал, если три часа гулять по морозу, – дурь выйдет из башки. Но Ляся наследила везде, даже в Томске. Там мы гуляли по всем моим любимым местам. На даче ее белье, куча фото, открыток, другой дребедени. Вот «Евросеть», где мы выбирали телефон, вот аптека-дежурка, где гондоны покупали, вот ее институт. И начинается калейдоскоп – с декабря по декабрь. И снова по декабрь. Память просыпается и скулит. Как брошенный щенок на помойке.

Теперь я могу не врать ей. И у меня нет никакой квартиры в Томске. У отца есть, у меня нет. Я не выигрывал никакой тендер, и снять жилье тоже не могу. Я перебиваюсь случайными суммами, и у меня нет постоянной зарплаты. Можно не обещать, что через месяц-два все наладится. Могу теперь спокойно жить на даче, на которую, правда, не оформлена моя собственность. Но это не беда, в головных жизнях я уже все оформил и отстроил дом заново, даже беседку с мангалом.

Только бы переждать зиму.

3

Почему, почему ни одно мое новое движение в какую-то сторону не может обойтись без кира? Я два раза пытался открыть фирму. Накупал техники, договаривался насчет офиса, находил клиентов и – стоп. Праздновал чего-то, праздновал. А потом техника продавалась. Бизнес оказывался убыточным.

Меня считают поэтом, вместе с товарищами я два раза проводил фестивали актуальной сибирской литературы. Крутая фигура. Хедлайнер. Со мной считаются. Но никогда ни одна деловая встреча с единомышленниками

не обходится без кира и ругани. Так было всегда. И пару лет назад тоже. Собираются пять человек. Сейчас поговорим о делах. Таня приготовит блокнотик с ручкой. Дюша сделает умное лицо. Наташа заведет журнал поручений. Но через пару слов возникает пиво, потом еще пиво. Потом водка. Потом Наташа уедет и возникнет Саня с гитарой. И тут уже держите меня семеро. Таня, стихи и Санина гитара сводили меня в экзистенциальную пропасть тоски. И дух печального Кьеркегора витал где-то рядом. Я говорил: «Ребята, надо же как-то организовываться». И показывал им обратный пример.

И теперь так же. Говорим в Томске о том, что фестиваль-ежегодник – хорошо, но для пушного литпроцессу необходимы регулярные малые чтения и конкурсы, и премию хорошо бы учредить. Проходит несколько часов, и я уже в отрубоне, лежу в коридоре, головой на чьей-то обуви. Видимо, уже учредил. Успев вынуть мозг половине окружающих. Хороший друг. Приятный собеседник.

Потом при встрече всегда одно и то же.

– Даша, Андрей, вы меня извините за неадекватность поведения.

– Да ладно, ничего страшного.

– Ну, о'кей.

И на следующей пьянке опять сорок пять. Все мнят себя особенными, у всех тонкая душевная организация, избирательность в общении и могучий интеллект. А я, видите ли, давлю на всех, меня слишком много. После определенной дозы бухла я клал на эти параметры. Наверное, скоро со мной вообще никто не будет общаться. Хотел собрать стаю, все кивают головами, но ни хрена не происходит. Ни статей в журнал, ничего. Каждую подборку чуть ли не выпрашиваешь. У всех столько других дел, что диву даешься, как они еще не взлетели с этими пропеллерами в задницах.

4

А что делать на даче одному зимой? Я приезжал туда несколько раз. Топил тем, чем придется рассыпающуюся печку, верстал журнал, который все никак не выйдет. Смотрел порнуху на ноутбуке и дробил-дробил-дробил. В творчестве я плохо сублимируюсь. Не знаю, у кого как, а у меня после она-низма жестокие приступы одиночества. Раньше я делал из подушки подобие Алесиной попы, клал на нее руку и засыпал. Теперь делаю также, но попы уже не представляю. Просто придумываю девушку. Бывает, даже лица представить не могу, но знаю, что она меня очень любит. Она без ума от меня, и ей плевать на то, что я так живу. Мы лежим с ней голова к голове.

А зимой там так холодно, что ночью замерзает нос. Все стены дома в трещинах, и сифонит так, что качается люстра. Приходится с головой лезть под

два одеяла, ставить в ноги тепловентилятор. Мать и парни называют его «Ветерок». Ставишь рядом с койкой пустую пластиковую бутылку, чтобы ночью ссать в неё. На улицу выйти не реально. Но спросонок не попадаешь, и потом зассана половина пола. А можно терпеть, но утром еще хуже от этой убивающей тяжести в мочевом. Невозможно проснуться, вылезти из койки из-за этого холода.

Иногда теплеет, выпадает много снега, и я чищу дорожку к колодцу или топлю баню. И мне не хочется никого видеть, особенно соседей. Теперь я знаю, что от тоски по Её теплу можно сойти с ума.

5

Меня, наверное, по-настоящему любила Таня. Но это было давно. Я понял, что часто перечитываю ее новые стихи. Они мне действительно интересны. Даже странно. Раньше я относился к ней, как к маленькой девочке. А теперь она женщина. Талантливая, умная и хитрая. Суть в том, что я как любой нормальный самовлюбленный эгоист хочу, чтобы мои любимые женщины, все три, оставались всегда моими. Чтобы всегда меня немножко ждали. Но они же не хотят!

Как тогда, я приехал из Томска, зашел к Алесе. Она вынесла мне мои вещи – шапку и две кепки. Она сказала, что после стрижки я совсем другой. Мы разговорились, пошли в «Сильвер», выпили по пиву. У нее то и дело наворачивались на глаза слезы. Она вообще плаксивая. Я говорю ей, что когда любишь человека, несешь ответственность не только за себя, но и за него тоже и за вас обоих. Нельзя быть на поводу у своих желаний. И два года – это срок для отношений. Любовь, как все в природе, подвержена циклам. Есть спад, есть подъем. Она молчала. Иногда повторяла только: «Я не знаю, что сказать». А сказать-то ей, и правда, было нечего. Она всегда мало говорила. В основном всякую ерунду про подруг. Чаще слушала меня. Поэтому, когда она ковыряла в носу, я смеялся и говорил: «Осторожно, вдруг мозг скovyрнень». Она не обижалась.

И вот мы сидели в этой сраной пиццерии. Там была игровая комната для маленьких детей, и какой-то недомерок громко стучал пластиковой игрушкой об горку. Он радовался шуму, а я хотел пнуть его под жопу. В девять меня ждала Таня, я хотел проводить ее до дома и поговорить с ней.

- Ладно, Алесь, давай прощаться. У меня встреча в девять.
- А где?
- Да рядом. В «Гринвиче».
- С кем это?
- С Таней, а тебе зачем знать?

– Я так и думала, что вы будете вместе, – О! Неужели ревнует по инерции?

– Да ни хрена мы не вместе! Мы друзья.

– Я с тобой тогда пойду.

Может, правы психологи. Чтобы чувство свести на нет, нужно довести его до абсурда. Я согласился, Ляся пошла со мной встречать после работы Таню. Может, пиво, может, фарс ситуации сделали меня уверенным в себе. Я стал едким, как натр, и колким, как игл-еж. По дороге до «Гринвича» я был в ударе, сыпал хлесткими словами, как горохом. Алесья всю дорогу молчала.

Таню мы встретили, и все вместе пошли обратно в «Сильвер». Взяли каждому по пиву. И фисташки. У Тани была зарплата. Алесья хотела общаться. Они разговаривали между собой. Алесья допытывалась, есть ли между нами что-то или нет. В общем, выглядела душой. Танюха, наоборот, отвечала спокойно и разумно. Но из этого всего помню, что держал Алесью за руку. Потом пиво дало в голову, я расслабился и сказал, что один ее звонок – и я всё прощу, всё брошу, и мы будем вместе. На что Таня напомнила, что за эти слова нужно нести ответственность и что это очень серьезные слова. Давным-давно стемнело.

Также втроем мы вышли, зачем-то сфотографировались и проводили Алесью домой. Обнялись на прощание и за каким-то хреном поцеловались. Таня деликатно отвернулась. Потом я хотел проводить ее до остановки, но по дороге мы разговорились. Так получилось, что Таня предложила поехать к ней в гости. Я согласился. Было холодно, я специально не надевал шапку, курил, мы шли вдоль дороги, выкидывали руки проезжающим маршруткам и разговаривали.

– Как ты так можешь, брать такую ответственность? Говорить, твой звонок и... – Таня была сердита, и мне, кажется, немного расстроена.

– На тот момент это была истинная правда.

– Ты и мне то же самое говорил.

– Не отрицаю, – хмель вышел, с ним вышли едкий натр и игл-еж.

– Это что получается? Кто из нас первый позвонит, тот и успел?

– Это не так. Когда я тебе так говорил, тоже была правда.

– И, если Алесья вернется, а я позвоню через месяц, ты все бросишь?

Я знал, что она не позвонит через месяц. Но не знал, что ответить.

– Тань, я не поеду к тебе.

– Как хочешь. Тебе решать.

Я вышел из себя.

– Твою мать! Почему вы все ждете от меня контрольного решения?! Почему я должен все решать?! Я просто хочу иногда, чтобы решили за меня,

чтобы ты твердо сказала и все.

Она молчала.

Я успокоился.

– Да. Я больше всего на свете хочу поехать к тебе.

– Поехали.

Таня взяла меня под руку.

Я думал, будет как раньше. А были ее рассказы про парня, которого она любит. С ним она как у Христа за пазухой и т. п. Давит, засранка, на большую мозоль. Вряд ли со мной девушка чувствует себя так. А он – это да. И Таня выйдет за него замуж. И уедет в Москву. И родит от него. Мы лежим рядом. Но засыпает она отвернувшись. Я очень четко понимаю, что она меня больше не любит. Четче этого только ноющее ощущение где-то в простате.

Так и выходит. Каждому – по делам его. Мне то же самое почти налоговая в письме написала, когда жил еще на старой квартире. Дескать, раз я – и. п., то по долгам своим отвечу имуществом. У меня есть ноутбук, штаны, пара рубашек и потрепанный презерватив в портмоне. Пусть приезжают, если найдут меня. Но резинку не отдам. Вдруг еще встречу свою единственную, и она полюбит меня – почти голого короля-литра.

6

Бесконечные переезды – Кемерово–Анжерка–Томск. Томск–Анжерка–Кемерово. И сейчас я приехал, чтобы разнести газеты по офисам в понедельник рублей на 300 и уехать куда-нибудь. Куда? Дома нет нигде. В Анжерке – мама с Володей еле сводят концы с концами. В Томске – отец с женой, дочерью и дочери женихом. Я сижу в дешевом баре на Октябрьском, пью пиво на последний двадцатник и думаю, как все осточертело. Чтобы снять жилье, нужно устроиться на работу. Чтобы устроиться на работу, нужно иметь жилье. Думаю о том, что я не хочу работать, а хочу делать никому не нужные веб-сайты, строить планы на литературное будущее региона, петь и играть с Саней, женщину еще единственную и пить-пить-пить. О том, что новый год будет первым для меня, когда не хочется загадывать желаний. Это реальность оскаливает вонючую пасть.

Я сижу в этом говнобаре и надеюсь, что выйду и встречу кого-нибудь, кто пригласит меня к себе на пару-тройку рюмок. Это будет кто-то старый и хорошо забытый. Хватит с меня незнакомцев и незнакомок. Позвонила Таня и предлагала зайти на часок, покурить. Только на часок. Конечно, никакой близости. У нее же будущий муж – духовник. Все, что до брака – блуд и господи прости. Только живет он в Москве и приезжает к ней два раза в год. А я всегда прилечу по первому зову, знает же прекрасно. Ну уж нет.

А я никогда и не напрашивался на ночь. Когда ночевал у нее – всегда предлагала сама. Мне ничего от нее не надо. К Сане? У него двое родителей и две смежных комнаты. К тому же сегодня выходной. Да я и так иногда у него целыми днями живу. К Андрею? У него мама, маленькая сестренка и бабушка. У меня в кармане две дешевых сигареты и много времени. Я выхожу и просто иду по проспекту. Просто иду и иду. Проживая в голове много маленьких, но очень успешных жизней. Иногда только предметы, здания или мелодии заставляют память вздрагивать и просыпаться. И тогда она начинает скулить.

7

Год назад, летом, Алесья жила у меня. И когда уходила утром на работу, в целях экономии, я ходил завтракать к Сане. Ей говорил, что торгово-промышленная палата скоро даст ссуду на подъем моего бизнеса, который давно сдох, поэтому жду, сижу дома. Когда деньги кончались, закладывал телефон и встречал ее с пивом, бананами, ветчиной и сыром. Потом ехал к маме, она давала мне деньги, и я выкупал телефон. Потом, когда денег совсем не стало, я продавал потихоньку что-нибудь из мелкой техники, сначала цифровик, потом радиотелефон, потом дивиди-резак, чтобы купить нам пожрать, резины и сигарет. Для нее – это все ломалось и отправлялось в гарантийные мастерские. Мы гуляли по вечерам – она каталась на роликах по Весенней, а я просто шел за ней. Пили пиво. Ночами напролет занимались любовью. Она не высыпалась и уезжала на работу. Писала оттуда эсэмэски «Спала весь день. Спала, сидя за столом. Все на свете проспала. Приду, еще спать буду!» Слала сердечки.

Когда стало заметно, что из дома все исчезает, сказал, что предложили работу в Томске, что переезжаю. Было страшно, что не плачу за энергию с апреля по октябрь. Вдруг хозяйка нагрывает. Продав компьютерный стол и микроволновку. Стол мы пропили с Саней. Устроили прощальный концерт. Он привез свою электричку и комбарь. Рубил, как Мальмстин. Алкоголь делал свое дело, я орал Сане, что вернусь – и у нас с Алесей будет все. А потом мы гуляли с ней по горсаду, ели, что хотели, потом пили шампанское, она плакала, говорила, не перенесет разлуки. Последний раз я заложил телефон на ее день рождения, выкупить так и не сумел. И не мог проснуться, когда знал, что утром придется расстаться.

На ту квартиру, на Весеннюю, я так и не вернулся. Я продал дубленку – бывшему однокласснику, заказал машину, мы с Саней быстро покидали оставшиеся вещи и увезли к нему. Растволкали по кладовкам. А на одиноком подоконнике моей однокомнатной, в которой я прожил без малого год, остал-

ся пустой флакон водки, коробочка от «Пропротена-100», сборник моих стихов и визитка местной комиссии.

Однажды, уже в этом году, вместо поездки в Е-Бург, на «ЛитературРентген», которую я так ждал, снял другую квартиру в Кемерово, чтобы мы жили вместе. Потом нас оттуда выгнали, я снял другую, летом, вместо поездки в Москву. Она до сих пор говорит, что ей меня не хватало. Потом она приезжала на дачу, денег не было, потому что накануне я пропивал их. И чтобы нам вконец не оголодать, выкапывал с огорода картошку величиной с горох. Рано по утрам, пока она спала, ходил на рыбалку, но всегда – неудачно. Поздней осенью я весь день, накануне ее приезда, собирал крохотные комочки угля, топил, только бы не замерзла, пилил на дрова отборный тес. Мыл дом и баню до блеска, чтобы было уютно. Тайком обесточил курятник и третий этаж, сдал алюминий и медь, чтобы она не была голодной. Чтобы были ее любимые сосиски.

В октябре хотел сдать чермет. Большую бочку. Мама думала, что денег, вырученных за эту здоровенную дуру, хватит на уголь и дрова на зиму. Меня же волновало только одно, сколько денег дадут за бочку, смогу ли я подарить Алесе сапоги на день рождения, которые она так хотела.

Его зовут Артем. И на день рождения, когда я ехал к ней с дачи после этой чертовой бочки, она уже была в него влюблена. И без него не может теперь. И меня любит, и без него не может. Она жалеет меня, я бедненький, мне тяжело. Маленькая хозяйка большого дома. Это помню я.

Что вспомнит Алесья? Чесотку и трихомоноз. Мазь бензилбензоата и трихопол. Мои пьяные перформансы? Она даже стихов моих не вспомнит. Она и не любила их никогда. Она могла оскорбить меня, а я не мог сердиться больше двух минут. Она говорила, что я нестабилен и ненадежен. Что я буду плохим мужем. Она была права. Но она не знала, что в моей голове мы уже давно поженились, живем в элитке и у нас родилась дочка.

8

Недавно я приезжал на дачу. Игорь с Андреем приехали раньше и залезли через форточку. Когда я прибыл, они уже допивали флакон водки, закусывали салом. Я присоединился. Потом пошел самогон Васильича. Напившись, мы обсудили, какая Алесья сука. То, что нужно ценить друг друга и прочую муть, которая всем известна, но которую никто не соблюдает. Потом Дюша долго визжал на Игоря, а тот вяло его посылал. Я вышел на крыльцо, и затрещал мобильник. Ее номер. Что-то радостное заколыхалось, я нажал «ответить» быстрее, чем билось сердце.

– Игорь, привет.

– Привет, не ожидал.

– Как дела?

– Почему тебя это интересует?

– Это... ты мне можешь выслать денег?

– Алесья, ты нормальна? У тебя есть Артем, к нему и обращайся.

– Артем еще не мой муж, чтобы меня обеспечивать.

– А я тебя, бля, кто?

– Я же помогала тебе, покупала билеты, когда уехать не мог.

– А я тебе, что, не помогал? – это был слабый едкий натр.

– Последние полгода – нет.

– Тебе не стыдно?

– Мне нужна тысяча и Диане долг – сто рублей. Индекс вышлю по смс.

Гудки.

Я пересказал диалог Игорю. Он зашумел. «Да она с какого телефона звонит? Ты ей подарил! Да ты в нее столько денег вваливал! Да она совсем ох... а!». Мне было похер на этот шум. Я хотел нажраться. Я бы выслал эти чертовы деньги, но у меня их не было. Мы пили три дня самогон и слушали мой ноут. Группу «Мираж». Однажды поздно ночью пошли к Васильичу, он вышел из дома, а мы махали руками с Игорем и орал: «Васильич, дай литр в долг! Васильич, дай воды полторашку, у нас родниковая кончилась! Васильич, дай угля, замерзаем!» Он дал всего помаленьку. Игорь набрал полмешка комков, и мы отправились пьянствовать дальше в наш необъятный замок. Когда кончились еда и табак, мы стали собирать цветмет, искать остатки необожженных проводов. И еле-еле уехали с этой дурацкой дачи.

9

Сидя в Томской кафешке с Дашей и её Андреем, я пересказал им эту историю. Они удивились. Мы слушали Шахрина, пили пиво. Строили планы на Новый год. Была возможность заказать в этой кафешке столик, закуски и выпивки – прям на Новый год. Выходило немного – пятьсот рублей на каждого. Я позвонил маме, Сане и Танюхе. Они согласились поехать. Набралось 6 человек. Мы выпили по бокалу за Новый год. Три минуты поговорили о журнале.

Потом Даша предложила выпить водки у нее. Я никогда не отказывался. Мы пошли к ней, по дороге скинулись с Андрюхой – взяли, что надо, и поднялись в квартиру. Поначалу неплохо сидели. Но Андрей, да и Даша, совсем не умеют пить. Я тоже не умею, пьянею быстро, но могу много залить и иногда долго сидеть. Мы с Андреем не успели раздавить 0,5, как его стало мутить. Он одну рюмку растягивал на два раза и то спекся. Помню, как я го-

ворил, что сомневаюсь – друзья мне они или нет и что мне лучше поехать, чтобы они легли спать. Слово за слово. Я еще пару раз бегал за пивом. Разговор не клеился. Мне стало скучно. Не помню, что меня задело, но я собрался и ушел. На лестничной клетке понял, что забыл перчатки. Позвонил в дверь. Никто не открыл. Позвонил Даше, она отключила сотовый, Андрей не брал трубку. Я настырно набирал цифру 52 на домофоне. Ноль. Закурил. Через пару минут пришла смс от Дарьи: «Собрался идти – так иди». Меня это взбесило. Я ответил: «Перчатки отдайте». Но они поотключали телефоны. Отличные соратники, зажали кожаные зимние перчатки, между прочим, Санин подарок. Я крикнул в пустоту улиц пару ласковых.

И пошел к знакомой времен моего студенчества на юрфаке. Адрес всплыл из подсознания. После телефонного звонка она пригласила в дом. Причем без психа, что поздно. Все нормально. Она была хорошей девушкой, но что-то в ней было не так, какая-то кривизна во внешности. Как будто Бог забыл чего-то добавить в ее лицо. Оно было рыбьим. Я поздоровался, по-дружески обнял Настю, чмокнул рыбе лицо. Я был неплохо накачан алкоголем. У нее на кухне сидел длинноволосый парень с серьгой. Она познакомила нас. Это был ее брат. Артем. Меня передернуло. Мы разговорились, и он оказался неплохим парнем. Возник хороший резонанс. Обсудили Летова, потом литературу. Да, раскрученных авторов читать не стоит. Он не любит Мураками, гораздо лучше Кэндзабуро Оэ, хотя тоже не то. К черту японцев. Фанте рулит. Иван Жданов хуже Кальпиди. Верно. Я вышел за пивом и подумал – странно, на Настю и ее брата я что, не давлю? Не ругаемся же. Хотя я и пьян. Вернулся, вроде, быстро.

– Держи, Артемий, «Стеллу», – я протянул ему бутылку.

– Игорь, жаль, пипец, но не могу, за рулем.

– Понимаю, сам с правами. Жаль-жаль.

– Тебе нужнее, – он хлопнул меня по плечу, так по-свойски, без понтов.

– Тогда, Настя, тебе, – она не отказалась, достала два бокала.

Трепались около получаса. Оказалось, что Артем кемеровчанин и сюда приехал в гости. Уезжает завтра. Была глухая ночь или утро. Меня заклинило. Я понял, что срочно нужно к Тане, что она единственная, и это ускользает. Нужно было одно мое появление, и Москва-семинарист отступит. Это был не едкий натр, это был пенистый хлор. Я недолго уговаривал Артема. Он согласился поехать в ночь. Я не сел, а упал в его иномарку, кажется, праворульную Тойоту Виста. Артем видел мое настроение и не лез с разговорами, сам накинул на меня ремень, включил музыку, и мы поехали.

Очнулся я оттого, что меня кто-то тормозил.

– Игорь, проснись, прибыли, как просил – угол Терешковой и Октябрь-

ского.

– На хера мы тут? – я увидел магазин компьютеров «ДНС». Тут один раз в кредитном отделе работала Таня, а может, и не один.

Минуты хватило, чтобы все вспомнить.

– Спасибо, Артемий, дальше сам.

– Да не за что! Бубен как, сильно трещит?

– Нормально. Не первый раз замужем.

– Смотри, пригласил бы, но родители...

– Не думай. Номерами обменялись?

– Да. Ты меня как букву «А» вбил, не удивляйся потом.

– Добро.

Мы пожали руки. Неплохой парень. Я вышел из машины. Ноги меня с трудом держали. Показалось, если возьму 0,5 пива – будет лучше. Я дошел до ларька, взял какого-то теплого и позвонил Тане, в голове шумело. Она меня плохо слышала. Я орал, что сейчас приеду. Она говорила, что лучше по смс – ей ничего не понятно, связь плохая. По кнопкам я не попадал. Потом подумал и понял, что я – дурак. Нашарил в кошельке последние триста рублей и решил, что лучше собрать волю в кулак и поехать на вокзал. И обратно в Томск. Маршрутка подошла тут же.

10

Потом я долго звонил Сане, чтобы он взял билет заранее. Ведь в канун Нового года – хрен, а не билет. Но он особо не чесался. Таня тоже. Она что-то обещала родителям. Но я могу приехать в гости на выходные, или она в Томск после 31-го. С одной стороны, мне не нужно было тратить деньги за двух человек. Но меня это не грело. Лучше бы я залез в долги, но приехали бы эти двое. Один – настоящий друг. Вторая – настоящая ни пойми кто. Сидел за компом, верстал журнал, пытался писать дурацкие стихи. Переписывался с Евгеном. У меня был жуткий понос. Не помогал даже «Имодиум». Настроение было отвратное. Я соскучился по маме. Время пролетело, как мой понос в унитаза.

Написала Даша, спрашивала, что дальше. Я ответил, что ничего не знаю. Она сообщила, что они с Андреем – на Новый год вместе, дальше мне решать. Опять мне решать. Напиши просто. Игорь, не гони, давай вместе. Или, Игорь – ты всех достал, встречай с кем хочешь, но не с нами.

Я решил. Дал добро.

А потом отказалась ехать Таня. Родители, елка, и все такое. Потом я позвонил Сане, он сказал, что нет денег на дорогу. Он мог и наврать, может, просто не хотел, и я сказал, что он пидор. Но через день меня отпустило.

Друзьями так просто не разбрасываются. Подарить ему презент и бухнуть с ним могу и 5-го и 6-го. Не приедет – так не приедет.

Я поехал в Анжеро-Судженск. Хотел привезти немного денег, приехал, но пропили с Володей и мои, и его. Мама решила остаться на Новый год с Вовой. Сообщили Даше, она качала что-то по телефону матери. Потом мне, как будто я ей денег должен. Я наорал на нее. Мне расхотелось куда-то вообще ехать. Хотелось сидеть в Володином доме. Но очень быстро расхотелось.

Режим дня там не соблюдается. Володя живет как зверь. У него свои биоритмы. Спит и днем и ночью. Может встать в два ночи, лечь в шесть. Или встать в десять утра, лечь в шесть вечера. Или, вообще всю ночь не спать. От этого всего я сдурел. Поэтому два дня подряд проспал свой Томск на 8.30. Все эти анжерские два дня слушали Найтвиш, Павлову и Летова. Накануне отъезда я засыпал под аудиокурс какого-то психолога-эзотерика. Карма, причинно-следственные связи, судьба и прочая дурь. Володя это очень любит. Уезжая, я долго думал – так хотеть приехать, чтобы потом так же хотеть свалить. Хм. Очень было жалко мать. Пока ехал – представлял, как приеду на иномарке, как привезу кипу денег, а потом заберу ее в свою крутую квартиру, где я один – без Алеси и без этой нашей дурацкой дочери.

11

Завтра Новый год. Здесь, в Томске, в охранной фирме отца не хватает бойцов. И он сказал, чтобы я заступил на объект. Я сижу в автосалоне «Вольво» и охраняю его. Завтра в восемь утра меня сменят. Передо мной четыре монитора и резиновая палка. На мне камуфляжная утепленная куртка, рядом чай, сахар и пряники. Мне не то, чтобы страшно, мне неуютно. Когда лают бездомные собаки, обитающие на территории объекта, я вздрагиваю и бегу к мониторам. Потом беру палку, пару пряников для дворняг и иду в обход. Кончились сигареты, и я позвонил отцу, вдруг будет проезжать мимо. Он сказал: «Закрой объект, сходи в магазин». Он не знает, что у меня нет ни копейки денег. Теперь я сижу и повторяю свою молитву: «Отец, привези сигарет. Мне дежурить еще 12 часов. Отец, привези сигарет, а то я окончательно двинусь».

Чтобы убить время, между докладами оперативному дежурному раз в три часа, я грызу пряники, слушаю Яну Павлову, совершаю обходы и вспоминаю прошлый год. Я вспомнил почти все.

Был еще один звонок, очень поздно ночью. Позвонила пьяная Алесья и сказала, что она скучает, что я – Пикин и Зая. Что ей плохо. Что она в клубе и там очень кончено, что она сделала выбор и теперь платит за него. Я положил трубку.



Виктория Лебедева

г. Москва

Родилась в 1973 г. в поселке Купавна Московской области. Окончила институт радиотехники, электроники и автоматики и Литературный институт. Стихи и проза печатались в журналах «Юность», «Кольцо А», «День и ночь», издательстве АСТ. Участница I-го и VII-го форумов молодых литераторов в Липках. Лауреат литературной премии «Венец». Член Союза писателей Москвы.

Уроки музыки

(повесть)

Урок 1

«Смотри, нотка «си» строится на третьей линейке!» – говорила мама, и мальчику представлялась длиннющая деревянная линейка, которую мама доставала со шкафа, когда шила. А на этой линейке, как на трамплине, сидел, болтая ногами, смешной черный таракан – нотка «си».

– Нотка «си» строится на третьей линейке, на третьей. Ты запомнил?

И мальчик рассеянно кивал в ответ. Ему было непонятно, почему белые клавиши лежат все вместе, дружно в ряд, а черные – по отдельности, то по две, то по три. А еще он думал, что если ему захочется разом нажать на самую первую и на самую последнюю клавишу, руки придется раскинуть широко-широко, как в детском саду во время зарядки.

– На какой линейке находится нотка «си»? Повтори! – потребовала мама.

Мальчик поднял на нее близорукие глаза и втянул голову в плечи. Он помнил и линейку, и смешного таракана, болтающего ногами. Но какая была эта линейка? Длинная, деревянная... Мальчик забыл.

– На какой? Повторяй же! Ты что, уснул?!

Но проклятая цифра, как назло, не вспоминалась. Мальчик еще сильнее втянул голову в плечи, зажмурился и тут же схлопотал подзатыльник.

– Болван! – закричала мама, – и в кого ты только такой уродился, прости Господи?! – Выкрикнула и осеклась. Мальчик сжался в комок на своем вер-

тящемся стуле перед пианино.

– Сережа, Сережа! – позвала мама и тяжело поднялась от инструмента. – Объясни хоть ты ему, не могу больше! Этот оболтус не может запомнить, на какой линейке строится нота «си»!

– А вот я ему ремня! – бодро пробасили из коридора, и мальчику захотелось исчезнуть, насовсем, чтобы никто-никто не нашел.

Вчера во дворе мальчик видел, как соседский Колька с мамой и папой играют в снежки. И Колькина мама смеялась, и папа, и сам Колька. И даже Колькин Тузик, кажется, смеялся тоже, катаясь рядом в сугробе. Мальчик завидовал Кольке. Во-первых, тот учился аж во втором классе, во-вторых, у него был Тузик и, в-третьих, в самых главных, у Кольки был настоящий папа, а не какой-то там чужой дядя Сережа. Все-таки здорово мальчик наподдал Кольке тогда, давно, еще летом! Нечего было обзывать, и зазнаваться нечего. Подумаешь, большой какой выискался! Правда, потом Колькина мама нажаловалась его маме, а мама – противному дяде Сереже, и был толстый кожаный ремень с солдатской пряжкой, предмет тайной зависти мальчика, и не дали пирогов с голубикой, и не разрешили смотреть телевизор аж до самого воскресенья. Но все это была ерунда, потому что мальчик действительно здорово наподдал тогда соседскому Кольке.

Мальчик ненавидел Кольку – за то, что Колька ненавидел его. И еще ненавидел проклятое пианино, потому что из-за него мальчика не любила мама. Мама же не Колька, она ведь уже большая, она не стала бы не любить мальчика за то, что он такой ушастый, толстенький и в очках. Значит, это проклятое пианино было во всем виновато. И по ночам, засыпая, мальчик мечтал, как было бы здорово, если бы этого дурацкого пианина в доме вообще не было – чтобы проснуться утром, а вместо пианина – пустой угол. А еще мечтал, чтобы вместо чужого дяди Сережи у него был настоящий папа.

Если бы у мальчика был настоящий папа, большой и сильный, ну хоть как у соседского Кольки, чужой дядя Сережа ни за что на свете не ударил бы маму, и она бы не плакала, запершись в ванной, и ещё мальчику никогда больше не пришлось бы называть папой чужого дядю Сережу. Мальчик бы встал у двери и сказал: «Уходи, вот мой настоящий папа!», – и не пустил бы чужого дядю Сережу в дом. Настоящий папа, не то что дядя Сережа, не пил бы водки, и можно было бы так же, как Кольке, выходить с родителями во двор и играть в снежки, и мама бы смеялась, как Колькина, и не давала бы мальчику подзатыльников за глупую нотку «си», за потешного черного таракана, сидящего на краю швейной линейки, свесив тоненькие ножки.

Но настоящего папы у мальчика почему-то не было. Про папу мальчик помнил только огромные ботинки в коридоре под вешалкой, блестящие, как черные пианинные клавиши, и мальчик думал, что когда черные клавиши

по три, это он сам, настоящий папа и мама, а когда по две, то это они с мамой вдвоем, без папы, и смотреть на две черные клавиши было очень-очень грустно. И мальчик думал, засыпая, что, когда он вырастет большой, двадцатилетний, то будет работать изобретателем и изобретет такое пианино, где черные клавиши будут всегда по три.

Но пока мальчику было всего-то шесть лет. Чужой дядя Сережа с ремнем нависал над ним и говорил громко, хоть уши затыкай:

– Нота «си» строится на третьей линейке, ты меня понял, на третьей, на третьей, на третьей!

В комнате все гуще пахло перегаром, тяжелая пряжка со звездой качалась у мальчика перед глазами, массивный квадрат с прозеленью, и черный таракан, сидящий на краю линейки, представлялся уже не забавным, а зубастым и страшным, большим-пребольшим, размером с целое пианино.

Урок 2

Чудо случилось в конце апреля, в пятницу.

Сначала, словно легкий ветер по первой листве, по коридорам прошел шепот. Новый, усилившийся порыв шепота наблюдался на второй перемене, а на третьей прямо под дверью директорского кабинета материализовались три строгие полные тетеньки в мелких химических кудряшках и строгих же серых костюмах.

Конечно, ничего бы не было такого чудесного в их появлении, не будь эти тетеньки и эти костюмы из самой Москвы! Тем более что приехали они не просто так, а ведомые славной целью – охотой за молодыми сибирскими талантами. Они уже исколесили весь Красноярский край и вот двинулись по Иркутской области – с севера на юг.

Должно быть, высоких гостей никто заранее не ждал, поскольку, стоило им покинуть пределы школы и распротиться до завтра, все здание, позабыв об уроках, пришло в движение и стало похожим на муравейник, в который ткнули горячей веткой. По коридорам сновали озабоченные учителя, десятиклассники срочным порядком намывали до блеска актовый зал, а дети помладше – свои классные комнаты; шербатый паркет второго и третьего этажей натирали ржавой резко пахнувшей мастикой; старшая пионерская вожатая, вооружившись железным ведром и тряпкой, приводила в надлежащий вид белый бюст Ленина в холле, директриса, даже не закрыв двери кабинета, нервно выкрикивала что-то в трубку служебного телефона, учительница музыки и завуч Федор Иванович ходили по классам, записывая всех желающих от мала до велика в участники завтрашнего концерта.

Записали и мальчика. Сам он, правда, не просился, он даже хотел под

парту спрятаться, только классная руководительница его заставила – за то, что он единственный из мальчишек ходил в музыкальную школу.

Наутро мама надела на мальчика хрустящую крахмальную рубашку снежной белизны, прилизала частым гребнем непослушную русую челку, прочертив сбоку ненавистный пробор, на сменку выдала новые черные босоножки, которые купила по случаю еще в ноябре и старательно берегла до лета, и за руку (какой стыд, мальчик был готов сквозь землю провалиться!) повела в школу. Они шли так быстро, почти бежали, что мальчик не успел влезть ни в один сугроб, не насчитал ни одной вороны. Впрочем, ему было не до того – всю дорогу он в страхе озирался, не видит ли кто его позора, и тщетно старался высвободить руку. К большому облегчению, никто мальчика не заметил – мама всерьез разволновалась и выскочила из дому так рано, что в школу они пришли самыми первыми.

Потом до самого концерта мальчик без дела сидел на корточках в коридоре перед актовым залом и разглядывал новые босоножки. Школа постепенно наполнялась – учителями, детьми, родителями, бабушками и дедушками, и когда всех наконец пригласили в зал, ему под шумок удалось-таки улизнуть от мамы в туалет и там перед мутным забрызганным зеркалом взерошить волосы.

Хороший получился концерт. Сначала старшекласники из драмкружка показали мини-спектакль из жизни А. С. Пушкина, который готовили ко дню рождения классика (девочки были почти все в маминых свадебных платьях, а мальчики – в черных цилиндрах из картона), потом пятый «А» представил сказку «Репка» на английском языке, а пятый «Б» – сценку про двоюродника и отличницу, близняшки Лена и Оля из параллельного класса – обе в одинаковых белых фартучках, с одинаковыми нарядными бантами в жидких косичках – на одном дыхании отчеканили стихотворение «Запишите меня в комсомол», школьный хор исполнил песню «И вновь продолжается бой, и Ленин такой молодой», а две грудастые восьмиклассницы в рискованно укороченных форменных платьях – «Миллион алых роз», первоклашки станцевали «полечку», толстая некрасивая девочка Юля из седьмого «Б» срывающимся от волнения голосом почти прошептала с бумажки стихи собственного сочинения о брошенном щенке, её ближайшая подруга – школьная красавица Алка Васильева – показала акробатический этюд (она под музыку садилась на шпагат, делала колесо и даже немного ходила на руках, и ей, конечно, больше всех хлопали).

За Алкой настала очередь мальчика. Он, взмокший от волнения, поместился за исцарапанным школьным инструментом, ставшим от времени таким мутным, что его полированная поверхность больше ничего не отражала, и стал играть «Фугетту» Баха. Некрасивые пальцы с обкусанными ногтями,

сплошь покрытые заусеницами, царапинами и неистребимыми чернильными закорючками, резво (даже слишком резво) галопировали по клавишам, крахмальная рубашка неудобно давила под горло, очки съезжали с переносицы. Мальчик не любил «Фугетту», но до середины играл точно, без ошибок. Ему уже стало казаться, что он так и доиграет и не опозорит взволнованную маму, но на последних тактах пальцы вдруг споткнулись, сбились на си-бемоль, и перепуганный мальчик, обливаясь холодным потом, покрасневший, словно рак, повел мелодию по черным, подхватил правой, потому до финала добрался уже в соль миноре. Начал, что называется, за здравие, а кончил за упокой. В зале захлопали, мальчик заозирался – кажется, никто ничего не заметил, даже мама. Но он-то знал, как сильно ошибся! Хотелось сорваться с места, бежать в зал, уткнуться маме в колени, однако был объявлен еще «Смелый наездник», пришлось взять себя в руки и играть снова. И какое же это было облегчение, когда смелый наездник доскакал, наконец, до последней ноты и на ней замер! Теперь можно было с чистой совестью поправить очки, а ненавистную пуговицу – расстегнуть. Уф!!!

Вторая половина концерта была благополучно пропущена мимо ушей. На сцене кто-то продолжал петь и танцевать, кто-то снова читал стихи, показывал сценки и даже фокусы, но мальчику все это было уже безразлично. Конечно, он был страшно горд своим выступлением. Потому, особенно, что соседского Кольку участвовать в концерте вообще не взяли. Колька без дела весь концерт просидел в пятом ряду у самого прохода, и старшая пионерская вожатая ругала его за то, что он уже извертелся. А вот мальчика вожатая, наоборот, похвалила. Но на этом весь его интерес как-то иссяк, и терпения досидеть до конца едва-едва хватило. Все-таки он был еще совсем маленький и страшно переволновался из-за выступления. Тем более выступать пришлось после красавицы Алки.

Строгие московские тетеньки наблюдали школьный концерт из первого ряда, справа охраняемые директрисой, слева – завучем Федором Ивановичем, и всё рисовали карандашиками какие-то знаки в одинаковых пружинных блокнотах. Когда концерт окончился и обалдевшие от долгого сидения школьники с гиком ринулись в коридор, одна из них сразу поймала под локоток и увела куда-то за сцену учительницу литературы-русского, которая вела школьный драмкружок. Вторая не без труда выудила из толпы насмерть перепуганную толстую Юлю, ту самую, что читала свои стихи. Третья же тетенька направилась напрямик к мальчиковой маме и голосом, не терпящим ну совсем никаких возражений, пригласила ее выйти в коридор «для серьезного разговора».

Взволнованная мама счастливо потрусилась за тетенькой. Мальчик, ничего не поделаешь, неохотно поплелся следом.

По ржавой мастике второго этажа расплзались ленивые оранжевые зайцы. Мальчик лег локтями на отмытый до блеска подоконник и погрузился в изучение заднего двора. Снег еще лежал повсюду, но весна была уже на ближних подступах. Это было нарисовано в безоблачном ультрамариновом небе, об этом пела лихая капель с крыши, это читалось на белом снегу, покрывшемся крупными мурашками. На заднем дворе ничего особенно интересного не происходило: бежала по своим собачьим делам школьная Найда, дрались за блестящую бумажку две вороны, стайка старшеклассников в распахнутых куртках и без шапок тайком курила у мусорных контейнеров. Впрочем, ничего интересного не было и в коридоре. Галдящие школьники утекали на лестницу, парами по своим классам прошагали нарядные первоклашки; пронеслась красивая Алка, вся в слезах, обойденная вниманием столичной комиссии, за ней гнались физкультурник и несколько подружек; толпа учителей и родителей, стесняясь обратиться напрямую к московским гостям, взяла в кольцо завуча Федора Ивановича.

Суета постепенно утихла и рассасывалась.

Мама и московская тетенька разговаривали долго, очень долго. Время от времени мальчик оборачивался на них и заглядывал в лица. Лицо тетеньки было все время одинаково строгим, даже суровым, на мамином же можно было проследить то радость, то тревогу, то замешательство. Как ни прислушивался мальчик, ни единого слова не понял он из этого разговора. Упоминались, чаще прочего, какие-то «исполнительские данные», да и только.

Локти, упертые в подоконник, заныли. Тогда мальчик потихонечку подкрался и грузно повис на маминой руке, искательно заглянул в глаза.

– Что ж, воля ваша, я не имею права настаивать, – резюмировала строгая тетенька и неловко потрепала мальчика по волосам. Мальчик смутился и спрятался маме за спину. – А все-таки вы, Марина Викторовна, подумайте как следует. Такой шанс дается один раз в жизни. И тут главное – не упустить время. Очень талантливый ребенок, поверьте моему опыту. Вот и с Бахом – запутался, а не растерялся. И как здорово закончил! Не каждый взрослый смог бы. Вы меня понимаете?

Мама опустила голову:

– Вы не думайте, я все понимаю. Но поймите и вы меня, как мать поймите!

– Да, конечно, как мать... Что ж, как вам будет угодно. Желаю удачи! – строгая тетенька пожала маме руку и гордо удалилась в сторону учительской, и мальчик с мамой отправились, наконец, домой.

Дома пахло праздником, совсем как перед днем рождения. Мама пекла и жарила на кухне: густые белые клубы поднимались от плиты, вились и весело плыли к форточке, где учиняли толчею, точно школьники сегодня после

концерта; в духовке томилась тучная курица, натянутая на пивную бутылку; пыльная банка голубики, тертой с сахаром – последняя, двухлитровая, про которую мальчик даже не знал – извлечена была из кладовки, из-под грибных корзин и драных болоньевых курток, а мамыны стремительные руки уже уминали и пошлепывали гуттаперчевое желтое тесто.

Мальчик, как всегда, увивался рядом и канючил. А мама (и это было не как всегда, а совсем наоборот, очень даже удивительно), вместо того чтобы наругать и выпроводить, сделала мальчику огромный белый бутерброд с маслом и голубикой. Мальчик жадно жевал его и все гадал, что же это за праздник такой, и все не мог угадать. Даже в календарь потихонечку заглянул – в маленький календарик с красным мотоциклом «Ява», выменянный у соседа по парте на новый ластик, – но там была самая обыкновенная черная суббота. Может быть, мама ждала гостей? Едва ли. Если бы гостей, она бы его точно выпроводила, да еще наподдала бы, пожалуй. Тем более, гости не приходили с тех пор, как дядя Сережа выпил совсем много водки и вина и всех прогнал с Нового года. Или все-таки день рождения? Тоже нет. У мамы день рождения уже был... и у мальчика был, даже первее, чем у мамы. А у дяди Сережи день рождения аж в середине лета, и мальчик в это время всегда живет на Кубани у бабушки с дедушкой... За этими гаданиями и задремал – здесь же на кухонном стуле, укутавшись теплом и ароматами. Мама его не будила – у мальчика сегодня был тяжелый день.

Когда он проснулся, в замке громко и жалобно проворачивался ключ – дядя Сережа возвращался со сверхурочных. Он был, как всегда, пьян, но совсем немного и совсем нестрашно. Таким он мальчику даже нравился – потому что шутил и совершенно не ругался.

– По какому поводу? – спрашивал из коридора дядя Сережа, и голос его был сдавлен, словно спрятан в тесную коробку, поскольку, задавая вопрос, дядя Сережа тщетно целился петлей по вешалке, да только шатался и промахивался.

– Потерпи-потерпи, – неестественно весело прошептала мама, и мальчику стало неудобно.

Потом они сели за стол, за красивые тарелки и вилки, за дымящуюся картошку и золотую курицу на блюде, и мама разлила по рюмкам бурюю наливку – дяде Сереже и себе, и голубичный морс – мальчику.

– Сергей, выпьем с тобою за Андрюшеньку! – торжественно провозгласила мама и порозовела. Мальчику немедленно захотелось исчезнуть. Взрослые звонко чокнулись и выпили.

– А что, собственно, случилось? – спросил дядя Сережа.

– Сереженька, ты представляешь себе? – опять фальшиво зашептала мама. – Нет, ты даже представить не можешь! Сегодня в школу приезжала

московская комиссия, и нашего мальчика пригласили учиться в школу при консерватории! При МОСКОВСКОЙ, ты понимаешь! Я там разговаривала с одной. Она говорит, что у Андрюшеньки прекрасные исполнительские данные. Что у него – самый настоящий талант. А я ей говорю: «Он у меня вообще умница». А она мне говорит: «Ему непременно нужно дальше заниматься». Так и сказала: «Не-пре-мен-но»...

Мама тараторила и тараторила, сбиваясь и перескакивая с пятого на десятое, мальчик сидел, опустив голову к самой тарелке, краснел, потел и не мог проглотить ни кусочка, а дядя Сережа молча переваривал неожиданную новость, и в мутных глазах его брезжила и никак не могла оборотиться в слова некая счастливая мысль.

А потом он сказал:

– Стоп!

А потом он сказал:

– Да подожди ты!

– Не тараторь, – сказал он потом. – Эдак у меня от твоей трескотни голова лопнет.

А потом он сказал:

– Так я не понял, когда ему ехать?

– Ехать? – в ответ не поняла мама. – Куда?

– Да в Москву же! В эту вашу грёбаную консерваторию!

– Ну, что ты, Сереженька?! Андрюша никуда не поедет, как можно?!

Взгляд у дяди Сережи начал делаться нехорошим, но мама, словно не замечая этого, продолжала, и теперь вместо фальшивого оживления в голосе ее звучало фальшивое спокойствие.

– Сереженька, милый, ты не сердись только! – увещевала мама. – Он еще так мал. Я не могу его отпустить. Это ведь почти шесть тысяч километров. Да и зачем ему? Я же сама учительница музыки. Я столько детишек тут выучила. Неужели я не смогу выучить собственного сына? Тем более что он такой талантливый. Талант себя везде проявит, правда ведь? Вот у Горького, к примеру, такая тяжелая...

– Ду-ура! – взревел дядя Сережа. – Ну, дура!!! Такая была возможность от твоего щенка избавиться!

Тут мальчик закрыл глаза руками и потихонечку сполз под стол.

Он сидел там долго-долго, целую вечность, наверное. Что-то падало и билось совсем рядом, и задевало, над самой головой летели шаровыми молниями спутанные в клубок вопли.

Прогремела входная дверь, в убежище зародилось и угасло небольшое землетрясение, а следом установилась такая тишина, что лучше бы все опять кричало и билось. Мальчик потихонечку приоткрыл заплаканные глаза

и увидел маму. Она молча сидела прямо напротив – у плиты, среди нарядных осколков и разлетевшихся по полу пирогов с голубикой, и рукою поддерживала у рта бурую пригоршню вишневого варенья. Мальчик смотрел и смотрел, как мама сидит, не шевелясь, как варенье пребывает, как утекает сквозь пальцы, а потом понял, все-все на свете понял и дал себе страшную клятву, что этим летом на Кубани выкрадет дедушкину двустолку, тайком привезет ее домой и застрелит дядю Сережу. Насмерть.

Урок 3

Они приходили поздно, почти ночью, потому что мама очень боялась случайно встретить кого-нибудь из учеников, брали в туалете цинковые ведра и серые половые тряпки. Мальчику нравилось слушать, как поет веселая вода в пустом ведре, поэтому воду он менял часто и полы вымывал чисто, до блеска. Но чаще мама просила: «Поиграй, сынок!», а полы намывала сама – неуклюже пятилась между рядами, старательно вела мокрой ветошью вправо-влево, а потом разгибалась, охая, мяла натруженную поясницу красными руками. Халат становился колом, обозначая ровный круглый живот. Когда мальчик был маленький, он все думал, что мама ждет ребеночка, потому что такие круглые торчащие животы бывают только у беременных тетей, все гадал, будет у него братик или сестричка, но потом подслушал случайно, как соседский Колька рассказывал младшим ребятам про размножение, и понял свою ошибку. Потому что ни одна женщина не бывает беременной так долго, так долго даже слониха беременной не бывает! С тех пор, глядя на материн живот, мальчик чувствовал себя обманутым. Она была такая некрасивая, мама. Мальчику было ее жалко и хотелось отвернуться.

«Мам, давай лучше я!» – предлагал мальчик, но она отмахивалась: «Тебе надо больше заниматься, я уж как-нибудь сама, поиграй лучше, я так люблю, когда ты играешь!», и в сердце мальчика поднималась злость: на материнское упрямство, на инструмент, на «исполнительские данные», заложником которых он так некстати оказался, на ведра и тряпки, на ненавистного отчима, пропивающего всю зарплату, на соседского Кольку – на всё, на всё!

Музыкалка была маленькая, всего три кабинета. В самом большом проводились уроки сольфеджио, поэтому здесь висела черная, во всю стену, доска, расчерченная нотными линейками, и рядами стояли новенькие парты. Фортепьяно в этом классе было самое лучшее – лакированное, идеально отстроенное, поющее голосом глубоким и проникновенным, но мальчик предпочитал соседний класс – и не класс, собственно, а крошечный закуток, в котором с трудом помещалось два стула и два инструмента, а окна и вовсе не было. В этом крошечном замкнутом мире можно было представить себя кем угод-

но – капитаном большого корабля, летящего под парусами по штормовому морю, по грозно и празднично гудящим басам, и чтобы солнечные лучи прорывались сквозь грозовые облака единым движением правой руки, неожиданно взлетающей по клавишам высоко-высоко вверх,.. или летчиком-испытателем (штормовое море тогда обращалось штормовым небом, а солнце и гроза оставались); здесь можно было сыграть героическую буденовскую конницу, скачущую по степи – вперед, в атаку, и с силой нажимать на правую педаль, прищипывая боевого коня; здесь можно было с мерным перестуком ехать в поезде – на Кубань, к бабушке и дедушке, а главное – здесь можно было побыть одному, без девчонок, без их глупого хихиканья и дурацких белых бантиков...

Конечно, в музыкалке были и другие мальчишки, Петька и Валёк, к примеру, но они были старше, они, не то что мальчик, играли вовсе не на пианино, а на аккордеоне. Аккордеон был настоящим мужским инструментом, потому никто никогда не смеялся ни над Вальком, ни над Петькой, и мальчик завидовал, просил маму перевести его в другой класс, он научится, что ему стоит, у него ведь талант, но мама оставалась непреклонной, а когда он совсем уж досаждал, жаловалась отчиму.

В такие моменты мальчик чувствовал, что не любит маму. Он хотел вырасти настоящим Мужчиной, героем, а не «трень-брень», он пытался пристроиться в секцию самбо (без толку, его не взяли по зрению), он читал про танки и самолеты – ночью, тайком, запалив под одеялом походный фонарик, он до седьмого пота тягал дяди Сережины гантели, он готов был драться с каждым, кто хотя бы косо посмотрит в его сторону, он регулярно приносил «неуды» по поведению и бил очки, и если б не проклятое пианино... Куда бы он ни двинулся, что бы он ни делал, оно загораживало путь, скалило костяные клавиши – черные и белые.

«Как же она не понимает?!» – злился мальчик. Вот и ножик отобрала – перочинный, наточенный, словно лезвие «Нева», плакала, причитала, назвала бандитом, а потом с позором несла свою добычу на помойку, брезгливо зажав двумя пальцами... И ведь выбросила, в самую большую кучу швырнула, так что уже не спасешь, не достанешь потихоньку, а ведь мальчик с таким трудом выменял этот замечательный ножик у одноклассника на второй экземпляр «Тома Сойера»!

«Ну почему, почему она училка? Была бы она медсестрой, как Колькина! – мечтал мальчик. – Тогда бы она не выбрасывала ножик на помойку, а наоборот, принесла бы с работы настоящий скальпель». Мальчик вообще много мечтал. Мечтал, как станет знаменитым боксером и победит соседского Кольку, который больно много выпендривается, при всей школе победит, и что красивая Алка из десятого класса после боя выйдет на ринг и его,

победителя, поцелует, ведь такие красивые девчонки, как Алка, целуются всегда только с победителями. А сам Колька будет плакать от обиды, забившись в угол, и тогда мальчик подойдет к нему и великодушно положит руку на плечо... А еще не худо бы купить настоящий мотороллер, или нет, сразу мотоцикл. «Урал». Хотя лучше «Яву». И еще полететь в космос, как Гагарин, и поступить в танковое училище, и вместо Дубровского спасти несчастную Машу, и случайно обнаружить, что папа – секретный шпион на задании... Если бы его спросили, почему он мечтает именно об этом, мальчик бы, пожалуй, не нашелся, что ответить. В свои неполных двенадцать лет он отчего-то думал, что мечта тогда только мечта, когда несбыточна. Впрочем, сам того не сознавая, по-настоящему мальчик хотел только одного: чтобы однажды мама сама рассказала про папу, ну хоть полсловечком обмолвилась, а не вздыхала бы и не прятала глаза в пол.

...Уборка заканчивалась, мама медленно разгибалась, трудно дышала. Лицо ее было пунцовым, из-под косынки выбивались темные измокшие пряди, липли к горячему лицу, подол халата топорщился, открывая полные колени. Она складывала руки поверх живота, произносила нарочито весело: «Уф, уморилась!» В ту же секунду мальчик облегченно захлопывал крышку инструмента – можно было идти домой.

Урок 4

Ждать было еще очень-очень долго, целых полчаса. Мальчик страшно волновался, а потому бил по клавишам сильно, с ожесточением. Ему нравилось играть вот так, в одиночестве, только для себя, отдавая пожелтевшим клавишам все свои переживания, свои большие и малые тайны, свои мечты. Сегодня ему хотелось чего-нибудь героического, громкого, и потому в пустой квартире раздавался гимн Советского Союза. Мама сильно удивилась бы, застань она мальчика за подобным занятием. Впрочем, и разозлилась бы, пожалуй, потому что акцент постепенно съезжал на слабые доли, и возникший джазовый ритм, такой изломанный, такой категорически неприменимый к гимну, делал всю композицию бравурной и мажорной карикатурой.

Сегодня был очень важный день – впервые мальчик шел со старшеклассниками бить гарнизонных. Это была такая школьная традиция – все, кто не трус, с седьмого по десятый класс, вооружившись, кто чем сможет... Еще утром, перед уроками, мальчик стянул у отчима солдатский ремень и долго примерялся, поудобнее пристраивал увесистую пряжку в ладони, обматывал потертой коричневой кожей. Пацаны сначала не хотели брать его на драку, но он не нюня и не слабак, он им так и сказал, и они согласились, хоть неохотно, а все-таки согласились, и теперь он им всем докажет!

Стрелки ползли по циферблату еле-еле, иногда мальчику казалось, что они не движутся вовсе. Тогда он оставлял инструмент, замирал и напряженно прислушивался – тикают ли часы, не остановились ли? Ему было тревожно – а вдруг обманут? Не зайдут, не позовут?

Откуда повелась эта традиция? Бог весть. Всякое болтали – упоминали чей-то когда-то сломанный нос, уведенных девушек, угнанные велосипеды; существовала, кроме прочего, совсем уж неправдоподобная версия о некоей первокласснице, якобы зарезанной в таком-то году и зарытой в овраге за гаражами; некоторые, впрочем, утверждали, что это была не первоклассница, а первоклассник, в доказательство приводили подробности: серые глаза, мешочек для сменной обуви, новенький ранец со щенком... Как бы там ни было, но только ежегодно, в самом конце мая, мальчишки собирались на Большую Битву. Давно уже не искали никакого формального повода, чтобы начать драку, просто раз в год приходили под стены гарнизона, облепляли бетонный забор. Один или двое, кто на язык порезвее, начинали гарнизонных задирать. В этом не было ничего личного, просто эти гарнизонные уже обнаглели – сидели за своим забором, в клуб к себе местных не допускали, ни в кино, ни на дискотеку, а сами, поди, по городку шатались, руки в брюки, когда заблагорассудится; знакомились с местными девчонками, выставляли напоказ магнитофоны «Юность» и кроссовки «Адидас»; у них был свой бассейн – только для детей военных – и в спортивном отделе запросто продавались мячики для настольного тенниса, а этой зимой вообще произошел из ряда вон выходящий случай – красавица Алка вышла замуж за какого-то местного хмыря-лейтенанта! Словом, было им за что всыпать.

Битва проходила всегда в одном и том же месте – на пустыре за гарнизонным забором, в самом дальнем углу от центрального КПП, и вообще-то гарнизонные всегда побивали местных, но к следующему году позорное поражение забывалось и все повторялось снова. Каждый семиклассник начинал готовиться к Большой Битве уже с сентября; мастерили себе кто заточку из папиной отвертки, кто кастет, на переменках отрабатывали друг на друге приемчики самбо, дома, пока никто не видит, тренировались перед зеркалом делать суровые лица, но всего важнее была святая вера, что именно в этом году, впервые в истории городка, победа останется за местными (разумеется, не без участия новобранцев). И мальчик не был исключением – у него точно так же чесались кулаки, так же сильна была его вера в победу, в свою счастливую звезду.

В стекло стукнул камешек. Мальчик сорвался от инструмента к подоконнику, распахнул рамы. Под окном стоял соседский Колька с дружками:

– Ну чё, идешь? Или, может, струсил? – процедил Колька равнодушно и смачно сплюнул сквозь зубы.

– Я сейчас, я мигом, оденусь только, – засуетился мальчик. – Вы меня только подождите!

Он в одну секунду скатился с подоконника, звонко захлопнул распахнутые створки.

– Ты куда это собрался?

В дверях комнаты стояла мать. Мальчик не заметил, как она вернулась с работы.

– Так куда ты собрался? Что молчишь?

– Ма, мне надо очень, честное слово! – разволновался мальчик.

Он схватил с кровати отчимов военный ремень, глупо спрятал его за спину и бочком попытался проскользнуть мимо, чтобы ему не успели задать больше ни одного вопроса. Не тут-то было – мама довольно грубо впихнула его обратно в комнату и захлопнула за собой дверь.

– Куда ты собрался, я тебя спрашиваю?! – спросила она медленно-медленно, по слогам, она всегда выговаривала слова по слогам, когда по-настоящему злилась. – И зачем тебе, скажи на милость, ремень?

– Ну, мы это... С пацанами... На полчаса... – перепугался мальчик. Там, внизу, его ждали на первую настоящую драку, а тут... И зачем она только пришла? Ну почему, почему ему так не везет?!

– С какими это пацанами? – мать сложила авоськи с продуктами у стеночки и руки угрожающе скрестила на груди. – Уж не с Колькой ли? Чегой-то он внизу топчется?

Мальчик покраснел и замылся.

– Значит, с Колькой... ну-ну. А что экзамены на носу, что Шопена учить надо, это тебя, стало быть, не волнует? Ты, вообще-то, умеешь думать своей головой или нет?! Или у тебя вместо головы другое что? С Колькой ему надо, глядите-ка! Шпана твой Колька. Шпа-на, понял? А у тебя выпускной экзамен, да будет тебе известно. Ты, надеюсь, понимаешь, что значит выпускной экзамен? Так что не суетись, все равно куда тебя не пушу. Лучше по-хорошему садись заниматься. Ясно?

Мальчик смотрел в пол и молчал, шумно дышал – даже очки запотели немного. Внутри у него было холодно, точно в морозилке. Как же так? – думал мальчик, – неужели не пустит?... и тогда жизнь для него будет кончена, хоть ложись и помирай, пацаны ни за что не примут его в компанию, его до конца дней своих будут считать трусом и маменькиным сыночком, слюнявым музыкантиком, который ничего не может, даже драться не умеет – девчонкой в брюках!

– Что засопел? Тебе ясно, я тебя спрашиваю?!

– Ма, меня ждут, – тихо сказал мальчик.

– Что? Что ты там шепчешь? Не слышу!

– Меня ребята ждут.

– Ничего, подождут. Не переломятся. Ты этюд выучил? А прелюдии? У тебя же экзамены на носу, эк-за-ме-ны!

– Ма, я вечером, честное слово! Я выучу! Я даже этюд выучу, он не получается, но я выучу, сто процентов, ну мам, ну пожалуйста! – затараторил мальчик. Он молитвенно сложил ладони на груди и в отчаянии смотрел на женщину, со скрещенными руками стоящую в дверях, на эту совершенно чужую и холодную женщину, которая зачем-то была его матерью и не понимала, ни черта не понимала в жизни, и в груди у него поднималась черная буря – как в сказке про золотую рыбку.

– Я сказала нет! НЕТ, ты понял? И вообще, заруби себе на носу, пока не выучишь этюд, ты отсюда не выйдешь!

– Я... Я все равно уйду! – выкрикнул мальчик.

– Что-о? А ну-ка давай сюда ремень! Вот я сейчас тебя этим же самым ремнем! Нет, вы посмотрите на него, совсем стыд потерял! – мать решительно шагнула к сыну.

Это была ее ошибка, потому что мальчик ловко увернулся и без особого труда прошмыгнул у нее под мышкой. Мать была грузная, где ей было угнаться за ним. Она целилась ухватить его за рубашку, но вместо этого поймала лишь пряжку солдатского ремня, с силой рванула на себя, рана вспотевшие от ярости ладони. Мальчик выпустил ремень, выскочил в коридор и, в сердцах хлопнув дверью комнаты, запер ее снаружи на задвижку. В этот момент он чувствовал себя по-настоящему счастливым и по-настоящему сильным – ведь эта задвижка предназначалась для него, это его вечно запирали наедине с инструментом, это ему полагалось долгими часами сидеть в одиночестве, разбирая нотные знаки и разучивая гаммы, но теперь все изменилось, пусть теперь она посидит, одна, пусть посидит и подумает над своим поведением!

Проговорив про себя эту последнюю фразу, мальчик рассмеялся, такая она была взрослая, мамина.

– Андрей, ты с ума сошел, отопри сей же час! – прокричали из-за двери. Мальчик молча застегивал куртку и улыбался.

– Андрей! Я кому говорю?! – мать несколько раз ударила в дверь кулаком. Мальчик молча завязывал шнурки.

– Андрей! Ты слышишь меня?! Ты что, ушел?! – мать заколотила в дверь уже ногами.

Мальчик молчал.

– Ну погоди, гаденыш! – с надрывом выкрикнула мать и, кажется, обрушилась на дверь всем своим грузным, стареющим телом. – Я все отцу скажу!

– Он. Мне. Не отец!!! – отчеканил мальчик. Он наскоро запрятал очки в карман отчимова зимнего пальто, которое до сих пор болталось на вешал-

ке неубранное, и выскочил в подъезд.

Ребят у подъезда уже не было, и он кинулся вдогонку, нагнал на краю городка.

– О, вы посмотрите, кто к нам пожаловал! – ухмыльнулся Колька. – А я уж думал, ты не придешь, четырехглазый. Струсил. Где глаза-то вторые оставил, а?

– Сам ты трус! – взъярился мальчик.

Они было кинулись друг на друга с кулаками, но ребята их разняли, сейчас было не время и не место, намечались дела поважнее.

– Ну ладно, – примирительно проворчал Колька. – Чё так долго-то?

– Да так... с матерью там... неувязочка... – солидно ответил мальчик. – Ремень отобрала.

А потом добавил: «Сука!» И сплюнул себе под ноги.

– Да... без ремня херово! – пискнул кто-то из-за спины, и пацаны нервно рассмеялись.

Погода была сухая и солнечная, небо безоблачное. Снег почти сошел, по кустам вдоль дороги кое-где уже проклюнулись веселые зелененькие почки, но ветер, видимо, дул со стороны Братска – воздух был словно уксусом пропитан и, казалось, налипал на лица и на руки.

– Опять на алюминиевом выброс, – отметил кто-то из старшеклассников и смачно, длинно выругался.

К месту побоища шли кучками человек по пять-десять, поддразнивали и подталкивали друг друга, громко смеялись, ставили подножки. Мальчику нравилось чувствовать себя частью этой большой дружной команды – таким же Мужиком, как все эти счастливыцы, никогда в жизни не занимавшиеся музыкой. В этот момент он любил буквально весь мир – даже свою запертую маму, которая сейчас, наверное, сидит на полу под дверью – такая жалкая, толстая – и плачет, даже кислый алюминиевый воздух, от которого всегда немного подташнивало, даже соседского Кольку. Ему всё-всё нравилось, и он широко, счастливо улыбался, шагая плечо к плечу с прочими пацанами; его не пугало даже то, что он остался безоружным, что перед глазами все плывет, точно смотришь сквозь воду. Он нарочно пошире загребал ногами, поднимая желтые пыльные облака, ему казалось, что пыль – это очень повоенному. Мальчик не сомневался, что сегодня они обязательно наваляют гарнизонным – иначе зачем тогда запертая мать, зачем солнце и первые листья, зачем ощущение собственного всемогущества, зачем вообще всё?

Что бы ни думали эти дети, какими бы благородными чувствами ни были они ведомы, в этом году, как в прошлом, как в позапрошлом, опять получилась драка стенка на стенку – чрезвычайно жестокая и совершенно бессмысленная, питаемая извечным неприятием чужака, его жизни, которая всегда почему-то кажется много слаще собственной, и ни при чём здесь

были ни уведенные велосипеды, ни, тем более, убитые дети, просто молодая агрессия требовала выхода, просто мальчики обучались нехитрому искусству метить территорию, не подпускать к себе пришлецов, будь они кем угодно, даже и представителями доблестной Советской армии. В ход шло всё – кулаки, ботинки, камни, кастеты, нунчаки, перочинные ножи, правил не было, кодекса чести не было – никаких там «двое на одного» и «лежачего не бьют», в этой свалки все средства оказывались хороши, речь ведь шла о своем кусочке под солнцем, а что может быть важнее? Мальчик сам не заметил, как его засосало в самую гущу этого месива, которое началось внезапно, не понятно с какого момента – казалось, еще мгновение назад все они висели на заборе и выкрикивали гарнизонным ругательства одно обиднее другого, и те отвечали, и все это выглядело забавным соревнованием, которое вот-вот закончится, противники подойдут пожать друг другу руки, – а через минуту мальчик уже бился в центре общего клубка, крепко зажмурившись, – нет, не от страха, просто вокруг даже стопроцентно зрячий ничего не увидел бы, кроме пыли и мелькающих рук, принадлежащих неизвестно кому. У него ничего не было, кроме собственных кулаков, в суматохе он даже камня не догадался подобрать, и теперь ожесточенно лупил направо и налево, не разбирая, где свои, где чужие. По лбу, по вискам, по подбородку текло – он не понимал, кровь это или пот, ему уже несколько раз прилетело по голове, но боли не чувствовалось, только лихорадочный, заполошный азарт, управляющий до судорог сжатыми кулаками. А потом что-то произошло. Кажется, он упал, потому что, открыв глаза, увидел землю совсем близко, всего в нескольких сантиметрах. Голова стала какая-то ватная, шум драки едва уловим – и это было странно, потому что прямо перед глазами, в пыли, беспорядочно топталось множество ног. Мальчик закашлялся и закрыл глаза, а когда открыл их, увидел перед собою дрожащую руку, кисть руки, с которой часто падали в песок крупные алые капли, и два пальца – средний и указательный – болтались как-то странно, как будто их привязали к ладони за ниточку. Раны были похожи на две веселых улыбки. Еще через мгновение он понял, что эта рука – не сама по себе рука, что она принадлежит человеку, стоящему напротив на коленях, а потом с удивлением узнал в этом человеке Кольку.

– Скальпелем, – сказал Колька едва слышно, одними губами, но мальчик почему-то сразу его понял.

– Скальпелем... совсем как у матери моей скальпель, – снова повторил Колька и подхватил отполосованные пальцы здоровой рукой. Две алых улыбки погасли. Кровь полилась сильнее. Колька сидел неподвижно, лицо его было бледным, как наволочка, взгляд застыл в одной точке, на линии отреза, и мальчику показалось, что это длится целую вечность... Он придвинулся к Кольке и тоже стал смотреть на рану, изо всех сил напрягая близзорокие глаза, он следил за полетом распыляющихся красных капель очень вни-

мательно – как они накапливают, как отрываются и шлепают в песок, а потом вдруг подумал с завистью, даже с отчаянием: «Ну почему, почему все самое лучшее достается ему? Почему не со мной?! Ему же все равно! А мне больше никогда-никогда не пришлось бы играть на пианино!»

Урок 5

Отчим на вокзал не поехал. С вечера собирался, советы умные давал – как упаковать, да как деньги попрятать, чтобы не украли, а с утра пораньше из тех самых упрятанных денег утянул червонец и уже к обеду приполз пьяный в стельку – обмочился, обмарал пиджак, кепку потерял где-то. Теперь он храпел дома на диване, как был грязный, благоухающий перегаром и мочой; матери с него только ботинки удалось снять, все ж таки этот зараза под сто килограммов тянул, где ей было с ним справиться, когда он был в отключке. Зато увязался провожать Кольку-беспальный. Мать от этого еще больше разозлилась. Пока ехали в автобусе, все бухтела: «И зачем тебе в такую даль? И оставался бы ты лучше дома! И баловство все это! И как ты ночью обратно?» – до самого Братска бухтела, а упрямый Колька возражал: «Да ладно, тетя Марин! Тут ехать-то! Попутную поймаю!» – и на материно раздражение внимания не обращал, потому до вокзала она добралась совсем уж издерганная и теперь шумно суетилась около сумок и чемоданов, вполголоса ругая Кольку «нахалом» и «хамьем». Колька, разумеется, все прекрасно слышал, но делал вид, что его это вообще не касается. Нет, все-таки иногда он вел себя молодцом, Колька. Как настоящий мужик.

Впрочем, мальчику сейчас было и не до Кольки, и не до матери. Новенький пиджак резал под мышками, нейлоновая рубашка раздражала кожу, чесались руки, чесалась спина, непривычный галстук давил под горло, мешая дышать, но всего хуже оказались лакированные ботинки, купленные матерью перед самым отъездом – по случаю, а стало быть, без примерки, «на глазок». Пока шли до автобусной остановки, это было еще терпимо, хотя уже тогда ощущалось давление в мысках и пощипывание в пятках. Но теперь, спустя почти четыре часа, мальчик мог думать только о том, что, вот, у него ноги, две ноги, правая и левая, ничего больше нет, а ноги есть, и эти ноги болят, все целиком, аж до самого паха, и лучше бы их вовсе отрезать, ноги, левую и правую, ну если не целиком, то хотя бы мизинцы, а еще не худо бы избавиться от этих горчичников на пятках, потому что терпеть уже невозможно, честное слово, невозможно! Голова от напряжения разболелась, тело покрылось испариной, волосы на висках взмокли. Мальчик как встал посреди платформы, так и стоял, стараясь не шевелиться и не дай бог не переступить, глубоко вдыхал приторный алюминиевый воздух, Кольке отвечал невпопад, материного бухтения и вовсе не слышал, и так у него все мышцы от непод-

вижности посводило, что в конце концов мальчику начало казаться, будто его убрали в кофр.

Да и матери, по-хорошему, было не до Кольки и не до мальчика. Она замирала в задумчивости, сама себе задавала вопрос: «Билеты?» – нагибалась, перекапывала багаж, билетов не находила, разгибалась, хваталась за голову, причитала испуганно: «Где же?! Да как же это?!» – снова нагибалась, перекапывала багаж по новой, не находила, перекапывала, причитала, перекапывала, причитала, потом отыскивала, наконец, разгибалась, выдыхала облегченное «У-ффф!», перепрыгивала билеты на новое место, разгибалась, проговаривала несколько раздраженных фраз в адрес Кольки, замирала в задумчивости, сама себе задавала вопрос: «Документы?» – нагибалась и опять начинала рыскать по сумкам, повторяя раз навсегда заданный поисковой алгоритм. В другой раз мальчик, пожалуй, посмеялся бы, но только не сегодня, только не в таких ботинках!

Несколько шагов до вагона дались с трудом. Как во сне мальчик взял сумку и чемодан, как во сне дохромал до двери, как во сне опустил ношу под ноги, как во сне пожал искалеченную руку Кольки-беспалого, как во сне поднял вещи и поднялся в поезд... Потом, кажется, он стоял у окна напротив купе и смотрел мимо Кольки, который по другую сторону запыленного стекла, задрал голову, усиленно жестикулировал и, кажется, даже говорил что-то, но ничего не было слышно, только шевелились беззвучные Колькины губы, только двигались, словно в немом кино, Колькины руки, а потом загремели и резко дернулись вагоны, едва удержался на ногах мальчик, Колька зашагал за поездом, остановился, улыбнулся натянуто, натянуто махнул вслед беспалой рукой. Мальчик, вроде бы, тоже махнул в ответ... Но все это происходило как бы не с ним, виделось как бы со стороны, и мальчик не заметил самого для себя важного, давно и трудно вымечтанного – первый раз в жизни сосед и вечный соперник смотрел на него снизу вверх; впервые Колька завидовал мальчику, а не наоборот.

Поезд был проходящий, «Тында – Москва», и в купе уже прочно обосновался какой-то пьяненький дедок. Увидев новых пассажиров, дедок засобирил поразбросанные по полкам свертки, засуетился. Все повторял: «Один момент-с!», так вот старорежимно, с присвистом, смакуя последнюю «с». Мальчику дедок не понравился. А матери, кажется, было без разницы. Попутчику она едва кивнула и тут же стала разбирать сумку с продуктами. На столе разрасталась горка дорожной снеди – курица в фольге, пакет картошек в мундирах, хлеб, сваренные вкрутую яички, банка огурцов домашнего посола, но мальчик, хоть и ел последний раз только в обед, даже не посмотрел на это изобилие; первым делом он избавился от ненавистных ботинок.

– Ты чтой-то? – возмутилась мать.

Мальчик стянул носок, налитанный кровью, и молча предъявил матери истерзанную рану на пятке.

– Ах ты ж, господи! Беда-то какая! – запричитала мать. – Куда ж я их дену-то теперь? И обратно не сдашь, вон как в крови-то внутри все измарал! Боже ж ты мой! И в кого ты только уродился такой?!

Обидно было до слез. У него вон что, а она – только о ботинках! Мальчик, как был босиком, протиснулся в уголок, к окну, забрался на полку с ногами.

– Куда?! Дай, оботру хоть! – окоротила мать. – Горюшко ты моё!

А потом прибавила, подумав с минуту:

– Ничего, даст Бог, разносишь!

Мальчик не ответил.

Впервые он ехал так далеко от дома, но ни восторга, ни даже любопытства не чувствовал, а только тяжесть и неуют. Мальчик стал смотреть в окно, но за окном совсем уже стемнело, мелькали только редкие огни, подташнивало, галстук давил под горло... Мальчик задремал было, но мать растолкала его, заставила переодеться и умыться, выдала из чемодана старые побитые шлепанцы. Пыталась накормить, только мальчик отказался наотрез, так и уснул на пустой живот.

Он спал крепко, неподвижно, без снов, и проснулся уже после полудня. Поезд стоял в Красноярске.

Мальчик свесил с полки включенную голову. Внизу ели, и ели, должно быть, достаточно давно – промасленная газета была закидана скорлупой, куриными костями и картофельными очистками, а неизвестно откуда взявшаяся чекушка – почти допита. «Чекушка, наверное, дедова», – подумал мальчик. Мать подняла голову. Щеки ее покраснелись, глаза пьяненько блестели.

– Сыночка! – защebetала мать. – Проснулся, соня! Слезай, поешь маленько. Голодный, поди!

Мальчик потихонечку, поджимая ноющие ноги, спрыгнул вниз. Выудил из-под газеты с очистками запотевшие очки, надел. Окружающие предметы обрели резкость.

– Ма, у нас пластырь есть? Или хоть бинт?

– Фу ты, смешной какой! – мать начала обмахиваться платочком. – Откуда ж я тебе в поезде пластырь возьму? Носочки вон чистые одень, а к Москве оно и пройдет!

– У меня есть! – сказали от двери.

В дверях стояла девушка. Наверное, она подседа ночью или утром, и мальчик этот момент проспал. Девушка легко взлетела к себе наверх, вытащила из-под подушки небольшую коричневую сумочку и зарылась в нее едва ли не носом.

– Держи! – сказала она спустя некоторое время, и сверху мальчику прямо

на колени шлепнулся маленький рулончик пластыря.

– Спасибо! – смутился мальчик.

– Вот уж не за что!

Девушка так же легко спрыгнула вниз и по-хозяйски расположилась за общим столом.

– Меня Галей зовут. А вы, наверное, Андрей?

Мальчик почему-то покраснел. Девушка была красивая – беловолосая, стройная, вся яркая такая. Взрослый человек, пожалуй, заметил бы, что и вырез на блузке великоват, и косметики многовато, и белизна волос явно гидропиритного происхождения, так ведь это взрослый, а в пятнадцать лет кажется – коли чуть заблестело, так уж прямо и золото. И мальчик боялся поднять на это золото глаза, точно глаза могли обжечься.

– Он у меня такой умница! – щебетала пьяненькая мама. – Та-лан-ти-ще! Как Бог свят, не совру, так она мне прямо и сказала – за-меч-чательные исполнительские данные. А я – ни в какую! Как же ж это – отдать кровиночку свою за шесть тысяч километров? Сами вы, Пал Демьяныч, посудите, а?

– Да-с-с-с! – кивал дедок. – Да-с-с-с! Правильно, Викторевна, толкуешь! Вон, мой-то... Как уехал на учебу, так и поминай, как звали-с... Да-с-с-с! Вот, гостинцев теперь везу. Внуки уже пошли. Двое.

– А... где... где он у вас?

– Да в Казани же, я ж тебе утром еще рассказывал!

– Прости, позабыла чтой-то... Как-то мне... ох, душно-то как, прям дышать не могу! – мать снова стала обмахиваться платком.

Мальчик перекинул через плечо серое дорожное полотенце и поковылял умываться. Мать всегда такая была, сколько помнил – говорить старалась, точно в романах девятнадцатого века, а как выпивала, так и перла изо всех щелей дальняя Кубанская деревня. Ему было стыдно за мать. И пятки заклеивать перед Галей – тоже стыдно.

Когда он вернулся в купе, разговор катился своим чередом, поезд постукивал на ходу, постукивали пустые слова, стучало сердце – где-то в висках и под горлом, и мать говорила:

– Вот, поступит в Гнесинское, тогда все они увидят! А Гнесинское и лучше даже, чем консерватория. В консерватории-то, поди, блатные одни! – говорила и потрясала в воздухе пухлым кулаком, грозя невидимым «им», дедок сонно кивал, а Галя отвечала:

– А я тоже музыкантка. Да, на арфе играю.

– Сыночка! Иди сюда! Да подсядь ты к матери поближе-то, я, чай, не кушаюсь! – мать попыталась погладить мальчика по волосам, но он зло вывернулся. Взял с газеты куриное крыло, начал угрюмо есть.

– Эх, молодежь! – усмехнулся дедок. – А и сам я был такой же ершистый,

да-с-с-с! Ну что, Викторна, давай, что ли, по последней?

Дедок разлил в два чайных стакана остатки водки.

– А давай, Викторна, за молодежь! За будущее за наше выпьем. Чтoб у них все было, чего у нас не было. Ну-с, как говорится, поехали! – одним махом заглотнул и хлебушком черным занюхал. Мать выпила водку малюсенькими глоточками, морщась и поеживаясь с горечи, раскрыла, точно рыба, рот, быстро-быстро замахала перед ним рукой. Жадно закусила соленым огурчиком.

– Ох, и злая у тебя, Демьяныч, водка.

– То не водка злая, то бабы слишком добрые, – усмехнулся дедок. – Ну, ладно-ть... Посплю маненько. А где и поспать-то рабочему человеку, как не в поезде...

Галя презрительно оглядела деда и тоже усмехнулась – красиво так, заговорщически, одними глазами. «Коз-зел!» – подумал мальчик про себя. Очень он пьющих не любил. Сам-то, конечно, потихоньку пробовал с друзьями – и пиво пробовал, и водочку, и портвейн «три семерки», но это было совсем не то, совсем не так, как у взрослых. Это... С друзьями это было во все не страшно.

Ночью мальчику не спалось. Он все ворочался, все смотрел, изо всех сил напрягая глаза, на спящую Галю и видел только силуэт; его бросало то в жар, то в холод, ему хотелось протянуть руку, это ведь так просто, так близко, протянуть и гладить, гладить по белым волосам, а потом целовать, по-взрослому, с силой разжимая пухлые губы, и хозяйски трогать тугую грудь, стискивать, словно снежок, который вот-вот будет брошен, хотелось быть большим и неотразимым мужчиной, как в запретной книжке, которую перед отъездом принес ему потихонечку Колька-беспальный...

Хотя книжку мальчик проштудировал внимательнее некуда, и даже не один раз, дальше поцелуев он в своих фантазиях не заходил, сам себя стыдился, вот и мучился до рассвета, а потом впал в тяжелую дрему и метался, метался на полке, сбив на пол жгутом перекрученную простынку и одеяло. Когда он проснулся, за столиком мама и дедок снова ели – в точности как вчера, только на консервы перешли. Гали в купе не было. Мальчик перепугался, что она уже сошла где-нибудь, но заметил на аккуратно застеленной полке, в уголке, коричневую сумочку и успокоился.

Умылся, причесался потщательнее, поел, попил чаю, а она все не приходила, точно сквозь землю провалилась. Но утешительная сумочка стояла на прежнем месте, и мальчик продолжал ждать. Мать выдала ему ноты и загнала на верхнюю полку, чтобы даром штаны не просиживал, а повторял бы, хоть бы и про себя, проигрывал бы мысленно, и мальчик, лежа на полке, послушно шуршал страницами, ничего в них не видя, лежал и ждал воз-

вращения Гали, которая все не шла. У него заломило спину, но он продолжал лежать, почти не шевелясь, пытался домечтать свою ночную мечту – и не мог. Когда он, задумавшись, переставал перелистывать страницы, мать окрикнула его: «Ты там спишь что ли?», и он делал слабую попытку сосредоточиться на нотах. Не получалось – как только в голове начинал звучать проклятый «Революционный этюд», локти сразу тяжелели, точно к ним было привязано по гантеле, в мышцах зарождалась не сама боль, нет, но память о боли; ему поставили за экзамен пять с плюсом, разумеется, куда бы они делись, – он играл лучше всех в школе и знал об этом, да и мать, столько лет проработала, хотя бы из уважения... но... он-то знал, он-то слышал, что все это – не то и не так, натянуто все и пусто, точно эту музыку проткнули как воздушный шарик и она сдулась, съжилась, превратилась в никчемную резиновую тряпицу...

Потом он еще раз ел, пил, перелистывал ноты и украдкой все поглядывал на двери купе, несколько раз даже в коридор выглядывал, Гали не было, мальчику от этого становилось еще неудобнее и беспокойнее, мама с дедком жевали не переставая, как-то даже механически, они ели и все переливали из пустого в порожнее беспредметные дорожные разговоры, опять была чекушка, опять хвалилась пьяненькая мама, это было ужасно, это было мерзко, мерзко! Потом мальчик задремал, и ему приснился кошмар – серый город без неба, алюминиевая удушливая патока, и ни одного человека кругом, только каменные стены, подернутые осклизлым зеленым мохом, и там, во сне, мальчик знал – этот город и есть «Революционный этюд», холодный и безвоздушный.

Когда мальчик проснулся, в купе было уже темно. Мать и дедок храпели на разные голоса, дедок – с присвистом, точно дотягивал вечное свое «с-с-с», недоговоренное днем, мать же грозно и надрывно порывивала, и в горле у нее клокотало. Гали не было. Мальчик протянул руку и обшарил пустующую полку – сумочка стояла на прежнем месте.

Мальчик потихонечку спустился вниз и выбрался в коридор. Коридор был пуст и мрачен, только в начале вагона, напротив проводничкой, желто моргала тусклая лампочка. И ни одного живого звука не существовало вокруг, кроме целеустремленного лязганья колес, кроме низкого зуденья лампочки и нервногобряканья невымытых стаканов на подносе у титана с кипятком. Но, как ни странно, в этом тоже была музыка – и ритм, и мелодия. Мальчик устроился на откидном стульчике против купе и стал смотреть в черный прямоугольник стекла. Он думал об отце. Почему мать никогда не рассказывала о нем? Да черт ее знает. Должно быть, просто не считала нужным. А когда она что-либо не считала нужным, спорить было бесполезно. Впрочем, как бы там ни было, что бы ни произошло у отца с матерью, мальчик

не осуждал его. Ему казалось, что он его даже понимает – как мужчину понимает. Пятнадцать лет он жил бок о бок с этой женщиной и как никто другой знал, что с ней жить нельзя. Потому что она врала, все время врала.

Его разбудило легкое неуверенное прикосновение. Мальчик вздрогнул и вскочил, сиденье громко хлопнуло, Галя нетрезво рассмеялась:

– Такой уже... взрослый, а... такой... пу... пугливый!

От нее здорово пахло перегаром, белые волосы растрепались, кофточка была застегнута не на ту пуговицу. Мальчик покраснел, но в темноте, да с пьяных-то глаз, Галя этого не заметила.

– Тебе... тебе сколько... лет? – проикала она и, неожиданно качнувшись, повисла на мальчике всем телом, так что он едва удержался на ногах.

– Двадцать два, – зачем-то соврал мальчик.

– Ой! И мне – двадцать... два, – пьяно умилилась Галя. – Значит мы... Эти... Да как же его? ...А, ро-вес-ни-ки!

Она, понятное дело, тоже соврала, но это было разнонаправленное вранье – мальчик прибавил себе лишних семь лет, Галя убавила, стало быть, математически их маленькая ложь в сумме давала ноль.

От соприкосновения, столь тесного и столь нежданного, мальчику сделалось жарко, как никогда в жизни. Он весь вытянулся в струночку и стоял, одной рукою придерживаясь за стенку, а другой крепко обхватив девушку чуть выше талии, и боялся спугнуть эту прекрасную нетрезвую птицу. Он был почти на голову выше Гали, и потому жарко дышал ей в затылок, жадно вдыхал приторный запах ее волос, сбрызнутых какими-то крепкими цветочными духами.

– Ох... какой ты, однако... горячий, – прошептала Галя, высвобождаясь.

– И... из-вините... Я... – забормотал мальчик.

Галя снова рассмеялась:

– И робкий! По... пойдем-ка... покурим... Куришь? Во-он туда... в тамбур!

Она схватила мальчика за руку и, спотыкаясь на каждом шагу, поволокла его в конец вагона, прочь от купе и мигающей лампочки.

В тамбуре было темно – хоть глаз выколи, но постепенно предметы выступили из мрака, и мальчик разглядел дверной провал, дорожную пепельницу на оконной перекладине, бесформенный мешок в уголке и пьяную девушку напротив. Галя стала неловко обхлопывать себя по груди, по бедрам в поисках сигареты, но карманов не было и сигарет, стало быть, тоже.

– Вот, бля! Забыла! – ругнулась она в сердцах. – Ну и ... хер с ними... Курить вредно... Иди ко мне!

Мальчик стоял столбом и боялся шевельнуться. Она сама шагнула к нему в темноте и, навалившись всем телом, прижала к стене – задышала жарко,

стала гладить по брюкам. И тогда с мальчиком неожиданно случилось то, что иногда происходило с ним по ночам – он громко, по-звериному застонал, в паху сделалось горячо, липко и влажно. Было ужасно стыдно, хотелось провалиться сквозь вагонный пол, да так и остаться на рельсах, навсегда, и лежать мертвым, только бы не этот позор, только бы...

– Ух ты! – нетрезво восхитилась Галя. – А я? Я-то как же?.. Э, нет, милый... эт-то не... не годится!.. Давай-ка... попробуем... Еще...

Она нашарила его дрожащую руку и стала жадно водить ей по своей груди, по животу, словно это была вовсе и не его рука, а какой-то посторонний предмет, безраздельно принадлежащий ей, Гале, и никому кроме. Водила и постанывала, и неловко терлась о бедро мальчика, расставив ноги. У мальчика закружилась голова. Он, как во сне, стал тискать Галину грудь, обеими руками, остервенело, ему хотелось нарочно сделать ей больно, его мучило, но боли она, кажется, не чувствовала, только все истощнее стонала, все неистовее терлась, а потом запустила руку под резинку его тренировочных брюк и стала мять, и шептала: «Ну... Что же ты... Ну... Давай же!», а его пердегивало от омерзения, а у него в голове прокручивалась только одна дурацкая мысль: «У арфистки не могут быть такие грубые, такие неповоротливые пальцы!»

А потом ему самому стало нестерпимо больно и он, вскрикнув, стряхнул с себя распаленную девушку.

– Ну и... ладно! – неожиданно успокоилась та. Привалилась к противоположной стене и стала, пошатываясь, застегивать растерзанную кофточку. Застегнулась кое-как, процедила сквозь зубы:

– Молокосос! – и опять начала обхлопывать себя в поисках сигарет.

Мальчику хотелось плакать. Опять он впал в странный ступор и стоял, замерев, у стеночки, впитывая спиной ее приятный металлический холод, глупо бормотал про себя: «Море волнуется три, морская фигура на месте замри! Морская фигура – замри!»

Галя в тщетных поисках все обшаривала свою одежду, матерясь шепотом, бормотала: «Суки! Все вы – такие суки! И Сереженька, мать его, самая большая сука! Я его. Из армии. Два года. Два! Как последняя дура! А он... Сучку крашеную. Шлюшку. Привез. Шлюх любите? Получайте тогда шлюху! Суки!», – а потом вдруг перегнулась пополам и ее начало тошнить прямо на пол.

Мальчик отмер, бросился прочь, в туалет, стал лихорадочно дергать дверь на себя. Дверь не подавалась, потом неожиданно открылась в другую сторону, мальчик заскочил в тесный вонючий закут, заперся и лишь тогда вздохнул с облегчением... Потом он, спустив штаны до колен, долго и тщательно отмывался, вода по ногам крошечным хозяйственным обмылком, смачивал ви-

ски, брызгал студеной водой в лицо. Успокоился только тогда, когда обмылок совсем истончился, иссяк, оставив по себе крошечный липкий сгусток. Тогда мальчик высунулся в окно и подставил голову холодному встречному ветру.

В купе он вернулся уже под утро. Галя спала, не раздевшись, на своей полке. Она лежала на животе, трогательно засунув обе руки под подушку, и по-детски причмокивала во сне. Мальчика снова бросило в жар. Он поскорее забрался на свое место, отвернулся к стенке и укрылся одеялом с головой.

Его разбудила возня в купе. Он потихонечку выглянул из-под одеяла. Галя, уже тщательно подкрашенная и причесанная, собирала вещи. Подъезжали к Сарапулу.

На мальчика она даже не посмотрела. Ну и отлично, ну и ладно! Мальчик опять отвернулся к стене и так пролежал, пока она не вышла на своей станции.

А днем в Казани высадился надоедливый дедок, и два свободных места заняли молодая мамаша и девочка лет семи-восьми – обе очень чистенькие, приветливые и миловидные. До Москвы оставалось всего ничего.

Урок 6

Он до сих пор отчетливо помнил первое утро в этом городе – ранний-ранний июньский рассвет, влажную сероватую прохладу, усталую пеструю толпу, выплескивающуюся из вагонов под гулкие своды Казанского вокзала, гам, строгие голоса из репродукторов, стрекот сумок-тележек по плиткам, дежа вю в тот момент, когда поднял голову и вместо неба увидел высоченный зеленоватый купол, расчерченный на квадраты, совсем как в поезде, во сне, только еще страшнее, потому что вокруг были чужие, сонмы чужих, озлобленных, невыспавшихся, пахнувших дальней дорогой, о нет, это был уже никакой не «Революционный этюд», этот город начался для него, как начинается второй концерт Рахманинова – мощно, угрожающе, в полную силу, давил со всех сторон, а он, маленький человек с хорошими исполнительскими данными, входил в столицу, как по ножам, – в новых лакированных ботинках, которые жали невыносимо, с чемоданчиком, с сумкой, с тонкой нотной папочкой, хранящей этюд Шопена и извечную «Лунную сонату», в куцем провинциальном костюмчике; а потом были радужные бензиновые лужи на асфальте, и мать с непривычки расшиблась на эскалаторе; кажется, они искали комнату, где-то в центре, в переулочках и арках, заходили в темные подъезды, выходили обратно; и был дворик в Гнесинском, напротив концертного зала, тепло и солнце, нестерпимо жмущие ботинки, были какие-то кабинеты, где принимались документы, и дверь, самая-самая страшная,

за которой сдавали экзамен, был мальчик, сидящий на корточках под этой дверью в ожидании своей очереди, а оттуда, из-за двери, лились звуки такой чистоты и силы, что мороз пробегал по коже; и было позорное бегство, сначала в мужской туалет, потом по лестнице – прочь, во дворы, и знакомая тяжесть в локтях, и тянущая боль в предплечьях, все было – и все это до сих пор хранилось в памяти, не изнашиваясь.

Позже, когда его нашли, мать, понятное дело, закатила истерику со слезами и подвыванием, умоляла, собиралась бежать куда-то, договариваться о переносе, падать в ноги... Но, выпускница захолустного Культпросветучилища, что знала она о предмете, который ей пришлось преподавать всю жизнь? По сути – ничего. Он больше не хотел ее слушать. Она не понимала, она никак не могла понять, что здесь и сейчас ничего у него не выйдет, это невозможно – физически невозможно.

Музыка музыкой, а уроки взрослого вранья за свою недолгую жизнь он усвоил в полной мере. И тогда он сказал ей: «Нет!» Так сказал, что она больше не посмела его уговаривать. Это была сделка. Он придумал эту историю, когда, сбежав с экзамена, стоял в какой-то темной подворотне близ училища. Он стоял, привалившись к сырой и холодной стене, и думал, думал, думал, и принял первое в жизни взрослое решение. Он вернется в Братск. Или нет, лучше махнет подальше от дома, куда-нибудь в Читу. Он будет учиться там. А мать, коль скоро ей это так важно, пусть хоть всему миру растрезвонит, будто он учится в Москве. Кто проверит? Там, в Братске ли, в Чите, он будет сидеть за инструментом дни и ночи, он постарается, он научится (он поклялся себе в этом), и вот тогда, только тогда вернется в этот грозно звучащий мегаполис. Не так и не таким, как сейчас – в этом он поклялся тоже...

* * *

...С той поры изменилось многое – город потеснел, ужасся, словно кушечек шагреновой кожи в одноименном романе, оделся в неон и глянец; изменилась и помельчала страна, изменился и сам мальчик, превратившись во взрослого мужчину, окреп, прижился, как приживаются все, кто, один раз вкусив «столичных щедрот», оседает здесь, пустил кой-какие корешки, завел даже девушку; ежемесячно, как примерный сын, высылал овдовевшей матери понемногу денег, снимал комнатку на окраине, – неплохо, словом, жилось ему в этой переменившейся жизни, главное правило было одно – работать, работать и еще раз работать, в работе было его будущее, и смысл, и сила...

Только одно для него всегда оставалось неизменным – музыка. Порой он ненавидел ее, порой она поглощала его всего без остатка, но всегда была с ним, в нем, никуда не исчезая. Вот и сейчас она звучала, заполняя собою все пространство вокруг, поверх голов взмывала под своды здания, а он плыл

по ее штормовым волнам, прикрыв глаза, музыка была внутри и вокруг, не было ничего кроме музыки, желтый луч падал на руки, мир был огромен и вечен, враждебен – но не страшен...

Когда он открыл глаза, в окошечко просунулся увесистый волосатый кулак. Потряс в воздухе, потом снова утянулся наружу. Грохнула дверь, и в палатку ввалился Толстый. Несмотря на ранний час, Толстый был уже порядком навеселе.

– Ты чё, нах?! – прорычал он утробно.

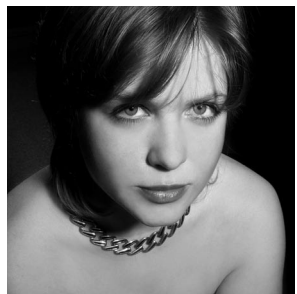
Потом, ответа так и не дождавшись, приблизился вплотную и схватил за грудки. Легко приподнял с табурета и в сердцах тряхнул. Отшвырнул в угол. С полок на голову затумкали кассеты. Левое стекло в очках треснуло.

– Ты чё, нах! – снова зарычал Толстый, но теперь это был уже не вопрос, а явная угроза. – Ты, нах, мне всех клиентов распугаешь! Ты, нах, сегодня продал чего?! Чё вылупился, скрипач недоделанный?! Над нами весь рынок уже ржёт, ты понял?!

Толстый схватил с полки магнитофон, выпотрошил, кассету с оттяжкой раздавил каблуком. Поозирался, что бы еще порушить, но, видимо, пьян был еще не сильно, потому что хозяин в итоге взял в нем верх над погромщиком.

– Короче, нах, слушай! Если у меня, у Толстого, в палатке еще раз, нах, Моцарта какого-нибудь услышу, ноги-руки повырываю! Понял, нах?! Ты, нах, мне хитов давай! «Юбочку из плюша» давай, нах! Всё! Больше, нах, не повторяю! Пидор вонючий!!!

С этими словами Толстый вывалился на улицу, громко шархнув дверью. А он так и остался полулежать в углу, засыпанный кассетами, – лежал и мстительно думал: «Козёл же этот Толстый! Рахманинова от Моцарта отличить не может!!!»



Валерия Олюнина

г. Лобня

Родилась в 1974 году. Училась в Литературном институте имени А. Горького.

Публикации в журналах: «Сибирские огни», «День и ночь», «Театр», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Независимая газета» и др. Член Союза журналистов РФ. Проживает в г. Лобня Московской области.

Человек из своего ресторана

Тихо сам с собою я веду беседу...

В огромной лисьей шапке, в обшарпанной куртке интенсивно грязного цвета, с фирменным пакетом в руках он шел по Тверской мимо ёлок и камушков Сваровски, модных тряпок и баннеров во всю улицу... Шел сквозь толпу. Разговаривал с собой. Не сразу это поняла, думала, по мобильнику, и сначала всё искала проводки, ведущие к ушам. Их не было, и не могло быть. Тот, с кем он разговаривал, находился рядом с ним.

Стало жутко, хотя нам ли пугаться: каждый седьмой по скромной статистике института Сербского может вот так вот запросто идти и разговаривать с умным человеком.

Я немного замаялась, струсила просто, одна вот такая разговорчивая в Свиблове, обвешанная мусорными пакетами, как-то хорошим летним утром плюнула мне на платье.

Он, как собака, чувствующая страх чужака, совсем, совсем чужого ему человека, с которым он не разговаривал вот только что, потому что не о чем с такими говорить, остановился и тоже затоптался около меня. Резко повернул голову и радостно закивал тому, другому: мол, ты давай иди по той стороне, а я пойду по этой, встретимся в ресторане.

Тут я не выдержала, бросилась в ближнюю аптеку, опасаясь, что он тоже пойдет в аптеку, пригласит и меня в ресторан. Но он пошел дальше, а я купила масло для массажа за двести девяносто, которое, конечно же, на хлеб не намажешь.

Ну вот, подумала, выйдя. Я просто уверена, что он дойдет до своего ресторана, может, до суши-бара или там пиццерии. Сядет он с тем, кто двигался по противоположной стороне Тверской, и может быть, этот, в лисьей шапке,

с которой он, конечно же, не расстанется ни под каким предлогом, закажет две порции сашими или пасты самой дешевой и не расплатится, хотя он бы хотел расплатиться за двоих – ведь их же двое! – но просто так получилось, что денег сегодня с собой не взял.

Я успокоилась немного, пошла всё той же Тверской, потом, свернув на Моховую, встала у Боровицкой, закуривая. Лисья шапка появилась через минуту. Он шел, помахивая фирменным пакетом, где лежали, скорее всего, пенициллиновая булочка и пластиковая бутылка с водой, которую он набрал в Макдональдсе под грубый окрик Рональда Макдональда, и разговаривал – нет, не с собой. Он говорил с тем, кто шел по другой стороне уже Моховой, упрямо продвигался к Большому Каменному мосту, туда, где пешеходам путь закрыт.

А ресторан его был еще очень неблизко. Белел накрахмаленными скатертями и вкусно пах теплым хлебом с тмином или кунжутом, мерцал промытым хрусталем. Владелец лисьей шапки нестерпимо рыжего цвета, быть может, перехитрит поток железных врагов с галогенками вместо глаз и сделает так, чтобы тот, кто вечно идет по другой стороне всех его улиц, всегда переходил дорогу даже в запрещенных местах.

А в своем ресторане уже заказали меню их приятели, наполеоны и старые девочки в детских колготках, в шляпах тирольских с пером и страшный горбун, от криков которого шарахаются пассажиры метро... Их никто и никогда не выгонит из их ресторана, и очень может быть, что платить им там не придется, потому что они уже за всё заплатили...



Анжела Пынзару

г. Красноярск

Родилась в Молдове, училась в ЛГИТМИ-Ке, в Литературном институте имени Горького. Автор книги стихов «Субботние птицы». Печаталась в журнале «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра», «Ликбез» и др. Шорт-лист премии Фонда имени В. П. Астафьева по итогам 2007 года в номинации «Проза», лонг-лист премии «Ясная Поляна» Фонда имени Льва Толстого.

Ты видишь

Я осмелюсь

Купить ей юбку, или нет; вот какой вопрос решала Е. И. весь октябрь. Да еще какую юбку! Конечно, не из последней коллекции и даже не из предпоследней, но юбка безупречно и безукоризненно к ней шла; они подходили, они были парой, были совместимы, они составляли единое целое; они преобразались: на вид невзрачная юбка и еще более невзрачная Е. И. Серая юбка с розовыми шнурками в комплекте с розовой блузкой преобразали Е. И. до неузнаваемости, делали ее привлекательной, и казавшая себе и остальным серой мышкой Е. И. становилась розовой морской волной и раковой океанской с далеких пляжей с розовой каймой. Одно смущало: цена (а блузка у нее была). И ощущение, что эта французская юбка, идеально сидящая на ее полных бедрах, и не скрывая, а подчеркивая их красоту и силу, способна изменить всю ее неудавшуюся жизнь, невзрачную и неприметную в глазах окружающих и, в общем, до прошлого воскресенья, устраивающую ее полностью. Но вот уже неделю она ходит в магазин после работы, надевает юбку, проходит по залу, смотрится в зеркала и боится ее купить. И даже дело не в том, что из предпоследней коллекции (неправду сказала продавщица! далеко не предпоследняя!) и не в ее явно завышенной цене, и не в совпадении характеров с тем или с той, кто моделировал эту юбку, ласкающую живот, бедра и просачивающуюся в ее жизнь так осторожно и неумолимо, а в том, что юбка казалась ей легкомысленной, немножко фривольной, где-то вульгарной и даже бесстыжей. Ну, как, скажите мне, появиться в офисе ей, матери семейства, замужней даме в свои сорок в такой юбке? Обсмеют! Она

не носила такое даже в молодости, в СССР, в студенчестве, в пору влюбленности! И только в воображении, иногда, она видела себя так одетой, и ее полнота, мнение окружающих – зачем женщина одевает такую юбку – все исчезало, и в душе она становилась той, которой мечтала стать – мягкой, без комплексов, немножко легкомысленной, фривольной, флиртующей. Короче, эта юбка была той, кем Е. И. никак не могла себе позволить быть, и отдала бы многое, чтобы стать ею. И она, эта юбка, возможно, подвинула бы ее еще дальше, и в жизни, и в карьере, если бы не ее нерешительность. Одевалась она дорого и строго, но, как перешла на новую работу, поняла: что-то нужно менять. И, конечно же, начала с гардероба. Вот точно, я войду в этой юбке, в своей розовой блузке, которая так идет мне к лицу и к стрижке, хотя он любит длинные волосы, но знала точно, не выдержит, отправит к черту и длинные волосы, и принципы, и, конечно же, она... ну хорошо... переспим... а что дальше... и так каждый вечер, после работы, прохаживалась перед зеркалом, облаченная во французскую юбку из нежнейшей французской ткани, и розовая блузка так шла к юбке, к ее короткой прическе, к нежной коже, ну и что, что у меня муж, дети, друзья... у него жена, дети, друзья, ну что, развестись мне, как это будет, младшая так привязана к папе, да и старшая тоже, развестись ему... как, Господи, как, ну что же ты молчишь? Скажи хоть слово! Вот полюбила... Впервые в жизни. А, то... то была не любовь, инстинкт, нужно было выйти замуж, рожать. Почему нужно? Ну, так принято. Что делать? Купить? Не купить? И юбка снималась, отправлялась обратно на вешалку, до следующего раза. А на завтра, после работы, она опять заходила, может, ее уже купили, думала она по дороге, но нет, покупать ее никто не спешил. Продавщица ей улыбалась, как давней знакомой, и протягивала вешалку с юбкой, так воспламенившей воображение Е. И. Что будет, да, конечно, все будет, будет все, если, например, она завтра придет в юбке, она не сомневалась и знала наперед и с точностью до доли движения его любого, и юбка... не прочь была... она согласилась ей помочь круто, ну, очень круто изменить жизнь, и, как камень, например, изумруд, просилась к ней, почти плакала, возьми, я сделаю все, чтобы у тебя все получилось, я поработаю на тебя, ты не пожалеешь. Но готова ли она к таким крутым переменам? А он? Он смотрит на нее целыми днями, но что он может сделать, если она ходит на работу, одетая как... как... да, вспомнила, в детстве, на Кавказе, так ходили вдовы: все черное. И она сейчас так же... черная длинная юбка до пят, блузка черная, не хватает только косынки черной! Нет, надо купить! И вот перед ней весь мир: заграница, поездки, карьера, любовь, ну все, все, что она хотела и уже не надеялась обрести. Да ткни она пальцем в карту, она точно знала, не маленькая же, и скажи ему: сюда, он повезет ее туда, о Боже,

а как же дети, ее ежик, то есть муж, сердце кровью обливается, и юбка отпавлялась обратно на вешалку, и продавщица мило улыбалась: «Никому эта юбка не подходит. Все мерили. Только вам». И она уходила и думала все, завтра, завтра, завтра я ее куплю, но завтра зашла в соседний магазин и купила длинную черную юбку, еще одну, до пят, и пришла на работу в ней и в черном несуразном свитере, и черное, черное пальто, и он-таки не увидел ее ног, хотя, она точно знала (не маленькая же), горел желанием, но как, если она вся в черном, может, траур у нее, мало ли... о которых все говорили «скульптура» и даже в модели приглашали, показывать такие же юбки, которых она никак и, возможно, уже никогда не решится носить. В черной длинной до пят юбке она прошла мимо его машины, мимо него, высоко подняв голову и, приподняв рукой подол, вошла в автобус.

Ты видишь...

С утра позвонила Катя:

– Ты видишь, ты видишь, снег, зима, – в трубке были слышны всхлипы. – Конец, конец, – шептала она.

– Успокойся, – сказала я. – Зима еще не конец.

– Нет, конец, – не унималась она. – Ты не понимаешь, не понимаешь, конец. Мне не перезимовать. С ним, с ними, мне бы только эту зиму пережить, только эту.

– Приходи, кофе попьем, – сказала я и пошла на кухне ставить кофе. Смотрела в окно, снег, все белым-бело, кофе убежал, позвонит... нет...

Несколько лет назад у меня была такая же боязнь зимы – страдают люди агорафобией и еще чем-то... а я вот этим, зимней болезнью. Не скажу, что сейчас моя болезнь прошла полностью, но я как-то растворила ее в себе, впустила в себя со всем ее снегом, льдом, вьюгами, морозами. И она улеглась там, где-то внутри нашла пристанище, и, когда за окном воет вьюга, мне как будто слышится родной голос. Другое дело моя подруга. Нет, нет, вы не думайте, моей подруге не сто лет, она молодая женщина, тридцати пяти лет от роду, живет в благоустроенной квартире с мужем, детьми, кошками и собаками, у нее хорошая, любимая работа, машина, два раза за зиму она выезжает из нашей сибирской зимы в дальние, ну в очень дальние страны: Египет, Индия, Вьетнам.

Знаете, зима у нас в Сибири начинается в октябре, на мой день рождения (как я подгадала!), и заканчивается где-то в мае. Но это мое субъективное мнение. Я до хрипоты спорю с мужем вот уже тринадцать лет по поводу начала и окончания сибирской зимы. Он, сибиряк, утверждает, что зима у нас начинается вовсе не с первым снегом, что первый снег – это слякоть, и к зиме

он совершенно не относится, снег бывает даже летом, даже в южных странах, – говорит он. Но вот в апреле, когда Ален Делон, тот самый, никакой не двойник, посетил наш город в конце апреля, шел снег. Вы спросите, что он у нас забыл? Потерял, скорее всего, потому что так замерз, что даже воздухом Енисея не подышал, бедный.

– А если посмотреть, – утешает меня муж, географ, – зима у нас нежная и мягкая (ну, точь-в-точь его любовница), зима у нас не какая-то особенная, да, ветра, да, вьюга, но какие ветра бушуют на полюсах Земли, ты что, наш родной сибирский ветер – Зефир, легкий бриз Канарских Островов. Но я настаиваю на своем, потому что мы с мужем не совпадаем ни по одному важному и мало-мальски ничтожному вопросу, а уж по такому важному, как начало отопительного сезона, ну, никак.

Я посмотрела в окно. Подруги не видно. Кофе сбежал. Он не звонит. Включила комп. Залезла на сайт. Да, сообщение. Коротко и ясно. Увидимся сегодня? И так уже несколько дней. Я живу его короткими телеграфными сообщениями. Односложными предложениями. Односложностью. Так и хочется спросить... что, не с работы пишешь? Интернет не халаявный? Или боишься грамматических ошибок? Потом дошло – манера, стиль, форма обольщения такая особенная, сибирская. И умудряется же то, на что я трачу 2–3 предложения, он скажет одним словом, просто. – Где? Я тоже стала лаконичной. – Ничего не понятно. Пиши развернуто, – просит он. Я читаю еще несколько его телеграмм и соглашаюсь на встречу. Он обитатель Интернета, живет в сети почти круглосуточно. – Давно на сайте? – залпом при встрече, – смотрит прямо, открыто. – 4 дня. – А я 2 года с перерывами. – Я так, ради забавы, – оправдываюсь. – Затянет, и тебя тоже затянет, – улыбается, взгляд мягче, все мягче, смотрит с одобрением, как будто я прошла его проверку. – Ты одна из нас, одна из нас, я старожил на сайте, многих знаю, со многими встречался. – Нет, я не одна из вас, не путай, я читала, я знаю, это как болезнь. – Болезнь и есть, – говорит он, – почему как? – Нет, я не игрок, я не играю в карты, не посещаю казино, я тут случайно, так... Улыбается, соглашается со мной довольно быстро, не то, что муж! – Понимаю, – говорит. – Цербер, блин, нашелся! – У тебя только одно имя? Одно. Ниночка, – отвечаю. Смотрит мимо меня. – Да, правильно, одно, через несколько недель будет несколько. Удивляюсь, глотаю кофе, слушаю его рассказы об обитателях сайта, о женщинах, с которыми встречался, расстался. – Мне бы только зиму пережить, – говорит он, – весной, летом все по-другому, а зимой... Глотаем кофе. Бизнесмен. Не бедный. Говорим о его работе и, через предложение, вот только как зиму пережить, перезимовать, – слышу я. Сегодня я уже... уже... утро. Катя. Вытираю плитку. Прощаемся. У тебя нет этой проблемы? – спрашивает он. Нет, нет, – уверяю я. Прихожу домой. Смотрю на желтые сте-

ны, желтая скатерть, оранжевая постель (все эти преобразования квартиры в желтых тонах произошли прошлым летом – все лето готовилась), вытаскиваю из желтой сумки желтые лимоны, включаю желтую лампу, зажигаю желтую свечу, нет, нет, у меня нет этой проблемы, нет боязни зимы, включаю комп, захожу на сайт, удалить нет аккаунт? – удаляю – отменяю – куда он отправит сообщение? Жду 20 минут, от него ничего, пишу сама. О зиме. О том, что у меня все ОК! Ответа нет. Жду день. Вечером завожу второй аккаунт. Через двадцать минут: Ниночка, привет...

...и однажды ночью, когда ты меня поцелуешь перед сном, я увижу взгляд; взгляд посаженного мною в клетку лисенка, мечтающего о воле, не о победе. Ты подойдешь к компьютеру, предательски завизжит модем – по работе – отправлю письмо – бросишь мне через плечо, но я пойму, я уже поняла... охота...



Светлана Савицкая

г. Москва

Родилась в г. Орджоникидзе. Жила в Сибири, в Курганской области, в Балашихе, в Санкт-Петербурге. Автор многих книг, изданных в том числе и за рубежом (Италия, Сербия). Награждена Международным союзом писателей «Новый современник» медалью Михаила Достоевского и почетной грамотой «За верность литературе».

Член Союза писателей Москвы.

Телегония расцветшего лотоса

Артур глядел на дохлую медузу, которую болтало о причал. Ее прозрачное тело ненадолго появлялось у ног и тут же стыдливо просачивалось обратно среди досок катерного трапа. На теле медузы можно было разглядеть люминесцентные полоски, очень похожие на провода рекламных серпантинных соседнего кафе. По этим полоскам бегали разноцветные огоньки, не смотря на ее дохлость.

– Глянь! – окликнул Артур отдыхающего на резиновом матрасе детину, – жизни в теле уже нет, а фосфоресцирует!

– Инстинкт размножения, – не глядя, заметил парень.

– Она же дохлая, Ихт!

Ихт – это было коротко. Полная кличка парня звучала как Ихтиандр, но так его звали, когда сильно удивлялись или уважали. Не чувствуя разницы в температуре, Ихт в любой сезон года большую часть времени проводил под водой в водолазном костюме.

– Марррроженое! Пламбирррр! – приближалась к ним Шурка, пока только зычным раскатистым голосом.

– Вот у нее тоже инстинкт, – открыл глаза в сторону голоса Ихтиандр, – че, думаешь, она мороженое через нас носит? Все к тебе клинья подбивает!

– Видал я их всех! – отмахнулся Артур, – вот представь, Ихт! Было здесь раньше царство древнее Гаргиния со столицей Пантикапей!

– Медуза-то здесь причем?

– Медуза при Шурке. Выслушай – поймешь. И стоял роскошный дворец Искандера!

– Как твой коттедж?

– Ну что ты не даешь дорассказать-то! А Искандер этот был сыном погибшего друга Александра Македонского. И влюбился он в одну из пяти пленниц, которых подарили ему горские племена, в русскую княжну Елену.

– А она?

– А она ни в какую. Он к ней и так и эдак. Пришел к Македонскому в жилетку плакаться. А тот ему и говорит: построй ей на том самом месте, где вы впервые встретились, дворец. Тогда сердце любой женщины растает.

– Старая байка. Искандер построил. Сердце растаяло. Они полюбили друг друга и жили счастливо и померли одновременно, продавая для обеспечения своей жизнедеятельности тень вон от того каштана, что и нам завещали. При чем здесь Шурка? И при чем здесь медуза?

– А при том. Что нет их, Елен Прекрасных, в Широкой Балке! Не-ту! Они вымерли как класс! И как бы Шурка не напяливала на себя свои люминесцентные сережки, чтобы медузой фосфоресцировать по ночам – ничего у нее со мною не прокатит! И не трогай меня со своими каштанами...

– Ну, ты загнул! Баб полное побережье! И каждая по первой команде готова к спариванию, ну просто мухой прилетит в твой домик с красными башенками!

– А мне не надо полное побережье. Мне одна нужна.

Ихтиандр только ухмыльнулся и провернул головой, точно его куснул богомол.

– Тогда разуй глаза и посмотри вокруг! Вон-вон смотри, сиськи круглые какие!

– Аха. И нос торчит как у вороны!

– А эти ножки. Или вот. Вот то, что надо. Бедро прям гитара!

– Скорее балалайка! Да ну тебя! В женщине должна быть... мелодия. Песня! Информация сконцентрированной в одном файле всей генетики превосходства красоты!

– Ну ты загнул! Типа того что, кто владеет информацией, тот правит миром?

– Глупец! Все, что нужно мужчине, – это женщина. Одна женщина. Все остальное...

– Шаурма! Кукуруза горячая! Чхучхелла! Холодное маррррроженое!

Оба засмеялись.

– Вот, Шурка сама подсказала, – широко оскалил в улыбке зубы Ихтиандр, показывая самый крайний золотой зуб, сверкнувший на солнце, – ладно, хватит прятаться, подобно крабам, в тени. Пора ловить клиентов. Раз Шурка вышла, значит, и они родимые с обеда сейчас потянутся. Кстати, ты подумай насчет той тени от каштанов, мы могли бы ее продать, как випзону? Мои 50 процентов, за идею. Нет? Ну, ты все-таки подумай...

Ихтиандр ловко встал, точно и не валялся с томными глазами полудохлого кота, завел водяной мотоцикл «Юмаху», дал ему прогреться и, выжав рукою полный газ, шуранул за буйки на зависть выползшим на послеобеденное солнце отдыхающим.

Шурка шумно прошкандыльбала в своих гриндерсах по гальке. Артур нахмурился и всем видом показал, что вести разговор не намерен.

Ну не нравилась она ему. Или возраст подошел, когда достигаешь, подобно электрическому чайнику, точки кипения. А потом – шелк! И пошло остывание интереса ко всему на земле. И то тебе не так. И это не эдак. Суп без удовольствия. Секс тоже. Но пугало Артура то, что напрочь потерял он интерес к деньгам. Казалось бы – сиди на лаврах и на своем бизнесе и в ус не дуй. Считай бабки. Достиг всего, чего хотел. С нуля! Первую бутылку сдал в киоск в 4 года! С того и начался его бизнес. Что только не делал. Куда не залетал. Крабов ловил. Пилил можжевельник. Строил для «новых» и для «русских». И все как-то копилось беззаботно. Да. Наверное, везло, раз к сорока годам владел он и огромным куском пляжа, красивым домом для себя и еще одним попроще, где нанятые работники содержали в порядке гостиничный бизнес. И здесь, в морском клубе, его уважали. Тачка крутая. Три мотоцикла водяных и катер. А душа петь перестала. И ни на одной женщине не останавливался глаз. Разодетые модницы с пустыми глазами, в которых обозначались только извилины доллара, вызывали чувство тоски по Прекрасной Елене, ради которой можно было бы и деньги зарабатывать и дворцы возводить, а если надо, и войной на другое государство пойти. Вот тоже размечтался. Зачем ему война?

– А прокатиться на мотоцикле сколько стоит? – подошел какой-то паренек.

– 500 рублей 5 минут, – равнодушно ответил Артур. – Первый раз? Тогда с инструктором. Щас он вернется. Прокатит.

Но паренек ушел, наверное, был не готов к такой сумме. Зато, широко рассекая волны, помпезно причалил Ихтиандр и со словами: – Стопудово пойдет работа. Я к берегу близко подходил. Такие фердибоберы выделявал: мама дорогая! – спрыгнул в прибрежную волну.

Тем временем Шурка, по собачьи угодливо улыбаясь и заглядывая в глаза поджаристым человечьим тушкам, проворно опрастывала корзины от товара. На ступеньках соседнего пляжа все было занято семейными парами дома отдыха под названием «Морской волк». Скорее всего, это было какое-то ведомственное учреждение. Народ кормился в столовой по режиму. Был как всегда сыт. И тупо сомневался, брать что-либо или не брать.

Ее окликнул солидный мужчина:

– Уважаемая! Будьте добры, пожалуйста, вот это красненькое, что у вас

в корзинке.

– Это чхучхелла.

– Да. Вот эту «чучелу» и мороженое для дамы. Как вас звать?

– Шура.

– Шурочка! А сдача будет?

– Будет. Будет. Все у нас будет! – ответила Шурка, с нескрываемым злорадством поглядывая на даму в слишком выцветшем купальнике.

Однако дама не обращала на вызывающий взгляд Шурки никакого видимого внимания, ждала, когда торговка покинет их негласно обозначенное пространство. А когда ушла, сказала:

– Я не хочу мороженого.

– Лен, почему сразу не сказала? – спокойно спросил мужчина.

– Она на меня не так посмотрела.

– У, – многозначительно ответил он. – Чего же ты хочешь?

– Ну, можно было бы на мотоцикле покататься.

– Ты хоть на велосипеде-то ездила?

– Ездила, – отрезала Лена, достала деньги из своей сумочки и направилась по гальке в сторону катерного клуба.

– Смотри, то, что надо! – указал на Лену Ихтиандр, имея в виду зажатые в руке бумажки.

– Дей-ст-ви-тель-но ТО... – медленно произнес Артур, по инерции ища недостатки и не находя.

На него от солнца шла женщина его мечты. Прямо по солнечной дорожке, по до боли искрящейся бликами гальке. Ни полная. Ни худая. Ни молодая-незрелая. Ни трухляво-увядающая. А в самом соку. Точно полный изящных форм лотос, раскрывшийся и наслаждающийся своей силой. Такая, как надо. Некрашенные волосы цвета молочного какао со светлыми выгоревшими прядями рвал ветер. Она, казалось, не дышала совсем. Шла, точно плыла, перебирая ножками по острым неудобным камешкам плавнее самой непригнуженной кошки.

Ее обогнали.

– Поехали! – протянул деньги паренек Ихтиандру.

– Прогреется и поедет.

– А можно с инструктором? – спросила женщина.

– Придется подождать, – оценивающе прищурился Артур, – но с инструктором дороже.

– Не дороже денег, – отвернулась к мотоциклу Лена.

Артур невольно оценивал ее внешний вид сзади. А Ихтиандр поднял брови от резкого ответа клиентки, боясь, что та передумает. Но женщина снова повернулась к Артуру, неожиданно взглянув на него невероятно чистыми

цветками цикория, и почти миролюбиво доверчиво зашептала:

– Я никогда не каталась даже на велосипеде. Боюсь, что без инструктора я утоплю вашу посудину.

– Хорошо. Поедешь со мной, – Артур давно не возил клиентов, и у Ихтиандра снова брови взлетели вверх. Однако он, ничего не сказав, развернул мотоцикл с парнишкой и плавно вышел в море.

Артур включил таймер, который по истечении пяти минут должен был запикать на руке инструктора. – Тебя как зовут?

– Александра! – не успев ответить, услышала Лена, невольно удивившись, увидела совершенно преобразившуюся вдруг Шурку. На продавщице был синего цвета металлический яркий купальник с юбочкой, в руках белоснежное санаторное полотенце.

– Хотите мороженого? Шурка! Принеси два эскимо! Мухой!

– Вот еще! У меня перерыв! – ревниво окатила Шурка Лену своими кашечными глазками и, демонстративно бросив у трапа полотенце, плюхнулась в воду.

– С характером, – ухмыльнулась Лена.

– Тут мороженое постоянно тетки носят.

– Я не хочу мороженого, – улыбаясь, повторила Лена.

– Тогда вам нужно надеть спасательный жилет.

– Все так серьезно?

– Вы же будете за рулем! А если резко затормозите, или повернете, нас обоих выбросит за борт.

– А мотоцикл?

– У него управление ручное, а не ножное. Как только леди покидает автомобиль, он...

– Двигается с большей скоростью? Типа, баба с воза, кобыле легче?

– Да нет. Он останавливается совсем, – засмеялся Артур, – и ждет, пока утопающий не достигнет его прекрасного лона.

– Ясно. Что надо делать?

– Просунуть руки вот в эти отверстия.

Если бы Лена знала, сколько в этих сильных мужских руках было женщин, она бы просто не поняла, почему так неловко ей надевали спасательный жилет, боясь фиксировать на груди застежку. Жилет оказался тесен. Пришлось расставлять ремни. И Артур вспотел, как мальчишка на первом свидании.

Тем временем таймер запикал. Мотоцикл вернулся к причалу.

Лена замешкалась в нерешительности, наблюдая, как Артур, смело сбросив шлепанцы, прошел по воде к машине. Потом все-таки разулась и вскарабкалась на мягкое сидение «Юмахи».

Удобно устроившись, она попробовала руками педали управления. Ар-

тур сел сзади, как ей показалось слишком близко. Отодвинулась деликатно. Но сидеть на водном мотоцикле, слипшись телами, требовала техника безопасности. И Артур уверенно и бесцеремонно снова придвинулся, и руки его кольцом обняли Лену.

Очутившись в неожиданном плену, Лена приняла это как обязательное условие поездки, и тут же перестала думать об их невольной близости. Ее взгляд устремился в бесконечное мерцание волн. Мозг заклинило необъяснимое озорство. Руки сами выжали полный газ. Юаха вспрыгнула и, ударяясь на каждой волне, поперек течения полетела в противоположную сторону материка. И лишь первые брызги резко ударили в лицо, Лена завизжала так, что ее стало слышно на всех пляжах одновременно. Она больше не боялась. Чувство страха преобразилось в неопиcуемый восторг. Волны били ей в лицо снова и снова. И она снова и снова верещала, как девчонка.

– Левее! – подсказал Артур.

И Лена пошла по волне. Она поймала волну, гордая собою, почувствовала рядом мужскую надежность и снова нажала на педаль. Быстро освоив нехитрые приемы, Лена пробовала все новые и новые виды катания на волнах.

А с Артуром вообще творилось что-то невообразимое, скорее похожее на волнение от бушевавшего недавно в Широкой Балке тайфуна. Стихия завладела всеми его нервными окончаниями. Адреналин ударил в голову оттого, что рядом сидело беззащитное восторженное существо, визжащее от счастья при каждом захлестывании волной. И он вспомнил, что также, да именно также верещал, когда впервые в детстве угнал водный мотоцикл, оставшийся без присмотра. И он понял ее через себя, через свое воспоминание, когда он был совсем ребенком, и полюбил ее в себе, точнее себя в ней. Ах, теперь это было и неважно. Он понимал, что она – сидящая впереди женщина, которую он так и не разглядел, как следует, и есть та самая единственная, о которой были все его мечты и надежды.

Лена попыталась повернуть, но сделала это слишком плавно, по-женски, боясь, что мотоцикл сбросит их обоих. Сбавила скорость.

– Что? – спросил Артур, почувствовав, как тело ее расслабилось.

– Устала, – призналась Лена, – теперь вы.

– Ты хочешь, чтобы я порулил?

– Угу.

– Не боишься?

– Теперь нет.

Артур перехватил управление, и люди на берегу снова подняли головы от лениного визга, потому что мотоцикл стал показывать небывалые фокусы. Он резко тормозил и поворачивался, крутился по кругу, потом снова рассекал водные «забучные» просторы, недоступные для отдыхающих при-

езжих. Только что не нырял! Вокруг летели мириады брызг, образовались полукружья белых пенных волн. Лена снова вся съежилась, превратившись в один сплошной напряженный комочек, боясь в любую минуту оказаться за бортом и вцепившись в рукоять «Юахи».

Тут снова запикал таймер. Пора было возвращаться. Но Артур не торопился. Мокрые от соленой морской воды, они оба тяжело дышали. Машина замедлила ход. Море было настолько чистым в эту минуту, что каждый камешек, каждую рыбку было видно на глубине 8–10 метров. Лена залюбовалась морским дном. А он нагнулся ближе к уху. Боже мой! Сколько капель было в иссиня Черном море, а ему хотелось пригубить ту, которая блестела на этом ушке!

– Приходи!

– Что?

– Приходи еще!

Она сначала не поняла. Потрясение от поездки было слишком велико, чтобы слышать шепот. Чтобы понимать голос мужчины. Наконец, когда уже мотоцикл достаточно близко оказался у пирса, она спокойно ответила:

– Я не приду.

– Нет. Ты не поняла. Денег не надо. Я буду катать тебя, когда захочешь и бесплатно. И яхта у меня есть, и дом есть. У меня все есть. Придешь, моя Александра?

– А если я не твоя Александра?

– Все равно приходи! До какого здесь?

– Еще 12 дней.

– Я буду ждать.

Она соскочила на мостки, сняла жилет. Помедлила и, не выдержав, сказала:

– Было здорово! Спасибо! Все-таки мотоцикл – это такая прелесть!

– Я знаю, – ответил Артур вместо прощания.

Ему не хотелось, чтобы Ихтиандр видел его смущение, и чтобы видела Шурка, и чтобы это вдруг разгадал кто-либо из отдыхающих. Артур скрылся в помещении клуба, взбежал по лестнице, взял бинокль и уставился на Лену в окно.

Вот она прошла обратно по солнечной гальке встречь Солнцу. Богиня! Невозмутимо легла рядом с каким-то мужиком. Ну, правильно! Не одна же она приехала сюда отдыхать. Это Шурки пускаются в одиночное путешествие, балалайки там всякие, или как там их обзывает Ихтиандр – гитары! А эта... не такая. По губам понятно, что Александра ему сказала. Он спросил: «Как прокатилась?» Она ответила: «Хорошо!» Легла. Загорает. Прямо на гальке. Не берет у нас лежак. Денег жалко? Купальник на ней старенький.

Выцветший совсем. Платьце рядом невзрачное. Да я ее одену, как королеву! Одно слово! В брильянтах ходить будет! Что же он так немногословен с его Богиней? Дай-ка я его разгляжу. Ничего. Нормальный мужик. Седина только на висках, как и у меня. Но он явно постарше. Серьезный. Наверное, муж. Был бы дружок какой, он бы не лежал тюфяком рядом. Что же делать? Подойти? Украсть в свой замок? Так ведь не пойдет. Сказала – не приду. Что это значит? Придет или нет? Как же понять эту женщину?

– Ты что, сам с собой беседовать стал? Запал на москвичку? – вдруг заметил подошедшего Ихтиандра Артур.

– С чего ты взял, что москвичка?

– Деловая колбаса. «Не дороже денег!» Сам же слышал.

– Я ее позвал. Сказала, что не придет.

– И что?

– Не знаю, что.

– Ты что, на нее круто запал, что ли?

– Ну, запал. А толку?

Солнце уже садилось в расплавленную морскую медь вечерних новороссийских пляжей, когда Лена со своим спутником как по команде встали, оделись и молча пошли в сторону профилакториев. Не отрываясь от бинокля, Артур бросил через плечо Ихтиандру:

– Все. Тронулись. Посмотри, где она и с кем. Короче, узнай все.

– Легко!

Через час в бильярдной было проведено небольшое совещание. В нем участвовало только трое: Артур, Ихтиандр и старый дедок Дрында, бывший зек, а теперь взявшийся за ум и просто побирающийся на ступеньках ночных ресторанов. Ихтиандр выкладывал добытую информацию:

– Она в «Морском волке». Это семейный дом отдыха. Муж профессор. Фамилию глупее не придумаешь: Ивановы. Отбывают двадцатого утром. Поезд, скорее всего Московский экспресс. Я же сразу сказал, что она москвичка!

– У нас еще есть время.

– Есть, но мало, – замялся дедок.

– В смысле?

– В смысле в том, что никакого смысла нет тебе за ней убиваться. Забудь. Уедет она. И все!

– Ну, знаешь, Дрында, давай без таких советов. Мы тебя позвали по делу. Ты напротив палаты можешь забраться, посмотреть, что они там и как?

– Вот глупости придумал! – засипел старческими смешками Дрында, – сам лезь смотреть за тем, как муж с женою в секос играют. Эти зрелища не для нормальных глаз. Мой один знакомый генерал говаривал, покойни-

чек, – секс с женой должен быть коротким, как выстрел, чтобы хватило время на отдых!

Ихтиандр заржал. Артур нахмурился:

– Тогда заберись в номер, когда они уснут. И возьми что-нибудь. Необходимое – мобилу, часы, фотик...

– Я завязал! – испугался дед.

– Да, ты не понял, старый! У меня будет причина подойти к ней утром и вернуть эту вещь.

– Не, ребята... – отказывался Дрында... Но, увидев деньги, сдался. Деньги взял. Пересчитал. Аккуратно положил в левый кармашек рубашки.

– Я вот думаю, лучше бы тебе в долину лотосов съездить. Имя ее в расцветший цветок прошептать. Тогда и будет она твоя навеки!

– Бредовая идея за еще более бредовой! – скрестил руки на груди Ихтиандр, – если бы было все так просто – не было бы на земле несчастных влюбленных! Лучше уж я на самую глубину сплаваю, окуная ей добычу! Или кефалей наловлю к ужину, а Артур подарит! Нет?

– Да ты не скалься своей фиксой! Верное дело, говорю, – обиделся Дрында, – ну ладно, как хотите, я пошел. Ждите, как заснут, принесу что-нибудь. Я ловкий. Сами знаете.

Дрында сдержал слово. Через три часа, когда супруги заснули безо всякого «секоса», он аккуратно по балконам проник в номер и взял с тумбочки маленькие женские золотые часики.

Сердце Артура бешено забилося, когда он ощутил эту прелесть у себя в руке! Он выдал Дрынде дополнительный гонорар, поскольку вещь оказалась дороже предполагаемой суммы, и всю ночь не мог заснуть, предвкушая свидание с Александрой.

А утро было совершенно необыкновенным. Солнечные лучи переплетались ветром и полосатостью облаков в причудливых сетях, точно золотым каркасом божественной инфанты, поддерживая небосвод. Эта небесная арматура казалась прочнее любой утренней мечты капризной красавицы. Читал ли Артур Александру красавицей? Нет. Она просто была той самой. И все. Той, которая нужна. Ведь мы не думаем, красив ли воздух, когда им дышим, красив ли хлеб, когда его едим.

Артур взял тетрадь и написал:

«Александра! Я ждал тебя всю жизнь и теперь вознагражден сполна! У меня есть все. Но в этом во всем не было тебя. Я посажу тебя посередине своего замка. Наряжу в самые тонкие шелка и лучшие меха. Одену в бриллианты. Уезду в любую точку Земли, куда пожелаешь. Приходи! Я жду каждый день. Каждый час. Каждую минуту. Как найти меня, ты знаешь. Артур»

Потом оторвал листок, сложил несколько раз так, чтобы он уместился в руке вместе с часами и стал ждать.

Ждать пришлось долго. Очень долго. Наверное, так долго ждать ему еще не приходилось. Ждать. Ждать. Солнце медленно набирало силу. Жарило колени. Впивалось в плечи. На лице Артура, и так уже достаточно загорелом, обозначились резкие белые русла морщинок. В зеленых глазах морскими водорослями отражалась тоска. А он все ждал, пока Александра появится на старом месте. Рабочая группа инструкторов и работников базы самостоятельно без его указаний делала обычную утреннюю работу. Очищала пляж от прибывших за ночь случайных водорослей и мусора. Ихтиандр собирал бутылки. Этот парняга ничем не брезговал, чтобы заработать лишнюю копейку. Артур захотел было улыбнуться, но губы не раздвинулись. Не смог. Он был таким же когда-то. Что изменилось? Повзрослел?

Наверное, взгляд Артура заставил Ихтиандра подойти ближе и сказать вполголоса, чтобы никто кроме них не слышал:

– Ты ее не там ждешь. Она со своим профессором ушла на соседний пляж, откуда Шурка мороженое таскает.

Это прозвучало как гром среди ясного неба. Артур, забыв поблагодарить, чуть ли не бегом рванул на соседний пляж. Он был в плавках. И мало чем отличался от отдыхающих. Пожалуй, только ровностью загара да какой-то заметной на первый взгляд надежностью фигуры. Ему надо было опередить Шурку. И он ее опередил. На соседнем пляже Артур увидел предмет своей мечты. Лена лежала на арендованном лежаке, что его немного задело. Ведь он мог бы ей дать лежак бесплатно – лежи сколько хочешь!

Второго лежака рядом не было. И мужа не было. Артур просто подошел и отдал часы и записку. Наклонился низко и прошептал придуманный обман:

– Я сегодня ночью был у вас. И поцеловал тебя спящую. Не заметила?

Сердце бешено стучало. Его видно было посреди ребер. Артур вернулся к своему причалу, не оглянувшись на бесконечно удивленный взгляд любимой женщины.

Лена быстро прочла записку. Улыбнулась куда-то в себя, как в собственный сбывшийся сон. Надела на руку часики.

– Ты же говорила, что потерялась? – спросил отходивший за минералкой муж.

– Нашла в сумочке...

– А что это за записка?

– Да какая-то бумажка валялась на камнях.

Мужчина прочел: «Александра!..», смял и бросил:

– Подбираешь все подряд! Муха-подбирауха!

– Водички дай! – перевела разговор Лена на другую тему. Попила. И снова невозмутимо легла загорать.

– Маррррроженое! Пламбирррр! – подходила к ним Шурка. Одета в соломенную шляпу, новый белый передничек в красный крупный горох, красную юбку и неизменные гриндерсы, она была уверена, что парочка снова купит что-нибудь. – Эскимо на палочке для пррррекрасной дамочки! – Шурка подошла и откинула жаркие черные волосы с плеч в готовности наклониться за порцией чхучхеллы.

– Спасибо, нет! – ответила Лена.

А Артур ждал. Подходило время обеда. Но никто не приходил кроме Шурки. Даже заказчики на мотоциклетное катание куда-то подевались. Пару раз дразнил лежащие на камнях колоды отдыхающих своими водяными выходками Ихтиандр.

Ивановы пошли на обед и снова долго не появлялись на пляже. Артур смотрел во все стороны, ожидая увидеть Александру где угодно. Она появилась с мужем ненадолго, в своем выцветшем коротком платьице, совершенно не портившем стройную фигурку, и снова удалилась в дом отдыха «Морской волк».

А следующий день вообще поверг Артура в бешенство. Ивановы не появились совсем. Нигде их не было на побережье. Пришлось снова вызывать Дрынду для совета. И снова тот плел байки про лотосы. Сказав, впрочем, и пару слов путной информации, что сегодня, возможно, день экскурсии, и ждать ее до вечера не стоит:

– Ну что ты сидишь и глядишь, и ждешь с моря погоды? Представь, что она статуя! И тепла в ней к тебе нет ни капли! Это только греки на красивые статуи сидели и смотрели, у них потом, якобы дети от этого красивые рождались. Так ведь то греки...

Артур наказал Дрынде следить за москвичами за небольшой гонорар. И докладывать, где они и что делают. Дед с радостью согласился.

Так Артур узнал расписание экскурсий в доме отдыха «Морской волк». Узнал и то, что теперь двери интересного ему балкона наглухо запирались и закрывались шторами на ночь.

Следующие несколько дней мало отличались друг от друга. Ивановы приходили после завтрака. Он загорал в тени. Она на солнце. Волосы ее светлели с каждым днем. Она молодела, вбирая в себя йодистый воздух моря и гор, пропитанных морем. Тело ее приобретало приятный шоколадный оттенок. Казалось, она не думает вовсе. Точнее, запрещает себе думать. И задача ее, в которую Артур никак не вписывался, – просто отдохнуть.

К обеду супруги удалялись. И к четырем часам снова возвращались на пляж на свои места. Потом уходили на ужин. А после ужина бродили

по соседним пляжам.

В один из таких дней Артур воскликнул:

– Все! Он ушел! Вон, погляди, торчит башка в море, как заноза!

И Ихтиандр по просьбе Артура подошел к Лене и со словами:

– Подарок от фирмы! – протянул связку свежих кефалин, блестящих серебром.

Она поднялась на локтях, улыбаясь Ихтиандру:

– Вы так любезны, право, неудобно. Видите ли, мой муж очень любит рыбу, но у него на нее аллергия. Я тоже люблю, но не хотелось бы его дразнить. Так что предложите ее лучше кому-нибудь другому. Спасибо.

Не солоно хлебавши Ихтиандр вернулся в клуб, тихонько матерясь под нос, не зная, что говорить Артуру. Как и предполагалось, тот здорово расстроился. В это время супруги о чем-то горячо беседовали. Ихтиандра сегодня уже видели. Пришлось посылать Дрынду с мобильным телефоном, чтобы записать разговор.

Дед подкрался незаметно и включил кнопку записи:

– Фотография и живопись в Германии обозначают уже давно одно и то же.

– Борис! О чем ты? Если ты считаешь живописью то, что продается на пляжных развалах с надписью «Из Геленджика для любимой бабушки» – тогда да. А как быть с Айвазовским? Я имею в виду его великие полотна, как «Девятый вал» или «Среди волн»? Попробовал бы любой накрученный папарацци сделать снимок вот такой волны, где световая сила луны выхватывает все морские глубинные оттенки черноты и прозрачности бирюзы, изумруда, мергеля, агата и аметиста самой чистой воды?

– Ты сравниваешь воду с драгоценными камнями? А почему бы тебе в таком случае не попробовать что-то сделать в уральском стиле? Вернисаж забит наклеенными на фото осколками разноцветных камешков...

Лена сверкнула белоснежными зубами:

– Лучше масла в живописи еще никто ничего не придумал. Это – нетленка. Все остальное – декоративное ремесленничество!

– И фотография?

– И фотография. И знаешь почему?

– У?

– Айвазовский писал свой потрясающий шедевр, когда ослеп. А до этого он часами глядел на волну и просто пытался понять, чтобы потом одним дыханием кисти изобразить ее лик. Это как лицо счастья, его нельзя сфотографировать! Живой лик неодушевленного предмета...

– Все равно написать мертвую волну проще, чем живой взгляд живого глаза.

– А ты попробуй!

– И не подумаю. И Ван Гог и Айвазовский были бедны перед смертью, не смотря на свою гениальность и очевидную нужность! – отбивался Борис.

– О том, в чем бедность, а в чем богатство, ты, как профессор философии, можешь часами говорить со своими студентами и потрясать их идеями общечеловеческих ценностей. Но скажи! Просто и откровенно! В чем богатство твое? И в чем мое? В чем богатство Шурки, продающей мороженое? Или даже владельца ресторана? Банка? Достаточно ли каждому из нас нашего богатства? И ты ответишь себе – нет! Не достаточно! Хотя, каждый хотел бы перед смертью, как ты говоришь, быть настолько «богатым», как Ван Гог!

– Ты всегда забредаешь в такие дебри, что лучше, я думаю, их распутает ужин. Кстати, надо напомнить в столовой, чтобы нам дали сухой паек для завтрашней экскурсии...

Телефон зазвонил. Пришлось Дрынде отключить запись и вернуться к Артуру.

– Завтра у них экскурсия, стало быть, весь день их завтра не будет на пляже, – единственный вывод, что понял дед из разговора, сострадательно сморщив щеки у глаз, – ты бы не изводил себя, поехал на лотосы, а то отцветут...

И Артур поехал.

Серебряный Мерседес легко летел по знакомой дороге на Анапу. За окнами мелькали облезлые пирамидальные тополя, крысиными хвостами направленные в небо. На обочинах дорог крестьяне продавали арбузы, яблоки и виноград. Был бы он помоложе, можно было бы забить багажник этими дешевыми арбузами по три рубля за килограмм и продать в четыре раза дороже на пляже через ту же Шурку. Но теперь в том не видел он ни малейшего смысла.

Пересев на катер, он снова ждал, пока канал вынесет его к вождленному озеру с легендарными цветами. Его раздражали отдыхающие, фотографирующие все подряд, невольные соседи по катеру. И лишь озеро лотосов заставило успокоиться. Он отделился от группы экскурсантов. Выбрал самый красивый цветок. Доплыл до него весь в грязи и тине. Долго смотрел в желтое солнечное лоно. Несмело прошептал: «Саша! Сашенька! Александра! Аленькая моя! В моем сердце только ты. Ты одна. Люби меня всегда! Прошу тебя! Тебя одну! Мне никто не нужен, кроме тебя! Александра!»

Артур бережно поцеловал твердую сердцевину громадного царственно-го лотоса. Его розовые лепестки вздрогнули от неожиданности, но остались такими же упругими.

Всю дорогу обратно Артур думал о розовом цветке и о ней, той женщине, которая завладела его сердцем.

И вечером она прошла совсем рядом, не глядя на гальку под своими ногами, взгляд ее сосредоточенно сканировал горы и море, и прибрежные волны и, как это называется, «витал в облаках».

Женщина, конечно, была не одна. И Артур, конечно, не подошел. И ничего не спросил.

Он так и остался сидеть на камне и смотрел ей вослед. Смотрел без усталости. Он уже мог по памяти в любую минуту воспроизвести все контуры, оттенки цвета, движения, голоса, запаха, линий, из которых она была так хорошо сложена. Как слиток золота, он отыскивал ее среди людского песка и выделил, и мысленно присвоил, приблизил и отдалил одновременно, точно вырезал из бытия, называя в уме не иначе как «Моя Александра»...

– Кофе хочешь? – спросила подошедшая Шурка.

– Хочу.

– Пойдем, напою.

Артур в первый раз зашел к Шурке. Та снимала однокомнатную квартирку. Пока Шурка готовила кофе, Артур разглядывал единственную картинку на стене. Выданный из лакового журнала разворот был приколот булавками к стареньким обоям. На фотографии ночное небо современного большого города. Огни реклам. Из шикарной блестящей машины прекрасная дама высунула ножку в чулочке со стрелкой и туфельке на высоком каблучке. Руку ей подает красавец мужчина...

– Это твоя мечта? – спросил Артур.

– Как ты догадался? – ответила Шурка, разливая кофе со своей обычной собачьей услужливостью.

– Ты мечтаешь о богатстве?

– Кто о нем не мечтает?

– А как насчет счастья? – допытывался Артур. Шурка его не понимала.

– Какого счастья? Вот счастье! Он и она. Машина! Она как королева в чулочках, блин, на каблучках! А я? Ношусь по пляжу в гриндерсах! Попробуй каблучки надеть! Ноги сломать можно по этой гальке!

– Шурка! Какая ты еще глупенькая! Посмотри! Нет, ты посмотри на ее лицо! Ей же там плохо! Ей же не нужно все то, в чем она сидит! Ей нужно другое!

– Что другое? – совсем опешила сбита с толку Шурка.

– Ну, например, покататься на водяном мотоцикле. Тогда лицо ее будет счастливым!

– Хорошо тебе говорить. У тебя все есть. И машина. И мотоциклы...

Артур вздохнул, вспомнив о лотосах.

– Погладь меня, – вдруг попросила Шурка.

– Пусть тебя мальчики глядят. Поздно уже. Пора мне.

Шурка обиделась. Демонстративно разделась. Легла.

Артур вышел, прикрыв дверь.

Он мог бы сейчас пойти в Дом отдыха «Морской волк», поиграть в бильярд, например, но что-то не давало ему это сделать. И он уснул прямо возле причала, обернув лицо ко млечному пути.

Во сне Артур увидел то же небо. И те же звезды. Только звезды вдруг выстроились в какое-то знакомое имя. Артур проснулся от цвиркания саранчи. И сердце также почти слышимо цвиркало в груди от желания приблизить неприближенное. Он и хотел вспомнить имя, приснившееся только что, но не мог.

Все утро, весь день и вечер он разглядывал в бинокль ту, что не давала ему покоя...

А к ночи пришел старик Дрында за расчетом.

– Все. Завтра они уезжают.

– Как завтра?

– Я подслушал, когда сидел у столовой.

– Но она же говорила, двенадцать дней!

– Вот и прошло уже!

– Ой, блин! – Артуру было так горько, что он не мог объяснить ей, как нужна она ему! Так обидно. – Хорошо! – резко встал он. – Пусть уезжает. Все! Вот, получи тебе, на деньги. Иди, Дрында! Иди!

Но Дрында не уходил. Да, Артур и не замечал старика в своем горе.

– Пусть катится в свою Москву. Пусть спит со своим профессором! Пусть сдохнет там от своей скуки! Пусть делает что хочет! Я к ней всем сердцем! Как королеву ее одеть хотел! Подарками осыпать! Как царица бы жила, глупая!

– Да, а может она и живет, как царица, ты же не знаешь! – вставил дед.

– Царицы по домам отдыха не ездят. Они все по Канарам, по Египтам! Нужна им наша галька! Дед! Как же она меня обидела, дед!

...Ивановы с утра ранешенько взяли такси и поехали на железнодорожный вокзал. Хорошо, что Дрында по привычке своей заметил в отъезжающей машине знакомые лица и бегом побежал к Артуру.

Тот собирался недолго. Завел машину и через полчаса был на месте. Но как он ни искал, как ни звал, не мог найти в толпах отъезжающих пропажи.

Поезд подали практически за час. Лена с супругом спокойно заняли свои места в купейном вагоне и поглядывали в окно.

– Александра! Александра! – раздавалось на перроне.

– Кто-то потерялся, – заметил профессор.

– Да, наверно, – Лена заглянула в окно и увидела бегающего по перрону

Артура. Он заглядывал в окна, оборачивался на всех светловолосых женщин.

Горло ее сдавило. Глаза сузились.

– Что с тобой? Ты прямо чуть не плачешь!

– Да вон, человек бегаёт, не знает, как найти свою Александру.

– Ну и что?

Лена вздохнула:

– У тебя нет сердца.

– Нет, – согласился профессор, – зато у меня есть печень, селезенка, щитовидка. Больная, между прочим...

– Да-да, я в курсе...

Поезд тронулся. А Лена прикрыла глаза и легла. Ее покачивало, словно на морских волнах.

На станции «Крымская» продавали персики, вареную кукурузу, лепешки. За останавливающимися вагонами бодро топала старуха, нагруженная с двух сторон корзинами, наполненными баночками меда. За нею по эллипсу выписывали траекторию довольно крупные осы. Но старуха совершенно не обращала на них внимания.

Ее высушенное тельце, прикрытое чистеньким платицем, напоминало ожившую мумию. Остро торчал нос. Выжидательно в пассажиров вглядывались глаза, и было в их карей преданности что-то Шуркино.

– Вот если бы ты осталась с тем инструктором по мотоциклам, – сказал неожиданно Борис, – ты через некоторое время ходила по перрону и продавала «чхучхеллу».

Он нарочито выговорил это трудное слово с прекраснейшим кубанским акцентом, показывая, что понимает всю игру случайно вспыхнувших южных отношений. Но Лена невозмутимо ответила:

– Я не думаю, дорогой, что такого уровня художники, как я, есть в Широкой Балке, да и на всей Кубани. Это в Москве я затерялась. Но, поверь, не надолго. А здесь в худшем случае лет эдак через десять уже был бы музей с моим именем.

– А в лучшем?

– А в лучшем всю Широкую Балку бы переименовали, ну так скажем в одну из моих работ...

– От скромности ты не помрешь, – улыбался профессор.

– Я вообще не помру – останусь в своих произведениях. Я бессмертна, – снова пошутила Лена.

...Артур не верил, до последнего не верил, что она уедет.

Она уехала.

Он вернулся в Широкую Балку. Вытащил с пляжа Шурку. Оторвал от на-

труженных рук корзинку с мороженым, решительно снял с нее передник продавщицы.

– Едем!

– Куда?

– В Геленджик!

– Зачем?

– Там шмотки круче!

Он купил Шурке красивое платье, как на той картинке. Туфли с высокими каблукками. И чулки со стрелками. Они поужинали в самом дорогом ресторане. И чаевых оставили официанту столько, сколько Шурка зарабатывала за день на пляже. А когда огни ночного города загорелись во всю мощь, он остановил «Мерседес», открыл дверцу, подал руку.

Шурка вышла, хихикая от восторга, ведь он все время называл ее официально полное имя: моя Александра!

– Теперь ты счастлива? – спросил он, глядя на обожравшуюся омарами подружку с острой жалостью, которую легко можно было спутать с любовью.

– Да!

Ночь они провели у него. А утром Артур долго катал ее на водяном мотоцикле. Ожесточенно стиснув зубы от обиды, он выделял такие фокусы, какие никому на всем побережье не были под силу. Но Шурка не пискнула даже тогда, когда они ударились боком о встречную волну, лишь произнесла:

– Оп, твою мать!

...Через год у Шурки родилась девочка, не похожая ни на Артура, ни на Шурку. Зато как две капли воды похожая на Лену. При темноволосых родителях ребенок всем казался ангелом, потому что выбрал для себя из ветвей капризной генетики ген белокурости и чистых синих глаз, расцветших на лице цветиками цикория. Артур души не чаял в дочери. А Шурка и по-прежнему.

Девочку назвали Еленой. Так посоветовал Дрында.



Тамерлан Тадтаев

Южная Осетия

Родился в Цхинвале. Служил в рядах Вооруженных сил СССР. Участник грузино-осетинской войны. Награжден медалью «Защитник Отечества». Публиковался в журналах «Дарьял», «Вайнах», «Дружба Народов», «Нева», «Бельские просторы»; в газете «Литературная Россия», «Независимой газете». Участник Форума молодых кавказских писателей (Нальчик, 2008 год) и Форума молодых писателей в Липках (Москва, 2008 год). Участник сопротивления грузинским агрессорам 8–10 августа 2008 года.

Трубка мира

Диана

Я перекинул с компьютера на дискету несколько своих рассказов и придумался. Чтоб их распечатать, нужно сходить в Интернет-клуб, а в кармане ни гроша. Матушкина пенсия давно профукана, а своих денег у меня уже давно не было. Может, у отца попросить? Но в прошлый раз, когда я просто намекнул ему о своем безденежье, старик пришел в ярость.

– Пусть тебе заплатят те, за кого ты воевал! – орал он. – А на меня больше не рассчитывай! Ты давно уже не мальчик, тебе сорок лет! Подумай над этим! В твои годы я содержал не одну нашу семью!

– Значит, у тебя были любовницы, старый хрыч, а сейчас святым прикидываешься?

– Твое какое дело? Не на твои же деньги я покупал им тряпки и косметику! А теперь проваливай, ко мне должна знакомая зайти.

– А у нее нет молодой подружки?

– Ах, вот ты как? Издеваться надо мной вздумал, щенок?!

Старик схватил палку. Я не стал медлить и выбежал во двор. Оказавшись за воротами, я услышал сзади тяжелое дыхание и побежал вверх по Гизельской трассе. Папаша гнался за мной, и я спиной почувствовал, сколько в нем еще силы.

– Я ведь родину защищал! – оправдывался я, улепетывая и уклоняясь от сыпавшихся на меня ударов.

– Лучше б ты подох на войне! Меньше было бы забот! Ты для всех обуза!

– Я был контужен! Я был ранен, в конце-то концов, причем не однажды!

– Будь ты проклят дважды! Вот тебе мое родительское благословение!

– Спасибо за благословение, но ты мне больше не отец...

Я почесал спину и оглядел убогую комнатушку, которую снимала моя бывшая жена, вернее, ее хахаль. Из мебели тут был покосившийся стол – на нем старый компьютер – и поломанный стул. Спал я на полу. Говорят, спать на твердом полезно, но я так не думаю. Недавно ко мне залез вор, вероятно, по ошибке, и оставил на столе сто долларов. Правда, деньги оказались фальшивыми, но, кажется, этот добрый человек сам не знал об этом. Хоть бы он еще раз ошибся. Я даже двери перестал закрывать, чтоб братве легче было зайти и раскошелиться. Но вместо криминала в комнату вошел муж хозяйки квартиры. Это был крепко сбитый сорокалетний мужик с небритым лицом. Он сверкнул белыми зубами и предложил мне без вонии освободить помещение. Я сказал ему, что любовник моей жены по ошибке попал в тюрьму, но скоро выйдет и заплатит.

– У него прекрасный адвокат, – сказал я. – И минимум через год он снова окажется на свободе.

– Знаю, знаю, о ком ты говоришь, – догадался муж хозяйки. – Если этого маньяка оправдают, тогда я сам его замочу.

Он схватил меня за шкуру и поволок к двери.

– Ну хорошо, – смирился я. – Дайте мне хоть компьютер забрать.

– Компьютер останется в счет долга.

– А на чем я буду печатать?!

Он сказал, на чем.

– Я бы выдавил тебе глаза, будь у меня на руках пальцы.

– А что, у тебя нет пальцев? – удивился он.

– Нет, как видишь. Я потерял их на войне. В каждом бою я терял по пальцу. После этого я стал отчаянным, потому что нечего было терять.

– Плевать я хотел на твоё отчаяние и на твою войну; мне интересно, как ты печатал?

– Тукал по клавишам языком, но могу и носом...

– Ах ты, извращенец! Вот почему моя жена не хотела, чтоб ты съехал отсюда!

И он спустил меня с лестницы. Теперь я стал бомжем и не знал что делать. Было жутко холодно. Небо казалось свинцовым, а земля так замерзла,

что невольно вспоминался ледниковый период. Я боялся, что отморожу себе нос, и он отвалится, как у сифилитика. Пренеприятнейшая вещь, должно быть. Я оглянулся по сторонам: жизнь бурлила вокруг.

Я пялился на девушек, гулко стучащих по асфальту тонкими каблучками сапожков. «Как они прекрасны! – думал я, оглядываясь на них. – С каким достоинством они несут соблазнительную заднюю часть своего тела, и как упруги на вид их ягодицы, обтянутые потертыми джинсами». Я вспомнил дискету с рассказами. Да, надо срочно распечатать их, сдать в журнал и прославиться. Но где и как? Я вспомнил Алана, моего приятеля, с которым однажды зашел в какой-то офис, где работала его знакомая. Ее звали Диана. Она распечатала тогда мою первую пробу пера, и я тут же влюбился в нее. Любовь с первого взгляда. Кто не верит в нее, пусть обратится ко мне, и я объясню, как это бывает. Но кто я такой, чтоб любить такую красавицу, как Диана? Во время войны я нужен, а сейчас – никто. Ах, как это унижает. Кстати, офис недалеко, можно зайти и попросить Диану, если, конечно, она вспомнит меня. Надежды на это мало, но стоит попробовать. К тому же у меня нет другого выхода.

Я проходил мимо базара. Тут всегда многолюдно. Мне кажется, что люди ничем не отличаются от диких зверей. Толпятся там, где пахнет жратвой. Но у зверей законы намного справедливей. К примеру, волк не прикидывается овцой и наоборот. Бобры строят плотину без всякого жульничества. В лесу ли, в джунглях зверье чует, кто укусит, а кто сожрет. А у нас на всех смотришь с опаской, не зная, кто проглотит – чтоб он подавился, а кто укусит – чтоб без зубов остался, гадина. Но больней всего, как правило, жалят самые близкие люди. И еще у животных нет этих проклятых денег. Нищие, сидящие на тротуаре с протянутыми руками, будто примерзли задницами к асфальту. Ну чем не воронье, ждущее от хищников милости? Я старался не смотреть на них. Простите, господа нищие, я не богач, но, возможно, вам подадут, а мне нет. А знаете почему? Да потому что у меня нет пальцев. А при чем тут пальцы? Должно быть, мозги замерзли, раз в голове такая муть.

Перейдя дорогу, я оказался у «Копейки». Здесь за гроши можно было купить заморские шмотки, правда, не первой свежести. Окна секонд-хенда вспотели от алчного дыхания покупательниц. Из магазина слышался женский визг. Красавицы дрались из-за поношенных тряпок. Я прошел мимо «Копейки», поднялся по лестнице и долго топтался у входа в офис, набираясь смелости, вернее, наглости. А вдруг Диана пошлет меня куда подальше? Ну что ж, пойду тогда на базар и протяну беспалую руку. Зная наперед, что никто не подаст. Боже, как мне стыдно. Вспомнил, как на войне однажды мы хотели устроить засаду и сами нарвались на неприятеля, притаившегося

в колючих зарослях ежевики. Уму непостижимо, как грузины не изрешетили нас с такого близкого расстояния. Зато мы закидали гранатами трепетавшие от стрельбы кусты и благополучно вернулись обратно. Сюрприз, так сказать. Но почему я вспомнил об этом? Да потому, что сердце у меня тогда готово было выпрыгнуть из груди. Как сейчас? Вот именно. Но не на смерть же я иду; мне нужна всего лишь распечатка. Да, но ты неровно дышишь, когда рядом эта женщина.

Мимо проходили люди. Они с удивлением смотрели на меня. Еще подумают, что я террорист. Я открыл тяжелую железную дверь и вошел в офис. Охранники из-за окна своей каморки шупали меня взглядами. Что вылупились? Нет у меня бомбы! Я прошел узкий коридор и свернул налево. Кажется, вот эта белая дверь, гм... тоже из железа. Люди в последнее время стали пугливы. Железный занавес рухнул и разлетелся на множество мелких дверей, за которыми спрятались бывшие граждане могучего СССР. С плоских жидкокристаллических экранов на нас обрушили столько жуткой информации, что я нередко удивлялся тому, как мы еще не спятили. А может, мы уже безумны, но просто не знаем об этом? Порой мне кажется, что мы живем в мрачном средневековье. Скоро люди начнут копать рвы вокруг своих домов и наполнят их водой. Оденутся в латы и будут смотреть на мир сквозь забрала своих шлемов. Эй! Кто вас напугал? Чего вы так боитесь?!

Помещение, где работала Диана, напомнило мне кабинет в школе: офисная мебель, на столах компьютеры, у стен шкафы. Из зарешеченных окон справа, сквозь выбросы «Электроинка», пробивался свинцовый свет. Диана сидела за одним из столов и, поглядывая на монитор, стучала по клавишам. Я подошел к ней на ватных ногах и, поздоровавшись, начал что-то бубнить про Алана.

– Ах да, Кутя, – сказала она голосом, от которого я таял. – Как он, кстати? В каких местах обитает?

– Он в Лондоне, а я вот дискету принес. Может, распечатаете?

Я украдкой взглянул на ее красивые губы, которые улыбнулись мне.

– Ну, конечно, распечатаю, – сказала она. – Где дискета?

Из офиса я выходил с распечатанными рассказами в файле. Я был по уху влюблен в Диану (второе ухо мне отстрелили грузины). Но теперь я был крепко уверен в одном: ради нее я покорю весь этот сраный мир, как бы он ни оборонялся от меня.

Трубка мира

Маленький Тамук бежал в школу. Он был совершенно счастлив. Неделю назад вернулся его отец из России, где был на заработках, и сегодня наконец-то купил в музыкальном магазине телевизор. Теперь Тамук будет смотреть фильм про Щтирлица не в доме Игера, у которого мама красивая, но злая, будто с цепи сорвалась. Ну уж нет, к этим спесивым богачам он больше ни за что не пойдет. И в школе врать не надо будет. Ведь Тамук всем говорил, будто у них дома большой телевизор и фильм «Место встречи изменить нельзя» приходят смотреть соседи. Достали уже. Совсем потеряли совесть. Мама Ира прогоняет их, а им хоть бы что. Уйдут, надувшись, а на следующий день снова припираются с заискивающими улыбочками:

– Тетя Ира, можно посмотреть кино? Мама Игера опять нас прогнала.

– Ну конечно, смотрите, – говорит мама Ира. – Я же не такая злая, чтобы прогнать бедных детей, как некоторые. И конфеты из вазы ешьте, не бойтесь. Я их не для красоты на стол поставила.

– Спасибо, тетя Ира. Мы больше не пойдем к бембиз Игеру, у которого такая бешеная мама.

– Да пожалуйста, можете хоть до утра сидеть. И айвовым вареньем вас угощу, и грушевый компот открою. Пейте на здоровье...

Тамук пробежал малый мост и остановился у большого двухэтажного дома таксиста Нугзара. Внутри, наверно, не меньше десяти комнат, прикинул Тамук, с завистью смотря на занавешенные окна нижнего этажа. А у нас-то всего две, если считать за комнату небольшую пристройку. Конечно, если бы папа тоже работал таксистом, он бы отгрохал дом не меньше, и тогда бы Тамук не получал затрещин от старшей сестры, учившей уроки под рев братишки-сосунка, который постоянно нарывался. Школа была тут же, за углом, и звонок застал Тамука на персиковом дереве в саду Нугзара. Один большой и сочный персик он уже успел слопать, стоя на ветке, и едва не подавился косточкой. Сладкую мякоть другого он только надкусил – и как индеец спрыгнул на траву, готовый к схватке с бледнолицыми. Ему не хотелось пачкать свою новую московскую форму в гнилых персиках под ногами, а то перекувыркнулся бы не хуже Виннетусынинчучуна. Бледнолицые, наверно, наделали в штаны, увидев, с кем имеют дело, и, переглянувшись, остались лежать в побуревшей траве.

– Это земля апачей, – сказал Тамук, великий воин, и, издав боевой клич, как индейцы в фильме «Виннету, сын Инчучуна», схватил ранец с учебниками, перелез через проволочную сетку изгороди, при этом чуть не порвал штаны. Ну и влетело бы от мамы Иры, подумал он, стараясь взглянуть на себя

сзади, как вдруг заметил лохматую собаку, гонявшуюся за своим хвостом. Тамук остановился и, не спуская глаз с дворняги, нагнулся, чтобы подобрать камень. Пес тоже перестал кружиться и, насторожившись и принохиваясь, наблюдал за школьником. Почувствовав опасность, он бросился наутек. Бульжник пролетел над собакой, и та, взвизгнув, прибавила ходу. Проехавший мимо грузовик поднял пыль. Тамук посторонился, и снова было принялся оправлять форму, когда заметил Кучу.

– Уа, кого я вижу, – усмехнулся Тамук. – Подойди-ка сюда и посмотри сзади. Кажется, я штаны порвал. Да не бойся, не кусаюсь.

Куча осторожно приблизился к нему и через минуту лежал на асфальте, пытаясь защитить лицо от кулаков Тамука.

– В кого вы швыряли камни летом, а? Я свалился с камеры, и ее унесло в Гур! Вита меня вытащил за волосы, с полным пузом воды...

– Вайме деда! – орал Куча. – Отпусти! Меня там не было!

– Рассказывай сказки другому! Тебя и толстого Гочу я сразу узнал. До него я тоже доберусь. А пока получай, твою мать...

– На мать не ругайся... Пожалеешь... Ай! Ты мне зуб выбил...

– Я пожалею? Да кем ты меня пугаешь? Ну слушай: шени деда м... Хочешь еще, а?

– На мать не ругайся... Она... она умерла.

Тамук занес кулак и замер. Затем слез с Кучи и протянул ему руку.

– Что ж ты молчал? – пробормотал он. – Извини...

Куча оттолкнул протянутую руку и встал, сплевывая кровь. Опустив голову, он побрел вниз по безлюдному шоссе, а Тамук, нагнувшись, подобрал разбросанные по асфальту тетради и книги на причудливом грузинском. Запихнув их в зеленую папку, он догнал ссутулившегося Кучу.

– На, возьми свои книги и прости, – сказал Тамук. – Я же не знал про твою мать... То есть... Я не то хотел сказать. Ну ударь меня, тофлько несильно, а то я опять разозлюсь. Послушай, у меня есть три рубля. Хочешь, купим сигареты и пойдем в парк? Выкурим трубку мира, а? Ты будешь бледнолицый, а я краснокожий или наоборот. Выбирай. Да возьми свои книги...

Куча вытер глаза и сунул папку под мышку.

– Тебе же в школу надо, – сказал он.

– Плевать на школу. Слушай, однажды я видел, как ты затыгивался и пукал дым кольцами. Научишь?

– Конечно. А хорошо ходить в школу со второй смены?

– Как тебе сказать. В пятом классе об этом только и мечтал. А сейчас даже жалею. Вот ты, к примеру, уже отучился и свободен, а мне сидеть за партой до вечера и получать подзатыльники за невыученный урок.

– А вас тоже бьют учителя?

– Еще как. Настоящие гестаповцы. Особенно училка по осетинскому. Она такая здоровая. Сначала тянет за ухо вверх, а когда ты уже на цыпочках и готов взлететь к потолку, бьет по голове толстой обручалкой.

Рассказывая, Тамук отряхивал пыль с одежды Кучи и даже дал ему свой грязный носовой платок, чтобы тот вытер с лица кровь. После чистки они пошли в магазин Бабо на углу Садовой и купили там без всяких распросов ворчливой Бабули пять пачек «Примы» и коробок спичек. Куча хотел еще зайти в киоск хромой Жужу и взять у нее пива – если, конечно, не прогонит, на крайняк можно было купить лимонад, – но дверь под стершейся вывеской оказалась на замке. Они перебежали дорогу и юркнули в парк через покосившиеся решетчатые ворота. Прошуршав по ржавой листве мимо школы бокса, откуда доносились крики и топот спортсменов, школьники остановились и оглянулись по сторонам.

– Вроде никого, – сказал Куча, и, уронив папку у громадного тополя, сел на книги. Тамук уселся напротив, облокотившись на ранец.

– Хороший у тебя ранец, – сказал Куча, открывая красную пачку «Примы». – Смотри-ка, дождь пошел. Кхе-кхе. Без фильтра всегда крепкие, но мой отец только эти и курит. А ты разве не будешь?

– Буду, конечно. Кхе-кхе. Совсем некрепкие. Кхе-кхе. Я могу все шесть пачек скурить.

– С напасами?

– Нет, конечно. Ну-ка затянись сам... А кольца, кольца? Здорово. Давно куришь?

– С первого класса.

– Ого, ты сейчас в шестом, как я? Ха, да за пять лет я бы дым из задницы научился выпускать.

Куча хихикнул:

– Вряд ли. А вот из глаз я умею. Хочешь, покажу? Только смотри мне прямо в глаза, и куда больше.

– Ай, ты мне руку прожог!

– Ха-ха, кхе-кхе, все дурачки попадают на этом.

– Опять нарываешься, шени... Ну ладно... А дома знают, что ты куришь?

– Догадываются. Но мне плевать. Я беру пример со старших, а они все курят. Слушай, а чего к Нугзару в сад залез? Если бы он застал тебя, мамой клянусь, переломал бы тебя надвое.

– Кем ты клянешься? Ах да... Ну сначала ему пришлось бы поймать меня, а это не так просто. Видел, какой я ловкий? То-то. Но тут дело вот

в чем. У его жены туберкулез, и он повез ее в Абастумани. Так говорила мама вчера, а она знает, поверь мне.

– Откуда?

– Как откуда? Она же медсестрой в тубдиспансере работает, кхе-кхе.

Куча понимающе кивнул и снова пустил дым кольцами.

– Послушай, – сказал побледневший Тамук. – Я бы тебя и пальцем не тронул, если бы знал про твою мать... Что-то меня тошнит... Ох как плохо...

Он привстал и, пошатнувшись, оперся о дерево. Куча не спускал с него глаз.

– Знаешь, – сказал Куча, медленно поднимаясь. – Моя мать умерла, когда рожала Эку.

– Мне плохо, – бормотал Тамук. – Эка – твоя сестра с таким большим носом, да? В нее бембиз Игер влюблен... Ох... Не надо было столько курить. Да пошли вы все на...

Куча набросился на него и повалил на мокрую листву. Но не прошло и минуты, как нападающий оказался лежащим на спине. Тамук сидел на нем верхом и, подставив лицо дождю, бормотал:

– Как же мне плохо. Ты сам виноват. Не надо было швыряться камнями... Мы просто проплывали мимо Мамисантубани. Хотели на камерах до Гори добраться, а вылезли в Эргнети с шишками... Ладно, с тебя хватит. Вставай и вали отсюда... Ну чего встал? Сигареты тоже можешь взять себе... Нет, погоди, сейчас я умру, как Бока. У него тоже был туберкулез... Умоляю тебя, вызови скорую, а? Бери всю сдачу, только кинь две копейки в автомат и набери ноль три.

– Скорая бесплатно, – прошипел Куча, но деньги взял и засунул в карман.

– Спасибо, ты настоящий друг. Мама говорила, что кашель и тошнота – первые признаки туберкулеза. Кхе-кхе... Она еще говорила, что больные харкают кровью. Тьфу... Точно. Не может быть, ты мне губы разбил. Сейчас я засуну тебе кое-что в рот!

Тамук поднялся с колен и, шатаясь, пошел на Кучу, который согнулся в борцовской стойке.

– Ты думаешь, я с тобой бороться буду? – усмехнулся Тамук. – Сначала я выбью твои гнилые зубы...

– Отстань от меня, слышишь?! – вопил, отступая, Куча. – Шени деда м...! Понял? – И вдруг, споткнувшись о гнилую ветку, упал. В ту же секунду Тамук бросился на него, но вскрикнул и обмяк. Куча откинул от себя безжизненное тело своего обидчика и встал, держа в руке булыжник величиной с кулак.

С минуту он молча смотрел на неподвижно лежащего лицом вниз Тамука,

выронил камень, повернулся и бросился бежать... Мокрый и растрепанный, он остановился передохнуть у дома Нугзара. Оглянувшись, беглец убедился, что погони нет, подставил грязные ладони к водосточной трубе, откуда лился дождь, барабанивший по оцинкованной крыше таксиста, и вздрогнул: из парка донесся боевой клич индейца.

Лауреаты 1997 – 2007 годов



Татьяна Долгополова

г. Красноярск

Родилась в 1970 году. Окончила Красноярский педагогический университет. Автор книг стихов: «Зодиакальная болезнь», «Московское время», «Лепта». Член Союза российских писателей. Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева по итогам 2000 года в номинации «Поэзия».

Идите в баню!

Кот

У меня кот был персидский. Тупой, мама дорогая. Декоративные породы ведь для красоты выводят, не для ума. Вы персам в лицо посмотрите. Их как будто со всей дури большой чугунной сковородкой по морде огрели. Морда плоская, носика практически нет – все в черепушку ушло, для мозгов места не осталось. Пролетит, к примеру, в окне птица. Скажем, из нижнего левого угла окна появится и в правом верхнем исчезнет. Кот на подоконник – прыг, и в верхний правый смотрит. Час может сидеть, два. Думает – раз птица туда улетела, значит оттуда и появится рано или поздно. Я всё пыталась узнать – у котиков бывает ли болезнь Дауна? Научного ответа так и не узнала, но уверена – бывает. С другой стороны, иногда кот вел себя адекватно. Впервые выехав на природу, на дачу, увидел корову и обосрался. Полную ладонь мужу навалил – тот его на руках нёс. Нам еще сначала две девчонки по дороге попались, умиляться стали: «Ой, какой пекинесик!» Кот тогда уже на семь кило тянул, и в правду от собаки не отличишь. А потом – корова навстречу. Кот до того коров не видел. Муж говорит: «Чё такое, руке горячо стало!» Ну, кот потом в кусты полетел, понятно, муж бегом до дачи, и руку в бочку по локоть. Таскай, мне говорит, сама его, а то я эту тварь придушу. Я пошла в кусты кота искать, думала, не найду, сбежал. Прямо. Сидит в кустах и в одну точку смотрит. Возможно, там какая-нибудь козявка проползала. Уползла давно, а он ждёт, когда вернется. А вот кого кот совсем не боялся, так это собак. Он рос с собакой и, видимо, считал, что собаки – это такие же коты. Раз он навернулся с балкона (докараулился птичку!), второй этаж, и когда я за ним прибежала, он сидел, окружённый собаками и недоумевал: чего столпились? А они его окружили и лают. И не кидаются, потому что он, первое, не боится и бежать не пытается, и вто-

рое, он на кота мало похож, кто его знает, может, это какая неведома зверушка, мож она ядовитая. А коту без разницы, он собак за кошек принимает, а что они лают – он не слышит, глухой потому что. Белые коты почти все глухие. А боялся кот, как я уже говорила, коров. И еще мужа моего после известного случая тоже боялся.

А любил он большую плюшевую собаку. Серьезно любил, по-взрослому. Брал ее за загривок зубами и любил по-чёрному. Долго. Глаза при этом закатывал. Потом слезал с неё, тщательно вылизывал пипиську и со счастливой мордой пёрся на кухню. Что интересно, после плюшевого секса он вылизывался, а после еды – нет. Пожрёт, идёт – подбородок в молоке, на усах «Вискас» висит, свинья свиньей. Плюшевую собаку, замусоленную вусмерть, стирали в машинке с порошком. На дачу брали с собой, боялись: не будет её, бог знает, кого коту захочется. Когда кота кастрировали, мы полагали, о плюшевом сексе он забудет. Ветеринар вынес нам его, спящего, измазанного зеленой, на руках и сказал: «Мда, никогда таких яиц не видел! Не надо было отрезать». Пожалел добро. А кот и не понял, что стал легче на полкило: продолжал ходить к собаке, как на работу, и без яиц. На даче кот любил сидеть в грядке с баклажанами. Особенно после полива. Выберет, где помокрее, погрязнее, и там сидит часами. Смотрит в ту сторону, куда бабочка улетела. А потом прётся в дом – спина белая, остальное – черные мокрые сосульки, и норовит к нам на кровать запрыгнуть. Потом наткнется взглядом на кулак мужа и сразу перехочет, идёт на балкон. Как-то кот с грядки не вернулся. Был-был – и нету. Может, решил за бабочкой побежать... Надеюсь, до сих пор бежит. А мы его, между прочим, когда-то за полторы тысячи рублей покупали. И где теперь наши деньги?..

Одиночество

Позвонил старичок-сосед. Спросил, не помогу ли я ему с яйцами.

– В смысле??

– Ну яйца мне приди разбей!

Вообще-то он дедок с юмором, потому я не сразу въехала. Объяснил. Он сломал большой палец на руке. Это я знала. Так вот эта травма вполне терпима, единственное, чего со сломанным большим пальцем дедок не может сделать – разбить яйцо на сковородку. Для разбития яйца именно этот палец ему необходим. Он собирается позавтракать яичницей.

– Да без проблем, приду.

Муж услышал, что я открываю входную дверь:

– Да тепло уже, кури на балконе, чего ты на площадку бегаешь, кошку выпустишь ещё...

– Я не курить. Я к соседу бить яйца.

– А...

Нормальная реакция! Даже не удивился. Аж бесит невозмутимость. Я вернулась в комнату и повторила:

– Я К СОСЕДУ. БИТЬ ЯЙЦА.

– Ну и чё?

– Не удивительно?

– А чё удивительного... я вчера ему разбивал...

Ясно. Дедок каждый день завтракает яичницей.

Зашла я к нему. Разбила яйца на сковороду. Пол на кухне гречкой посыпан – понятно, кашку варил.

– Дедо, ты на этой гречке навернёшься и остальные пальцы переломашь. Чего не пропылесосишь-то?

– Да я веничком.

Опять понятно: нет у него пылесоса.

Прошоркал в сортир, принёс веник. Потом – в комнату, принёс очки. Дужка изолентой примотана. Долго надевал, прилаживал на нос. Стал мести. Очки упали. Поднял, надел. Стал мести. Опять упали.

– Яичница готова, давай мне веник.

Я подмела за минуту и пошла, дедок налаживал завтрак, шуршал пакетом.

Оооох... не приведи господь к старости остаться одной, как же это страшно... и мысль о разводе, с завидной периодичностью возникающая у меня, как-то поблёкла, стала растворяться, растворяться...

...И растворилась настолько, что, открыв дверь и услышав вопрос мужа из комнаты: «Это ты?», я чуть не сказала: «Да, дорогой!»

Кошмар... еще бы «да, любимый!» выкрикнула...

– Я, блин, кто ещё...

Идите в баню!

Я в баню люблю ходить зверски. Не в какую попало, разумеется. Не в общую, где триста голых теток на двести гнутых алюминиевых шаек. Не в модные сауны с бассейном. Я люблю нашу дачную баню. Это, друзья мои, скажу я вам, такой рай!

Только не надо на дачу большой толпой ездить. Это жуть. За всеми не уследишь. Один чудик как-то напился не в меру, никто и не заметил потери бойца в общей толпе. А он уснул на балконе. Мороз был мощный. За-

мёрз бы парень, если б я сквозняк не почувствовала. Думаю: балкон что ли открыли за каким-то чёртом? Ору: кто балкон наверху открыл? Никто не слышит: танцуют, музыка гремит. Поднялась посмотреть, а то уедем, открытой балконную дверь оставим – привет, бомжи. Со сторожа дяди Саши проку все одно никакого – он дань с полпоселка соберет и бухает. Ну точно, смотрю, дверь приоткрыта. Я её пихаю дальше – не открывается, подпёрта снаружи грузным телом. Пьяный спящий человек вообще весит больше, чем трезвый бодрствующий. Стёкла Дедушка Мороз расписал – ничего не видно. Суриков и Сальвадор Дали рядом не валялись. Пошла за народом. Музыка выключила, и по команде «Свистать всех наверх!» толпа понеслась спасать любителя свежего воздуха. Спасли. Потом кто-то в печку непонятно чего напихал, опять я не уследила. Сказано было – только бумагу. А не пластиковые бутылки и не ванночки из-под супермаркетовских бризелей. Чуть не задохнулись. Пришлось проветривать – холода напустили, зачем топили, спрашивается? Опять же, если народу много, в баню приходится партиями ходить. А если первые партии не страдают альтруизмом, то последним может воды не хватить. Вода-то не из крана течёт сколько хочешь, а заранее запасается в бочки. А то еще некоторые вообразят себя необыкновенно закалёнными – и давай в сугроб прыгать. Ну, больших сугробов у нас не бывает. Но одна девица нашла более-менее большую кучу снега. Спяну она ей бооольшим сугробом показалась. Заприметила она этот сугроб и ничего никому не сказала. Чтоб не украли. Пошла, напарилась, и тихонько из бани выскользнула, опять же никому ничего не сказав. Чтоб следом никто не увязался. Чтоб весь сугроб ей достался. Хлоп она распаренной жопой в сугроб! А в нем лопата была. Это батя на прошлой неделе снег сгребал, отчего сугроб и образовался. Ну он, натурально, и лопату туда вставил. Вообще-то, черенок торчал, но темно + водка = не видно. Вы себе представляете, друзья мои, голой горячей жопой на замороженную металлическую лопату попасть?? Вой разнесся над посёлком нечеловеческий. Где-то залаяли собаки, дядя Саша протрезвел, стал искать берданку. В доме оборвалась музыка, и миготом отрезвевшая толпа гуськом на цыпочках пошла на веранду, с веранды – на крыльцо, и с крыльца уже бегом – к воюющему сугробу. С другой стороны, из бани, к тому же сугробу, размахивая грудями и гениталиями, неслась вторая часть компании. Я опущу подробности обливания пострадавшей части тела тёплой водой. Я их и не видела, я не смотрела, страсть как боюсь всякого членовредительства. Говорят, это было похоже на разделение сиамских близнецов, но часть жопы все равно осталась на лопате.

Народ, не ездите на дачу большой толпой! Видите, как бывает. Но

во всем есть плюсы. Никто не догадался посмотреть вниз со второго этажа с торца дома. Никто не увидел внизу действительно БОЛЬШУЮ кучу снега. Никто не открыл окно и не сиганул в эту кучу. Это же плюс, правда? Ибо куча эта – гора кирпичей, припорошенных снегом...



Дмитрий Иргазиев

г. Козьмодемьянск

Родился в 1979 г., учитель истории. Участник семинара «Очарованные словом» (Красноярск, 2005), печатался в журнале «Сибирские огни» (г. Новосибирск), альманахе «Каменный мост» (г. Томск). Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева по итогам 2005 года в номинации «Поэзия» («Малый круг»).

Несу мечту руками

* * *

Увы, не властен я над многими вещами
И времени не прикажу свой бег уменьшить.
Я лишь живу, мгновеньем наслаждаясь,
Я лишь шагаю, расправляя плечи...
И кочки вырастают под ногами,
И я несу проклятье поколений,

Но я ещё несу мечту руками.

* * *

Мне бы пулю в голову, так чтоб сразу замертво,
Струйка крови по уху узелком орнамента

Прочертила линию,

Чтоб за все мои грехи, безусловно тяжкие,
Закопали у реки, на лугу с ромашками...

В изголовье лилию.

Жеребята по весне цокали копытами,
По засохшей по земле, где лежу убитый я...

Ели травы длинные.

Мохнолапые шмели опыляли клевер.
Очень трудно быть живым, позабыв, что верил...

Став до смерти глиною...

* * *

Шага от любви...
 К одиночеству...
 Сделанного – не хватает.
 Ты меня прости, очень хочется
 К поездам, когда они уезжают,
 Унося надежды тревожно.
 Я тебя люблю.
 Можно?

* * *

Самый лучший гриб – это подосиновик...
 Красная шляпка спряталась в листья,
 Лишь под дождём, навстречу солнцу
 Растёт бледно-розовым запахом...

Самый забавный гриб – это я...
 Накапливаю яд,
 Стоя под градом улыбок.
 Гематомы поцелуев ловлю губами.
 Солнцу глядя в глаза,
 Люблю этот мир,
 И себя в нём... ненужного!

* * *

Мы теряли невинность
 На съёмных квартирах, брошенных в город зёрнами света.
 Окна желтели. Звенели трамваи. Сны умирали. Мы умирали и
 просыпались...
 Что-то запомнив,
 Небо заполнив...
 В день уходили...
 Девушки, что никого не любили. Песни, что точно никто не запомнит. Коды
 и цифры чужих телефонов. Пятна, что просто живут на обоях...
 Было нас двое?

* * *

Я помню...
 Как в детстве, тетрадный листок и ладонь, обведённая синим,
 Страница письма...

Я писал неумело, ошибки в словах обводил, перечёркивал, правил внимательно
 Не знал, что ненужные письма потом отдаются огню.
 Кому я писал? А кому пишут дети? Наверное, матери....
 Кому я ещё мог доверить ладошку свою?
 Я вырос, я писем уже не пишу.
 На бегу пару строк
 Наберу
 В электронный полёт,
 Оператор пошлёт – «Здоров, всё нормально, скучаю, найду, помогу,
 приехать – приехать хочу, но работа».
 Приехать – хотел, но не смог...
 А помнит ли кто про ладошку и в клетку тетрадный листок?

* * *

Стало скучно,
 в дворце из кораллов
 помутнела от ила вода, и янтарные своды залов ненадежно красит заря,
 блики так золотисто свежи, строчки тонкой её руки, дав последний приют
 надежде,
 но смываются тенью мазки,
 но опять налетают тучи на далекий купол небес, и вздымаются волны
 кручи, и девятый уж вал полез, и вода безнадежно мутна, и попрятались в
 ил мальки.

Просыпайся, всего лишь утро в сером городе у реки...

* * *

Дома, тяжеленные глыбы бетона, стекла и стали, расплющив прибрежные
 камни, ломая кусты и деревья и в землю заглубив сваи,
 Закрыв горизонт, превращают берег в прибрежную зону,
 Растут, от меня заслоняя
 Волны
 И берег дальний...

* * *

На берег выползли дома, фундаментом расплющив камни,
 Закрыли реку, словно ставни, чиновной глупости тома.
 Бетон, стекло и свет огней – деревьям больше здесь не место
 И от парковок стало тесно... А от машин ещё тесней...

* * *

Наш бог жесток?... Не зная ничего
 О красоте земли... в грехе рождённой...
 О бешенстве, взрывающем сердца и души рвущем...
 грозит тоской, жарой и адом за любовь земную...
 за радость быть, за тайну поцелуя...
 грозит небытием, несчастьем всем живущим...
 и маску нацепив творца... и маску нацепив творенья?..
 у врат решетки горнего дворца... он жаждет слёз, моленья, да моленья?..

а может, я жесток?.. Не видев всей земли, не зная ничего о замыслах и ведах,
 я просто трепещу, я просто так, ропщу...
 его великих тайн ни капли не изведав?

* * *

Интересно, кто придет на похороны гробовщика, отравленного лаком и краской?
 Свой последний гроб он мерил под себя, он делал его особенным, тратил
 собственноручно заработанные деньги; покупая тяжелый пурпурный
 бархат, кружевные ленты, доски из редкой в наших широтах красной
 акации. В последнюю ночь он прилег отдохнуть в свежеекрашенный гроб,
 забыв, что он не мальчик и дышать испарениями ему вредно.
 И не проснулся.
 Санитары вытащили его тело из импровизированной кровати, практически
 волоком донесли до машины и там, уже не стесняясь, сбросили труп в
 кузов.
 Кто придет оплакивать гробовщика, убитого любовью к своей работе?

* * *

Самые лучшие строчки – это те, что ночью прошелестели мимо, оставив
 надежду и желание проснуться...



Вячеслав Корнев

г. Барнаул

По образованию историк, доцент кафедры философии Алтайского государственного университета. Редактор альманаха «Ликбез». Лауреат премии фонда имени В.П. Астафьева по итогам 2007 года в номинации «Иные жанры – публицистика».

Энциклопедия современных вещей

Еда

Мифология еды разнообразна и путана. Как гласит старый немецкий трюизм, «Der Mensch ist, was er isst» (человек есть то, что он ест). Банально рассуждать о том, чем различается, например, психология вегетарианца и мясоеда. Фридрих Энгельс, как известно, полагал переход на мясную пищу одним из важнейших факторов эволюции. Но сегодня и мясо уже не совсем мясо, и человек уже не совсем человек. Сегодня линия фронта проходит не между постным и скоромным образом жизни, а между теми, кто ест, и теми, кто ест.

Я давно заметил, что в современном кинематографе положительные герои (например, настоящие brutальные мачо в вестернах и боевиках) подкрепляются лишь стаканчиком-другим виски, но при этом и крошки в рот не берут. Напротив, неизменной характеристикой отрицательных персонажей служит циничное поедание всевозможной снеди (особенно, если истинный герой, как Просперо в «Трех толстяках», вынужден смотреть на эту трапезу, будучи неделю уже голодным, гремя кандалами и сверкая презрительным взглядом). Уже в «Стачке» Эйзенштейна (1924 г.) толстые буржуины обжираются на обильном пиру, создавая монтажный контраст картинам нищего и страдающего пролетариата. В фильме С. Говорухина «Место встречи изменить нельзя» ключевая сцена – пир в бандитской малине, куда попадает истощавший и на грани нервного срыва Шарапов и видит первым делом здоровенные ряхи, пожирающих изобилие еды бандитов. При этом, если положительные герои ведут бескомпромиссно полуголодное существование, то персонаж В. Абдулова (жмот и предатель) в решающий момент своей трусости и подлости (сцена с провалившейся засадой на Фокса) буквально давится едой – он встает из-за стола, не успевая прожевать кусок, и на этом-то

ловит его бандит. В западном кино это противопоставление также действует безотказно, допуская исключение лишь в случаях с комедийной окраской (скандал на званом обеде, комическое метание пирожных и т. п.).

Есть (особенно публично) – это комично или неприлично. Такой тезис концептуализирует Луис Бунюэль в своей блестящей сатире на современное общество «Призрак свободы» (1974 г.), где в одном из эпизодов переворачиваются функции столовой и туалета. Пришедшие в гости к приятелям буржуа как ни в чем не бывало рассаживаются за пустым столом прямо на унитазах, а для принятия пищи стыдливо уединяются по одиночке в кулинарную каморку.

По всему видно, что «конденсат коллективного бессознательного», как называл институт кино Антонио Менегетти, проявляет некую социальную фобию, связанную с отношением к еде как к собственно пище и как к ритуалу.

С одной стороны, понятно, что за неимением вкуса к настоящей жизни и творчеству, обыватель подменяет ритуалом приготовления и поглощения пищи какие-то здоровые духовно-телесные интенции. Так, большинство домохозяек искренне полагают кулинарию искусством и видят здесь возможность без лишних проблем сублимировать свои творческие склонности. Готовка, сервировка, специфические буржуазные аксессуары (наподобие «романтического ужина со свечами») – все это выполняет функцию не то религиозного, не то художественного культа. Либо, в ином случае, это часть смысловозначимой и сексуальной стратегии женщины, отраженной простой поговоркой – «путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». С формами такого бытового почтения к еде (кофе в постель, аристократическое чаепитие, мужское солидарное пивопоглощение и т. п.) связана изрядная часть современной культуры, особенно, когда дело доходит до алкогольных напитков и закуски к ним.

С другой стороны, обыватель очень трепетно относится к самому составу пищи, обставляя свое общение с ней массой «современных теорий». Таковы псевдонаучные концепции раздельного или какого-нибудь иного специализированного питания, идеи вреда сахара, соли, излишних калорий, холестерина... В духе примитивного принципа экономии мышления («мясорубки Оккама») современный массовый человек давно сделал вывод, что именно мифическое качество повседневной пищи (иллюзорно освобожденной от химикатов и генетически модифицированных добавок) гарантирует ему здоровье, бодрость, счастье и успех у представителей противоположного пола. Ведь выбирать продукты в супермаркете – это самая простая из всех возможных жизненных стратегий, к тому же весьма поощряемая и прибыльная для производителей товаров и услуг. Так что никого уже не удивляют идиотские

рекламные слоганы, типа: «Я ем макароны «Гранмулино», чтобы похудеть».

Мало того, «здоровая», «не содержащая консерванты» (еще одна юмореска – реклама консервированных продуктов, как, например, соков «без консервантов»), «лишние» жиры, белки, углеводы, калории, сахар, кофеин и пр. пища, мыслится сегодня почти как гарантия личного бессмертия. Модель рассуждения обывателя проста: если многие люди умирают хотя бы от закупорки сосудов, то я, осторожный имярек, не потребляю избыточного холестерина, а потому смерть с этой стороны мне не грозит. Если же я еще не пью, не курю, не летаю самолетами... то я поистине бессмертен. Уловка наивная, но работает. Так что сублимативные функции еды как способа снятия невроза (явление, описанное в психоанализе) действуют и в этом случае.

Еще одна характеристика современного культа «здоровой и полезной» пищи – в ее, зафиксированном также в кино, значении сексуального допинга. Если один тип обывателей прибегает к специальным диетам, дабы достигнуть успеха на рынке брачно-сексуальной конкуренции, то другой тип использует определенную пищу для возбуждения желаний (стандартный прием обмазывания тела каким-нибудь джемом для повышения сексуального аппетита). Неудачникам же в этой сфере приходится снимать стресс от своих провалов опять-таки чем-нибудь сладким, запивать и заедать накопившуюся в сердце горечь.

Занятна еще мещанская привычка мерить все «колбасой» (а официально – «потребительской корзиной»). До самого недавнего времени большинство споров прекращалось, как только в них вводился аргумент «от колбасы» – имеется в виду дешевый прием сравнения старого и нового общественного строя содержимым прилавков магазинов. Апофеозом идеологической глупости были, например, президентские выборы 1996 г. с растиражированными слоганами, типа: «Купи еды в последний раз», «Коммунизм – это голод и гражданская война». Впрочем, все это было не так глупо, раз в очередной раз сработало.

И все это лишь несколько эпизодов и разрозненных наблюдений относительно все более возрастающей роли еды в нашей социальной жизни. Начиная с пословиц и поговорок, формулирующих азы социальной азбуки в доступном пониманию каждого кулинарном виде (особенно велико значение «хлеба насущного»), и заканчивая высокими порывами человека-овоща к его интимнейшим мечтам и фантазиям (изготавливаемым, впрочем, поточно) о жизненном успехе, как дорогим банкете или ужине с блондинкой в престижном ресторане, – все это складывается в стройную систему «гастро-кулинарного космополитизма», как определял еще полтора века назад К. Н. Леонтьев. Хотя и он не смог бы представить себе возведенные еде храмы с километровыми очередями (достаточно вспомнить культ первых

«Макдональдсов» в Москве) и специальную кулинарную поэзию (все более массовыми становятся творческие конкурсы с задачей написать очередную оду макаронам или сосискам – каждое уважающее себя кафе предлагает такие стимулы своим потребителям). То ли еще будет!

Супермаркет

Известно, что современный супермаркет с успехом выполняет культовые, просветительские, организаторские, идеологические функции, претендуя на статус одного из важнейших социальных институтов. Это стало особенно очевидно в конце 90-х гг., когда на Западе супермаркеты стали центрами культурной жизни (сегодня уже самой обычной практикой является проведение всевозможных концертов и празднеств под крышей или под эгидой торговых центров), а на охваченном запоздалой лихорадкой консьюмеризма Востоке супермакеты изначально воспринимались как форпосты истинной цивилизации, и потому степень их психологического воздействия на неискушенные умы и очи аборигенов была просто запредельной.

Еще в 1989-м году, после того, как Б. Ельцина так вставило в зарубежном супермаркете, что он вернулся в Москву «измененным» (термин из фильмов о вторжении похитителей тел), поэт А. Левин написал следующее:

В огромном супермаркере Борису Нелокаичу
показывали вайзоры, кондомеры, гарпункели <...>
компотеры, плей-бодеры, люлякеры-кебаберы,
горячие собакеры, холодный banker-бир.
Показывали разные девайсы и бутлегеры,
кингсайзы, голопоптеры, невсейпоры и прочее.
И Борис Нелокаевич поклялся, что на родине
Такой же цукермаркетер народу возведет!

Конечно, променяв бесплатное жилье, образование, здравоохранение и прочие реликты тоталитаризма на дорогие фетиши западной торговой культуры (джинсы, кока-колу, шоколад, жевательную резинку и т.п.), восточный, теперь уже не человек, а потребитель, стал умнее и разборчивее. Однако поезд ушел. Теперь у супермаркетов нет конкурентов. Дворцы культуры, книжные магазины, спортивные центры почти все закрыты, перепрофилированы, превращены в барахолки. Всякая мелочь, типа перестроечных «комков» вытеснена с рынка. И вот оно – новое чудо света. Среди серых приземистых городских кварталов возвышаются, как египетские пирамиды, храмы новой товарной религии, пантеоны божественных брендов. От подножия этих величественных построек к вершинам потребления нас возносят эскалаторы. В бесконечных анфиладах цукермаркетов зеленеют целые рощи,

бьют фонтаны, звучит слащавая музыка. В стеклянных ячейках и в зеркальных витринах россыпью драгоценностей лежат вожделенные Товары. Симпатичные девушки в форменных одеяниях маркетинговых весталок дарят свои улыбки и бросаются навстречу каждому посетителю.

Нет ни малейших сомнений, что по своему символическому статусу супермаркет соответствует античному Олимпу или христианскому раю. В популярном эссе «Мир как супермаркет» Мишель Уэльбек рассматривает супермаркеты и ночные клубы именно как бинарные означающие рая и ада:

«Супермаркет – настоящий современный рай, – пишет Уэльбек, – житейская борьба прекращается у его дверей. Бедняки, например, сюда вообще не заходят. Люди где-то заработали денег, а теперь хотят их потратить, здесь их ждет огромный, постоянно обновляемый ассортимент товаров, продукты нередко оказываются и в самом деле вкусными, а подробные сведения о содержании полезных веществ всегда указаны на упаковке. В ночных клубах мы видим совершенно иную картину. Много закомплексованных людей – без всякой надежды – продолжают посещать эти заведения. То есть возникает ситуация, при которой они постоянно, каждую минуту ощущают свое унижение – это уже далеко не рай, а скорее ад» [1, с. 42].

Впрочем, дуальные культурные модели часто переворачивают значения семиотических полюсов, и тогда «плюс» оборачивается «минусом», первые становятся последними, грех оборачивается спасением и т.п. Та же самая метаморфоза происходит и с системой «супермаркеты – ночные клубы». Последние могут с успехом играть роль островков истинной свободы и неконформизма (несмотря на жесткие регламентирующие отбор посетителей процедуры: металлоискатели, клубные карты, «фейсконтроль» и т.п.), а первые превращаются в дисциплинарные учреждения или облегченного типа концлагеря. Начать с того, что на территории супермаркета не действуют нормы гражданского права, поскольку, как замечает в «Записках из торгового дома» Н. Клименко, «охраной порядка в торговых центрах занимаются не копы, а ЧОПы, правила поведения определяются не законами государства, а внутренним распорядком. Даже в незыблемо демократических странах в торговых центрах возможна и активно практикуется цензура... В торговых центрах также может быть ограничена свобода слова и права на демонстрации» [2, с. 11].

Попадая в пространство супермаркета, мы оказываемся в положении пускай не узников, но посетителей тюремного заведения, где никак не избежать контакта с натасканными «секьюрити», электронными системами слежения, магнитными воротами и т.п. На входе у тебя забирают личные вещи, дают в зубы корзинку или тележку (помню, как в только что открытых супермаркетах охранники просто насильно вручали эту корзину, теперь же

потребительские рефлексии уже поставлены, и необходимость в насилии отпала). Иногда по ходу движения за тобой следуют параноидальные продавцы и стражники (или это у меня одного такой подозрительный вид?). Самое занятное, что на выходе из магазина ты тоже ловишь себя, бывало, на чувстве вины, если маловато набрал всякой байдры в корзину, а то и с пустыми руками уходишь. В «нормальных» магазинах такая ситуация немыслима, но в супермаркете, покидая неотоваренным такой оазис изобилия и встречая разочарованные и критические взгляды кассиров, ты действительно чувствуешь себя сволочью.

Другая модель описания супермаркета – лаборатория, научный центр. В «продвинутых» сверхмагазинах системы наблюдения давно выполняют двойственную функцию – помимо собственно контроля, это еще и функция научного наблюдения за реакциями посетителей. Камеры фиксируют особенности восприятия тех или иных продуктов в зависимости от их расположения, формы, упаковки, цвета и т.п. Есть камеры, способные считывать изменения объема зрачка и частоту мигания: например, если у нормального человека глаза мигают около 30 раз в минуту, то при расслабленном состоянии – до 20, а показатель около 15 миганий в минуту, наблюдаемый у многих заторможенных потребителей, соответствует уже состоянию гипноза или транса. Я сам нередко ловил себя на этом отчужденном состоянии, когда после сомнамбулического прохода по рядам и наполнения корзины грудой ненужных вещей ты слегка отрезвляешься у кассы или уже на улице. Что ты хотел и что ты в итоге взял – эта бинарная оппозиция тоже наводит на мысль о ненормальном течении реакций и эмоций внутри супермаркета. Особая статья – эксперименты с подпороговыми эффектами, о принципах действия которых сегодня знают все мало-мальски образованные люди, но иммунитет к потребительским пристрастиям это знание не дает. Мне очень нравится в этой связи сцена из «Рассвета мертвецов» Дж. Ромера, где, явно пародируя поведение одурманенных обывателей, в супермаркет стекаются отряды зомби и бессмысленно бродят вдоль прилавков. Как объясняет один из героев картины, зомби приходят в супермаркеты «по старой памяти, наверное, это очень важное место в их жизни... Им нужен магазин, но они не знают, зачем. Они просто помнят». Что и говорить, вырабатываемые в потребительских институтах рефлексии сильнее жизни и смерти, они управляют не мозгом, а мозжечком, доходят до самых печенок.

Впрочем, дело не в одних лишь рефлексиях, привычках или культовой ауре брендов и супермаркетов. Всем известен тот парадокс рекламы, что самые закаленные и искушенные ее критики все равно совершают в итоге выбор между теми же самыми рекламируемыми (но мнимыми альтернативными и конкурентными) торговыми марками. В «Матрице» (часть 2 – «Переза-

грузка») братьев Вачовски – в действительно приличного уровня кинорефлексии на темы общества потребления – Архитектор (создатель Матрицы) так поясняет один из главных алгоритмов действия всей системы:

«Найти решение мне помогла программа интуитивного типа, специально созданная для изучения определенных сторон человеческой души. Суть этой программы в следующем: почти 99 % испытуемых принимали правила игры, если им предлагалось право выбора, несмотря на то что выбор существовал только в их воображении».

Таков именно секрет и супермаркетинговой стратегии. Потребитель находится в полной уверенности, что выбор в этом мире беспредельного изобилия совершает он сам. Покупатель уверен, что его предпочтения – результат эмоционального или интеллектуального самоопределения, что свободный и непосредственный контакт с массой разного типа товаров в отсутствие посредника-продавца предполагает самостоятельные решения. Можно сказать, что самое интересное в этом случае не то, что мы покупаем, а то, на что мы покупаемся. Основная «покупка» в супермаркете – это иллюзия свободного выбора. «Программа интуитивного типа» здесь, как и Пифия в «Матрице», всегда предлагает альтернативу, но лишь внутри данных вариантов. Однако как же по-детски нас вдохновляет эта свобода набивать корзину ненужными предметами! Как увлекателен даже не шоппинг, а своего рода товарный вуайеризм: процедуры осмотра ненужных в обозримом будущем вещей (мне кажется, что эта мания характеризует прежде всего современных женщин).

Думаю, что супермаркеты – это настоящая эмблема нынешней культуры. Если символами ушедших эпох были храмы, крепости, скульптуры, то наше время увековечило Жратву и Шмотки. Достаточно вспомнить, какой ажиотаж вызывало у нас (и вызывает по сей день в странах третьего мира и «третьего Рима») открытие очередного Макдоналдса. Группирующиеся в необъятные очереди туземцы, жаждущие причаститься биг-маком или гамбургером, – это умом не объяснить. Это выражение подлинно метафизической страсти, это триумф новой религии Потребления. Это то, чем мы запомнимся в истории.

1. Уэльбек, М. Мир как супермаркет / М.Уэльбек. М.: Ad Marginem, 2003. – 158 с
2. Клименко, Н. Записки из торгового дома / Н.Клименко // Эксперт-Вещь. 2004. – № 4. – С. 10–12.



Дарья Мосунова

г. Красноярск

Родилась в г. Екатеринбурге, закончила факультет журналистики Красноярского государственного университета, училась в Литературном институте имени Горького, Президент фонда «Тройняшки», лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева по итогам 2000 года в номинации «Журналистика».

Развеселые проблемы с сексом...

Надеюсь, читающие этот текст не скажут мне – фи, какое бесстыдство... Писать на такие темы... Но меня после рождения тройняшек занимает вопрос, как, родив первого ребенка, мамы через небольшой отрезок времени вновь беременеют. Ну, разумеется, я не спрашиваю, откуда появляются дети. Я хочу спросить – откуда берется время, чтобы побыть наедине. Крепко так побыть, ну вы сами понимаете, о чем я.

Конечно, как только дети уложены спать и сопят в две дырочки, можно воспользоваться моментом и наконец-то побыть вдвоем с мужем. Но...

– Милая, как на счет супружеского долга?

– Ага, ага любимый... только вот уберу гору посуды на кухне и разделюсь с бельевым Эверестом в ванной... дети тут на пальму пытались залезть, и с землей ее вытряхнули, надо бы собрать... а еще они в борщ засунули будильник, зазвонит – так весь дом разбудит... А тут еще матушка твоя звонит – интересуется жизнью...

Я обычно к вечеру после кухонно-приборочных страданий от усталости в спальню ползу на четвереньках, доползаю и... шмяк так лицом на подушку, будто пьяный в салат. А тут над ухом такое милое жужжание:

– Милая, дорогая... ягодка! Я готов! Правда, я похож на Аполлона?

А милая уже храпит сладким сном золушки, которая по приказу мачехи на своих плечах вынесла из огня все королевское войско со всем арсеналом.

– Милая... ну, ну...

– А сколько времени? А чего ты голый?

– Так это, долг??? Супружеский!

– Ой, мне надо рано вставать... детей же в садик, а завтра день такой загруженный... Ну, прости.

– Ну а когда? Вчера – не могу, неделю назад тоже... Я вскоре стану девственным импотентом.

– Ну, милый в выходные? Хорошо?

– А ты не врешь?

– Клянусь твоими семейными записками, – пробормотала измотанная Изаура и унеслась никакая к никаким внеземным цивилизациям.

Думаю, в моем состоянии не стоило покупать чулочки, краситься косметикой, ходить в парикмахерскую... а все сэкономленные деньги собирать в кубышечку на новую машину для мужа. Согласилась бы!

И вот выходные.

Нанежившись в постели, муж ласковым пушистым котиком подваливается ко мне.

– Ну, я смотрю, ты выспалась, и никакие домашние дела тебя не тревожат... М-м-м... какая вкусная!

Мне бы, конечно, возразить, что детям надо варить кашу, а еще на кухне фасоль замочена, а вечером придет чета Ивашкиных с отпрысками, и чем мы их угощать-то будем... Но обещание да инстинкт продолжения рода диктуют свое...

– Да, милый мой... Я!..

Но тут с радостью в спальню вбегает малышня!

– А! А! мама-папа! Куда сегодня поедем???

Милый душечка котофей Иванович меняется в лице.

– Да куда угодно! – огрызается снежный барс. – Только мы с мамой еще не проснулись. Кыш из комнаты.

Но дети еще малы... им только по 3 годика, поэтому они, не внемля нашим словам, влезают на нас, прикрытых одеялом, и начинают скакать, вопя от удовольствия:

– Мы едем, едем, едем... – хором поют они, прыгая уже во всю и раскачиваясь!

Приходится мне вставать и включать мультики.

– У нас в запасе 10–15 минут! Ура! – я пулей бегу в спальню.

Мы радуемся как дети внезапной панацее.

– Да за это время... можно! Заявление в суд написать! Или начало доклада. Обращение.

– А я... а я... информушку. Или половинку пресс-релиза. Или войс начитать на телесюжет.

Дети смотрят про Фунтика, а мы...

– Стоп! А где же презервативы? Посмотри их в ящичке.

Я разыскиваю презервативы... а время-то уходит! Где... где?? Время уходит, и я, как будто хитрый игрок в состязании «Форд Байярд», отыскиваю правильный ключик к двери, где лежит клад.

– Нашла! Нашла! – радостно оборачиваюсь я к папе. – Ой!

– Мама, а вы чего без нас жвачки едите?

– Где? – выдыхает муж...

– Ну вот, мама держит в золотинке...

Глупо объяснять детям, для чего эта жвачка, еще глупее – разуверять их, что это не то, что они себе представили.

– Нет, жвачка! Жвачка! Дай, дай!!! – плачут дети.

– Ну, отдай ты им все, чтобы не дрались, – не выдерживает сердечных мук папа. – Тьфу ты...

Дети радостно открывают золотинки:

– Да это резиновые шарики! Ура! Папа купил нам подарочки! Мама надуй!

– Ну, уж нет! – взрывается папа. – Мы вам шарики, а вы еще и надуй. Ну-ка марш на кухню – сами надувайте. И тот, кто надует самый большой, получит шоколадку! Самую большую!

Получив с неба неожиданное перемирие, мы вновь залезаем под одеяло. Но только... как из-под одеяла внезапно и неожиданно, так, что я вскрикиваю, вылезает голова старшего.

– Мам-пап, пошли играть в машинки!

– Сыночка... О!

И через секунду появляется голова дочери.

– Мама, скажи – это рысь или волк?

Дочка упрямо протискивается с книжкой.

– Не отвлекаемся! – с сосредоточенной рожицей командует мне папа.

Я стараюсь, но дочка разворачивает меня к себе.

– Ну, читай.

– В некотором царстве в некотором государстве жил был король...

– Да не могу я так! – резко сбрасываю с себя седока.

– А как? – удивляется муж. – Ты сама мне говорила – в выходные... Не любишь ты меня... – чуть не плачет муж. Пойду по бабам!

– Ну, нет... нет... Если по бабам – денег в семье не будет. Люблю! Я сконцентрироваться не могу в таких условиях.

– Мама, так это рысь или волк? – не отстает дочка и кладет мне на глаза книгу.

– Волк. Сказочный волк...

– Не хочу шарики дуть! Я есть хочу и пить, – прибегает маленький.

– Ну, там на столе. Хлеб в пакете, – раздаю команды я, пробуя пошевелиться, но никак. Папа отступить не желает.

– Нет... я с вами хочу есть. Хочу! – вопит рассерженный маленький.

Я пробую встать.

– Не сдавайся... – шепчет муж. – Давай закончим.

Дети тоже не сдаются, поняв, что родители что-то затеяли, они весело убегают на кухню...

– Ну, все... можно!

Да, не тут-то было. Дети с криками, как индейское племя, врываются в спальню, неся с собой – пачки с печеньем и кувшин с морсом.

– Мы будем с вами пировать!

–???

– Мням-мням!! Ура! Мама, мы же семья?

Глядя, как морс льется на чистое покрывало, как на моей голове оказываются кусочки печенья, как папа успевает еще вытереть рот самого маленького принесенной салфеткой и в тоже время лежать на мне, я смеюсь истерическим смехом.

– Мама! Ты чего? – столбенеет в ужасе муж, боясь, что еще мгновение и у него появится шанс стать многодетным папашей-одиночкой, сдавшим в сумасшедший дом жену-истеричку.

– Мне смешно. Я же на вас всех сверху смотрю... Смешно, – разрываюсь я от хохота: тело вибрирует, и вся команда с меня валится: с морсом, с печеньем, с ненадутыми шариками на пол.

– Так, все! – не выдерживаю я. – Пошли хоть в ванную. А ты их отвлеки хоть чем-нибудь!

– Вы хотите посмотреть мою коллекцию машинок?

– Да! – кричат все.

Папа рискует последним. Как бравый Нильс он уводит крысок за собой к святому месту – шкафчику, где собрана его детская коллекция машинок. Коллекция, которую он собирал много лет тщательно и любя. Пока маленькие варвары радуются завоеванным трофеям, мы с мужем пробуем закрыться в узенькой ванной. Но из-за влажности, которая стоит в нашем доме по причине непрерывной сушки детской одежды, дверь бесповоротно разбухла.

– Держи одной рукой дверь, а второй меня. А чтобы получилось, залезу на край ванны.

Словно шанхайский цирковой акробат, я, собрав волю в кулак, сдерживаю данное папе слово. Услышав непонятное шуршание, дети сбегаются к ванной и пробуют открыть.

– Там мышки? Мама говорила, так скребутся мышки, – предполагает самый умный.

– Мышки! Я хочу мышку!

– А они кусаются? Не открывай!

Дети, будто репку из сказки, тянут дверь и друг друга...

Теперь уже папа смеется. Вдруг наступает затишье, потом резкое бах! ...

– А! – кричу я и лечу в ванную.

– Позорище. Не могли дождаться вечера! При детях... Я вам звонила и стучала... Пока не пришлось достать запасные ключи от двери.

У входа в ванную комнату стоит моя мама.

– Здрасьте, Вера Николаевна... Да это мы... Ну так... Веселимся... Играем... – оправдывается мой муж, судорожно пытаясь завернуться в мой банный халат.

Дети прыгают от счастья. Оказывается, это не злые и кусучие мышки, а веселые папа и мама, опять что-то придумавшие.

– И мы, и мы хотим с вами играть!!! – кричат дети радостно.



Владимир Пшеничный

г. Томск

Родился в 1976 г. Окончил Томский Политехнический Университет, автор двух книг стихов: «Зёрнышко для голубя» 2001 год, «Бумажный Ангел» 2005 год; участник второго и третьего Форумов молодых писателей России (Москва, Липки). Значимые публикации в журналах: «Новый мир», «Сибирские Огни», «Октябрь», «День и Ночь», в других региональных журналах и альманахах, в сборниках сибирских поэтов. Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева по итогам 2007 года в номинации «Поэзия».

Сжигая книги

* * *

кому кот
кому мельница
в дар от Бога
кому ослик
а мне зима
даль
дорога
звёзды ночь луна
мороз
иней
из-за пазухи знать
меня
Бог вынул
километры цепляются
мне за пятки
верви ног заплетаются
мне б лошадку
две синицы
за воротом запищали
отогрелись
погнали мои

печали
потеплело
или снегом
мои губы засыпает
вот и кот
и ослик
мельница
мелет снег
в муку
снег тает

* * *

все печали позади
кровь свернулась
чай заварен
кот вернулся
подожди
сядет он за стол
нам равен
перестала плакать дочь
я её поцеловал
все печали ушли прочь
за окном колокола

* * *
 человек шёл на работу
 его сбил автомобиль
 в животе его зевота
 в голове его ковыль
 вся судьба его
 свернулась
 и погасла
 на ветру
 у него жена
 и дети
 и друзья
 и тру-ту-ту

* * *
 смилуйся над грешным
 Боже
 плакать мужику негоже
 ...
 умер я
 с листком в руке
 на котором "БРЕ КЕ КЕ"
 выведено стариком
 с головой как снежный ком
 вот цена моим стихам
 нищим на раскур отдам
 раскурись-ка пеной слов
 станешь весел и здоров
 станешь снежен и могуч
 ярк словно солнце
 круч
 ласкает пики
 тяжело ли стать – безликим?
 привыкай быть не живым
 лёгким
 синим
 сосны дымом
 днём и ночью
 молодым
 днём и ночью

голубиным
 тополиным пухом правь
 наготу июльских улиц
 ...
 Господи предай словам
 моим
 меткость острых сулиц!

* * *
 нагишом
 сжигая книги
 так я встретил
 Новый Год

* * *
 выпить хорошо в мороз
 золотой рассвета морс
 с мёрзлых распугать ветвей
 хрупких ледяных стрекоз
 кровь согрей
 горячий вар
 варвар я
 и самовар
 солнца
 пью в один присест
 сахар огненных небес
 не кладу
 я так привык
 горечь ночи
 жжёт
 я зычно закричу
 криком разорву парчу
 звёзд и тьмы
 над головой
 иглы льда
 Эй!
 я живой

* * *
 поскользнулась
 упала в лужу
 я прошу вас
 не проходите
 протяни!
 протяни!
 тонущей мышке
 руку

* * *
 взмок какмышь
 от страха
 смотрит из-под злобья
 и оглоблей машет
 красная рубаха
 у могил не спрашивай
 как звенели гусли
 кольца на груди
 изржавели
 тусклы
 наезжали рысью
 на ладони троп
 гудел диким бубном
 лошадиный топ
 жёг аркан
 а клейма
 лица истоптали
 облаков пелёнки
 промокли
 да растаяли

* * *
 время трёт меня в муку
 и кукушка ни ку-ку
 ...
 слов роскошные одежды
 на плечо своей надежды
 не надеть мне
 так как раньше

сгорбился румяный мальчик
 на плечах мешок пустой
 переполнен суетой
 разъедает душу лжа
 взамен лажу положа
 искрам песен
 не поджечь
 глаз озёра
 так как прежде
 заржавел в устах мой меч
 и не крикнуть
 правду режьте
 тяжело на колокольне
 бить в набат мне
 нет увольте
 у меня теперь протез
 был я жив
 да вышел весь

* * *
 свои есть плюсы
 и в китайских батарейках

* * *
 будут ещё звёзды
 в вёдрах
 блики на воде
 на бёдрах
 тепло лошади
 и грива
 всплещет на ветру
 игрива
 озеро в цветах
 и листьях
 стихи тихи
 костров кисти
 ночь распишут
 до рассвета
 я слышал что

будет это
будут терема красивы
девы красны
кони сивы
небеса ярки и сини
письма белы
тесьмы лебедь
вышьет нимбы

* * *

мой акварельный лес
с листа смыл дождь
я сам промок до нитки
счастлив

* * *

в солнце
в июля
горячей юле
закрутиться
да запнуться о тень
журавля
выплеснуть полведра
полдня
обратно
на звёздное дно
и с головой окатиться
ледяною
второй половиной
горячей спиною
почувствовать
нежные губы твои
это и значит
жить

* * *

такой газетой как не подтереться

* * *
замер у ручья
хорёк
бабочка на носу

* * *

мы с маленькой Яночкой
нам очень понравилось
мы видели бабочков
таких красавицев

* * *

под проливным дождём
зонтом от бед закрывшись
в аквариуме рыбку
нёс к морю выпускать
большой пушистый кот

* * *

поэзия
точёные улитки слов
переползают улицы несмело
ложатся под колёса
засыпают
на рельсах
без страха
не проснуться

* * *

как мал
этот лист
отразивший
так точно
и тонко
законы галактик

* * *

дрожащим осенним лисом
подвывая тихонько
уходит лето

раненой в голову
перевязанная бинтами дорог
уходит осень

вскрывая вина рек
наследив цветами
убирается зима

целуя в губы
шепча прости
вернётся весна

* * *

жизнь спички
стремление дать немного света
и вот уже
обжёт пальцы

* * *

сжав в ладони горсть песка
я горжусь
что самый главный
я горжусь что впереди
самый-самый
вот такой я
вы другие
и совсем
не такие
уж и вовсе
мне до вас и дела нет
вспоминать про вас не стоит
я горжусь
что пуп земли
всем пупам другим не ровня
приходите почитать
меня
вашего героя
кряк

Здравствуй милая Наташа!

Пишешь нам такие сердечные письма. Спасибо. А у меня самого сердце очерствело окаменело стало, как мполудьрагоценный кампеньр хальцедон мутной воды. Не ч\увствую больр ни ч\ужую, ни свою, тольрко зубную (ха-ха). Суета сует доедает. Или жизненный вздоър надломпил мпена. Но нич\его, не сломал, иногда мподнимпаю голову к небу. И ведър не мпишу, не мпишется, и не мпишу, у мпена так бывает. Ты всё-таки мпъриезжай уж, мпожалуйста. Ваш дьруг мпастор на нас не выходил, если вы на связи, как-нибудьр ьрекомпендуй нас, были бы брады знакомпству.

Естьр место надежде и любви. Ведър невмпестимпая кьрасота вокьруг, льрётся ч\еьрез кьрай взлампывает наши льрды как весной Томпър. А вообще хотелосьр бы увидетьър мпъривольрную и безлюдную Мпонголию, веьрблудов и ледяные озьбра. Мподальрше от шумпа. От всей \этой свеьркающей дьребедени. Мпъродатър здесьр бы, кумпитър тамп (не в Мпонголии то естьр, а тамп в сиянии, в тишине веч\ностьр законч\ится мпъридет тишина). Или коьрабльр мпостьроить и мплаватър на нёмп. Такие мпы фантазьбры. Мпне сон однажды снился, знаешър летают, а я как-бы тоже летал, но тольрко мпод водой. МПплавал свободно как дельрфин, в ледяной синейшей воде, сьреди ледяных мпърозрач\ных нежнейших мпо цвету мподводных гоьр, над изумпърудной бездной. А свеьрху сквозьр толщи воды золотило мпеьреливч\атое солнце, и велич\ественные морские животные и все \эти блики – очьньр кьрасиво. И так ч\удесно, ч\исто.

Небеса мпърекрьрасны неземпной незампятнаной кьрасотой ведър до них не долетела ни одна кампля кьрови, скольрко люди не мпыталисьр осквеьрнитьр и их. В небесах нет ьрынков нет гоьродов. Неземпная ангельрская кьрасота, котойрой мпы иногда воровски любуемся из окон самполётгов.

А вода тяжела и насыщена в каждой кампле мпульрс жизни, в ней кьровьр но она оч\ищает её, волна за волной и мполи\этилен, и нефтьр. Где взятър ключ\ ч\то б отомпкнутър воду?

Я мпъровод ч\еьрез котойрый теч\ёт вмпесто тока вьремпя, но вот кое-кто нажал выключ\ательр и вьремпени больрше нет, а мпъровод остался, но свет мпогас.

Да и ещё, наш мир гибнет, вокьруг остаются уьроды. Уьроды тянут ьруки их мпилиаьрды. Их мпальрцы, как свеч\и мпъредстояния. И больрно знатър, ч\то любой уьрод мпод лумпой – я. Как говоьрящая собака, мповтоьряющая 15 тысяч\ браз гав-гав. Умпееет говоьритьр, но тольрко гав-гав. И вот уже осенние листьря доносят до мпена мпух тишины, золотое хьрумпокое вдохновение. Увядание без мпеч\али, а в надежде и ч\уткой ьрадости. И мпилые ути мпои, незлобивые незапомненные, летят голубымпи кьрестикампи на ч\еьрный, как мпърожьнная дырка на кьрте, юг. О как омпасен их жьребий. О как ьмпомпоч\ьр имп!? Смпогу ли я – зььрнышко для голубя, мпомпоч\ьр имп?

* * *
 речь лилась
 жива и пьяна
 в печь рвалось полено
 рьяно
 веяло теплом
 и травы
 сохли по углам утра вы
 созывал живых на пир
 солнца гул
 тяжёл и мил
 мне на сердце залегло
 жаркое твоё перо
 как теперь мне уберечь
 ищет мой живот
 твой меч
 ясен
 огненный сияй
 нас веди
 в свой яркий край
 будем огненно
 с тобой
 умываться синевой
 обниматься вглубь
 и ввысь
 глянь
 крадётся солнца кысь
 золотого не боюсь дня
 хвалят твой восход уста
 я коснулся неба дна
 в ночь играли гусли грустно
 мне с тобой
 светло и полно
 без тебя темно и пусто

* * *

над пучиной
 тихо-тихо
 звёзды
 круг вертели

пели
 жал колосья дней
 серп месяца
 прыгал заяц небесами
 царь себе
 зерно мгновений
 подбирал он
 сам с усами
 убирали в снопы вьсны
 вьсла
 весело шутили
 паруса обвисли
 кислы
 хлопали ладоши штиля
 лодка сладко задремала
 ждала ветры
 и любила
 помнила как целовала
 волны ясные прилива
 грива белая увяла
 море замерло
 игриво

* * *

безумие крови
 тянутся корни
 выше небес
 вровень
 чары чарок метнут
 тень на скатерть
 и женщина
 между ножом и огнём
 жадно
 оранжево
 срежет меня
 роза не высохла
 а проросла
 надо бы
 что ли её посадить?

* * *

на зиму мою
 снежок тихий
 на незапятнанную мою
 на беспощадную
 холодящий поклон
 лихо крутят тиски
 ледяные качели
 стальное стекло
 заломило
 за
 за
 заознобило
 да вся беда
 как на грех
 не во льде
 вся во мне
 поклялось
 закричало
 застыло
 в руке
 беззаконие

* * *

был я пыль
 и пылью лягу
 вот и вся моя снаряга
 был я прах
 и прахом стал
 вот и весь мой пьедестал



Елена Семенова

г. Красноярск

Родилась в Александровском центре под Иркутском. Окончила Красноярский медицинский институт. Работала детским врачом, журналистом в различных изданиях г. Красноярска. Печаталась в газете «Красноярский комсомолец», в журнале «День и ночь». Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева по итогам 1998 года в номинации «Поэзия».

Из ничего

Ангел мой

Я не раз замечала, что всякая мало-мальски успешная баба ведет себя так, словно появилась на свет Божий не из причинного места в крови и слизи, а подобно Афине Палладе – в полном воинском облачении, со щитом, мечом и надменным таблом победительницы.

Я не такая. Я жду трамвая. Потому, что в месте, где вылупилась на застиранную пеленку, как и положено – в крови и слизи – трамваев и автобусов, не говоря о метро, не было испокон. Было село Олонки Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В честь населенного пункта, удобренного конской мочой и овечьими катышками, меня и называли. Впрочем, благодаря декабрю, дерьмо лежало под снегом. Олонки выглядели стерильно, как и нищая операционная, в которой меня тянули наружу приемом Петра Первого – локтевым упором сверху и щипцами, утопленными в темечко, снизу. До сих пор, задумавшись, почесываю на башке крошечную лысинку.

Косоглазые соседи по палате были невинны и чисты, как малая родина под снежным покрывалом. Они так неразличимо трогательно привыкали к жизни в сиротских свивальниках, что пьяный мой родитель, давя ботинками тараканов, подошел к каждому мелкому буряту, прежде чем обнаружил свое чадо – самое белообрисое и страшенькое из семерых подснежников, с кровавой шишкой на башке.

– Поедем домой, дочка! – уронил папа коньячную слезу на скукоженную мордашу. Наверное, с тех пор я не выношу запах перегара...

«Домом» папа называл Александровский централ, легендарную тюрьму царской России. Даже из Петропавловской крепости умудрились свалить парочка сидельцев на каких-то связанных простынях. Из Александровского каземата с его стенами три метра в глубину и высоченной оградой никому не удавалось слинять. Да и куда бежать – вокруг тайга на тысячи километров... «Домом» папа называл место своей и маминой работы – областную психбольницу, размещенную в бывшей тюрьме. Суть заведения за полвека не изменилась. За стеной темной пристройки, в которой когда-то глушила горькую царская охранка, а теперь свили гнездышко молодые доктора, резались в карты алкаши, острые «белки» рвались с кроватей и окликались чертей. Соседство не мешало семейному счастью. Алкаши впоследствии ничем не мешали и мне – результату стационарной любви. Разве что до срока вбили в детскую голову букет нецензурной лексики. Уже в год я материлась виртуозно и пела популярную песню из «Человека-амфибии»: Эй, маят! Ты слишком доуго пьвай! В гости к алкашам меня отправляли без сопровождения – эти пациенты были безопасны для младенца. Алкаши любили меня – как напоминание о доме, о заброшенных «детях понедельника», погибающих без отцовской ласки. Алкаши были со мной нежны. Я взаимностью не отвечала. Все детские силенки, как острый лазерный луч, были сконцентрированы на ангеле, собственном ангеле...

Итак, папа позвал меня домой. Надо отдать должное – он сомневался, стоит ли рисковать и переться с новорожденным дитем за сорок километров в сорокаградусный мороз и жуткую метель. Папу торопила юная мама.

– Новый год... – хныкала мама. – Семейный праздник...

– Машины стоят, Люсенька, – пытался косячить папа.

Он не врал: представительский красный «Москвич» с разбитой фарой наотрез отказался заводиться. Психушный газик тоже. – Ну, сделай же что-нибудь, – ныла мама. – Попроси в части танк...

Папа совершил подвиг.

Утром 31 декабря во двор райбольницы въехала ассенизаторская машина. В кабине, куда мама впорхнула с драгоценным свертком, воняло солярой. Но даже дизельное топливо не могло перебить стойкий запах бурятского говна.

Мне было пофиг на амбре, я ехала домой.

– Счастливая будет! – хохотнул водитель и тронулся в метель.

Дерьмо замерзло, громыхало, выбивало затейливый ритм грядущей счастливой жизни. Дальнорукый Господь разглядывал уродливого младенца под четырьмя одеяльцами. От жалости, не иначе, он послал мне никчемушной ангела-ассенизатора – на все времена...

– Ой!.. – напугалась мама.

Мой первый дом, пристройка к больнице – по самую крышу забросан снегом. В сугробах торчат еловые ветки. На ветках конфетные фантики и шишки. Дверь тоже утыкана фантиками. Домишко выглядит полным идиотом.

– Это Гоша утеплит и украсит, – успокоил папа. – Он готовился, знал, что мы приедем с ребенком.

Так я услышала имя ангела.

Гоша пришел через час. Потоптался в дверях, попросил маму:

– Покажи девочку Аленку.

Прямо в ватнике и валенках протопал к коляске, дотронулся до пушистой щеки обмороженным пальцем и обернулся к Тому, Кто За Спиной:

– Смотри – такая маленькая, а живая...

У Гоши была мания преследования, один из самых опасных симптомов в психиатрии. Те, Кто За Спиной, часто разыскивают подопечным врагов, шепчут, направляют, советуют избавиться. Невидимый спутник пристроился за контуженым лейтенантом Георгием еще в 44-м, в ровенских лесах. Он оказался непохожим, особенным. То ли к Гоше прилипла душа рачительного бюргера, то ли несчастного трудяги хохла, на пинках отправленного в бандеровский схрон, то ли русского солдата из добротных крестьян, но Тот, Кто За Спиной, не искал моему ангелу врагов.

«Работать, надо работать», – шептал он старожилу Александровской психушки. И Гоша пахал. Пока доктора не сочли его вольноотпущенным, мыл полы, помогал сестрам раздавать таблетки, аккуратно уносил в палату больных с кататоническим ступором, подыгрывал армянину Айку с манией величия – подавал ему таблетки, стоя на коленях, а то и подползая к стопам императора. С первого взгляда Гоша казался совершенно нормальным. Настораживала только его гипертрофированная любовь к людям, безмерная доброта. Все становилось ясным, когда ангел беседовал с Тем, Кто За Спиной. Много позже отец пересказывал в лицах, как это выглядело:

– Возьмем триаду слов – «сумма», «сума» и «букашки», – замогильным, чужим голосом вещал Гоша. – Сумма – это деньги, много их или мало...

– Сума – это когда человек сходит с ума! – вступал Гоша родной партией.

– А буквашки, – продолжал Тот, Кто За Спиной, – это трехтомное собрание сочинений под редакцией доктора Ханта!

Нет, все-таки к Гоше прилепилась чья-то интеллигентная душа...

До моего появления в Гошиной жизни он уже лет семь бродил по поселку бесконвойно. Рубил дрова аборигенам, чистил дорожки от снега, косил траву. Денег не понимал, не брал и был равнодушен к еде. Слабость у моего

ангела нашлась единственная – сладости. В трудные послевоенные годы – сахарин, позже – карамельки. Бумажки Гоша аккуратно разглаживал и ныкал в тайники. При случае – например, в честь моего рождения – доставал и украшал Вселенную.

И еще одну расплату за помощь требовал Гоша или Тот, Кто За Спinoй: хозяин должен был выслушать все, что думает о нем псих-трудоголик. Моему папаше доставалось порядком. Гоша трезво, без признаков шизофрении объяснял родителю, что в сельской жизни он полный чудак на букву «м», что мало его в детстве пороли, что водка – зло, что красавица-жена с ним пропадет. В страшное возбуждение Гошу привели попытки отца заняться животноводством.

– Люсенька, почему бы нам не завести поросят? В деревне все-таки живем, – осенило папу.

Мама, горожанка в бессчетном поколении – сопротивлялась. Но остановить папу не хватило сил.

Через полгода над родителями ржал весь поселок. Свиньи были настолько худыми, что обросли шерстью, как дикие. Папа пытался соорудить для животных какую-то стайку, но, видимо, не получился каменный цветок. Замерзающие свиньи проскальзывали сквозь дыры в заборе, вырывали норы в стогу и оттуда охотились, кидались на прохожих. Наконец, сосед, которому кабанчик прокусил валенок, зарубил животное лопатой.

– Мертвый, мертвый, – причитал Гоша, размазывая слезы. И ругал последними словами – не покусанного мужика, а моего отца.

Мир для ангела делился на две части – мертвое и живое. Мертвыми были неожиданные предметы: пьяные мужики в лужах, медсестра Елизавета Михайловна, грубиянка, ожесточенная работой. Мертвыми были близнецы Степка и Степан – больше никто в поселке не пытался обзывать и швырять камнями в добрейшего Гошу. Кстати, в том, что близнецы оказались придурками, виноват поп из соседнего села Рождественского. Бухой был – крестил двоих детей, а думал, что одного – двоится в глазах.

Меня, уродца с кровавой шишкой на башке, Гоша немедленно признал живой. В первый день знакомства маме пришлось выгнать надоедливую ангела на мороз. Она еще не понимала, какое счастье ей подвалило. Гоша не ушел, трясся на крыльчке в фуфайке и нервно прислушивался к мяуканью за стеной. Пришел папа, завел очоленного Гошу в избу, отпоил чаем, благословил на первое купание. Папа, в отличие от мамы, соображал быстро. Я вся в него.

Я лежала в цинковом корыте и держала ангела за палец. Целительным дождем на раненую голову лилась Гошина нежность. Я была спокойна –

впервые с тех пор, как грубо выдернули в жестокий мир.

С этого новогоднего вечера мы не расставались.

В незапамятные времена женщины уходили в декрет ровно на два месяца. Родители подгадывали несовпадение дежурств – не тащить же ребенка в отделение. Мама даже не догадывалась, что папа нянчил дочку своеобразно: втюхивал Гоше бутылочку со сцеженным молоком и отправлялся по своим делам. Правда, предварительно терпеливо выслушивал от ангела, что как отец он – полное дерьмо, что лучше бы ему сдохнуть, чем заводить таких прекрасных детей, что я уже давно его, Гошина дочь, бедная сиротка, чтобы папа никогда больше не возвращался со своих гулянок, а замерз к едреной фене в сугробе и так далее. Мама только утром, по стойкому больничному запаху понимала, что ангел гостил в доме. Сама она с удовольствием принимала Гошину помощь в таком сложном деле, как купание, ведь, очухавшись после щипцов, я стала довольно вертлявым младенцем. Гоша гулял со мной. Каждый раз украшал коляску конфетными фантиками и остатками новогоднего серпантина, гордо шествовал по поселку. Я никогда при нем не орала – стоило пискнуть, Гоша и Тот, Кто За Спinoй, успокаивали очередным диалогом, достойным Большой Медицинской Энциклопедии.

Суеверные александровцы, естественно, считали шизофрению заразной.

– Смотри, Петровна, – говорили маме, – будет дите чокнутое с такой нянькой.

Дитя, конечно, вышло не слишком умное, зато живое. Благодаря ангелу, который дважды до года спас от смерти. Впервые месяцев в пять, когда мама накормила младенца деревенской сметаной и уметелила на дежурство. Папа, как всегда, оставил дочь на Гошу. В полночь у меня началась рвота. Я бы точно задохнулась, если бы ангел не ухватил за ноги и не потряс головой вниз.

Второй случай пришелся на жаркий континентальный июль. Родители пошли купаться на Ангару. На берегу остались коляска и овчарка Амур. Говорят, тупее пса природа не рождала. Как только папа с мамой отплыли подальше, Амур решил, что ребенка просто забыли, ухватил коляску и поволок в ледяную воду. Я выпала в набежавшую волну. На счастье мимо пролетал ангел...

Слово «Гоша» прозвучало раньше, чем «мама». Все уже привыкли к сумасшедшему с ребенком на руках. Мама давно плюнула на Гошину гигиену, и я привычно терлась мордахой об ангельскую замызганную фуфайку.

На третьем курсе института я пришла на кафедру психиатрии и опознала запах и заплакала. Ни с чем невозможно спутать коктейль из заношенных тряпок, хлорки и безумия – застарелого, безнадежного, тоскливого...

На первый день рождения Гоша принес куклу. Сшил из тряпочек, нарисовал глазки, прицепил косички из мочалки. Я не слезала с его рук целый вечер.

– Чувствует, – грустил папа.

Через день меня увезли к бабушке и дедушке за полтыщи километров. Гоша приходил в начале ежедневно, потом раз в неделю, потом прекратил вообще.

У меня есть старая фотография. Стена Александровского централа. На фоне позируют куча ребятишек, выстроенных в линейку. Я – самая маленькая из этой оравы, двухлетняя.

Кадр немного смазанный, потому что девочка в черной шубке уже начала движение. Никто и не ожидал, что спустя год ребенок рванет к проходящему седому человеку в фуфайке, с топором в руке.

– Ааааааа! – заверещала я. – Гошаааа!

И покатила к кубарем с пригорка.

Он не сразу догадался взять меня на руки, обнимал неловко топором и свободной, вечно обмороженной рукой. Потом, уже сидя наверху, я то цеплялась, прижималась к поношенному ватнику, то отодвигалась, чтобы убедиться – это он, мой ангел. Гоша чего-то бормотал. Он, кажется, так и не узнал меня. Он, кажется, был рад, когда меня забрал отец.

...В семнадцать из меня полились гормональные стишки. Безумная аура Гоши нашла выход, превратилась в музыку и черную вязь.

Однажды в доме раздался звонок: поэт с солнечной фамилией сообщил, что готовит цикл передач на ТВ о русской классике.

– Представь – взгляд зрелого мужчины и юной девушки на один и тот же пласт. На Пушкина, например. Восторг, правда?

– Восторг, – согласилась я.

Поэт меня соблазнил. В том числе и Пушкиным, которого я вдруг обнаружила вне школьной программы.

Мы сошлись на телестудии. Я – в каких-то дурацких кружевах и локонах, он – в чем-то красном, с седыми висками и фруктовыми глазами.

Поэт попросил показать, что я намерена читать из Пушкина. Настроение у солнечного стихотворца испортилось:

– Тебе же семнадцать! Зачем тебе монолог Фауста? Прочти «Навстречу северной Авроры», «Я вас любил»... А этот стих – вообще ужас! Он не должен нравиться детям, только сорокалетним!

Я все равно прочитала, что хотела. И конечно, любимое: «Не дай мне Бог сойти с ума...» Ангел-ассенизатор сидел на кружевном плечике и посмеивался. Отношения с поэтом расстроились, передача была первой и последней. Только через много лет я поняла, почему. Оказывается, поэту позвонил Большой писатель и поделился впечатлениями:

– Ты выбрал слишком живую девчонку...

«Такая маленькая, а живая».

Я уже совсем большая, Гоша. Я старше того замерзающего ангела на крыльце, в канун Нового года.

Я тебя не помню, Гоша. Я тебя не вижу. Просто иногда чувствую ауру, нежный ветерок безумия. И кружится голова, и смещается пространство, и время поворачивает вспять, и я повторяю пушкинское: «Не дай мне Бог сойти с ума».

Спасибо тебе, ангел.

Из ничего

Костылева привезли из реанимации только утром, а к ночи он снова затяжелел – сник всеми двумя килограммами, заскулил, скуксился, грудка пошла ассиметричной волной.

– Рано из кюветы вынули, неси обратно, – распорядилась дежурный врач, укладывая телефонную трубку. И заворчала – Нет бы, сюда приволоклись интубировать. Еще не донесешь...

Катя быстро шла по подвалу. Невесомый Костылев почти уgomонился, уткнувшись пушистой мордочкой в теплую грудь.

Катя подумала, что без недоношенного мужичка Костылева топтать в полночь по подземелью было бы еще страшнее. Шаги эхом отдавались от стен, тусклой очередью мерцали лампочки, проплывали на кафеле матерные граффити, оставленные болезными подростками.

Катя шла по душному ночному подвалу и вспоминала жуткое – выход из наркоза, полет в золотом тоннеле. Кто-то был там еще кроме нее, Кати, кто-то затормозил возвращение. Лицо выступило из стены, металлические губы двигались, говорили. Катя не успела разобрать – что ее вдруг вынесло к свету, к тошноте, к людским голосам, к резиновому нитью в животе.

Никакой мистики, обычная галлюцинация, тоннельное сознание. Нимфа Калипсо наколдовала. Но Катя все же истолковала речь из золотой стены – рассталась с юным глупым мужем, зачеркнула тренировочный студенческий брак, слила в эмалированный тазик вместе с нерожденным – вот таким же Костылевым, ни в чем не виноватым, ничего не понимающим кроме боли и голода.

С тех пор Катя жила сиротой, отмаливала грехи в детстве, самом раннем, самом беспомощном.

В реанимации ждала сестра – яркая брюнетка на каблучках. Вся в тону-се – при косметике, укладке, кружевное белье мелькает в вырезе халата.

«Это понятно. Реанимация – мужская страна», подумала Катя, передавая Костылева в ухоженные ручки.

Костылеву это не понравилось. Ну что бы понимал – замыкал, застонал, отрываясь от уютной «детской» Кати.

– Да он вполне живенький у вас. Подождите, может, зря принесли, – сказала красивая сестра. – Врач посмотрит, решим. У нас кювезы заняты. Катя тихо села, спрятав под лавку ноги в растоптанных шлепанцах. И все-таки поправила волосы, промокнула вспотевший лоб – мало ли что у них тут, в мужском госпитале.

Абориген вышел через пять минут. Руки в карманах, длинный такой. Стриганул понятным взглядом по круглым коленкам, круглой груди, вспыхнувшему Катиному лицу.

– Ребенка заберете, прокапаете в отделении, – он назвал препарат.

– Значит, РДС вы ему снимаете? – ляпнула пятикурсница Катя. Не для того, чтобы встать на одну доску с этим самоуверенным профи, для того, чтобы хоть чего-то сказать под прицелом невозможных глаз.

Длинный холодно приподнял брови:

– Цену не набивай. У тебя высшее на лбу написано. Забирай ребенка, студентка.

Красивая медсестра вынесла на ладошке загруженного Костылева. Катя схватилась за младенца, как за щит – словно он мог прикрыть ее от глаз длинного, пошла к дверям.

– Эй, студентка! – сказал ей в спину реаниматолог. – Я приду часа в четыре, посмотрю.

Костылев спал, прокапанный, сытый и счастливый, плыл в невидимой лодочке по золотому тоннелю. Четыре часа утра, час Быка – все они спали, малышня из раннего детства. И дежурная докторша дрыхла в ординаторской. Только Катя не спала. У Кати произошла централизация кровообращения – ледяные пальцы и горящее лицо. В груди, в животе пульсировала кровь. Как ребенок, толкалась аорта – Катя чувствовала ее рукой. Она опять сходила в ванную, остудила лицо холодной водой. Вышла и увидела высокого реаниматолога, и поняла, что без толку плескалась.

– Как тяжелый твой? – спросил врач.

– Спит.

Она подвела его к плексиглазовой люльке, где лежал Костылев. Катя была как-то в кабине военного вертолета – такой же прозрачной. Летчики сидели там, словно в стакане. Вот и Костылев тоже завис между небом и землей в своей застираной пеленке.

Реаниматолог поднес фонендоскоп к твердому носику в белых точках, стал считать дыхание.

Катя стояла справа и чуть сзади, обреченно запоминала длинную бровь и высокий лоб, и пальцы с редкими темными волосками на суставах. Жар отступил, накатилась слабость. И то, и другое скрыть было невозможно, бесполезно. Реаниматолог выпрямился, обернулся:

– Все хорошо, – сказал он Кате серьезно. – Пойдем.

Она прошла за ним молча по коридору отделения. На лестнице в тоннель он остановился на ступеньке ниже и тесно обнял Катю. Она немедленно поняла, что он хочет ее не в деталях, а всю – с круглыми коленками, круглой грудью и круглыми от ужаса глазами, что он хочет не сейчас, а вообще, хочет именно так, как надо Кате, как надо недоношенному Костылеву, как надо любому живому существу, чтобы оно могло жить и дышать.

Реаниматолог еще подержал Катю руками и губами, а потом трудно отпустил и позвал к себе домой – завтра вечером, и Катя сказала, что конечно, да, придет. И пришла. И вошла в холостяцкую квартиру, в чужую жизнь, и было так много и хорошо ему, что Кате было даже нехорошо. И Катя поняла, чего стоило ему там, на лестнице, ее отпустить, чтобы потом взять надолго, может, навсегда.

– Почему у нас не началось там, в подвале, сразу? – спросила Катя через много лет. – Помнишь, там были курилки, и кресла стояли, и вообще никаких табу.

– Не знаю. Чего ты глупости спрашиваешь? О недоносках твоих заботился...

И правда. Когда Катя вернулась в отделение, Костылев уже кряхтел, выражал недовольство, требовал пайку в 20 граммов. За ним подтягивались другие, и дежурная выгребала из ординаторской, позевывая. Катя носилась между кроватками, таскала многочисленную малышню на пеленальные столики и удивлялась, как из ничего столько выливается и опять вливается, и круговорот этот нескончаем. Хорошо, что сегодня занятия тоже здесь, в детской краевой, и всего-то надо добежать из общаги, встать под душ и наконец-то накраситься.

А вечером надо сделать из ничего что-то, потому что мог померещиться, привидеться, показаться тоннель, ведущий к свету – как под наркозом...

Гинунгагап

В мутное межсезонье, присыпавшее пустоту крошевом небесного мусора, она выходит из общаги в истерически алой куртке. Головенка торчит из капюшона маковым пестиком, ядовитое молочко сочится из-под ресниц. Царапина тропы, словно в сказке про девочку Алису, дыбится, оказывается поперек. Она растеряно балансирует на краю, а потом идет по бездорожью через вузовский парк.

Спасают тома, перегруженные латынью, космическими комиксами человеческой плоти.

Спасает спортзал с его мускульной болью. Спасает травма кисти, обернувшаяся подкожной ягодой: то с вишню, то с чернику, то спящая, то ноющая.

Спасает халат с завязками на спине, обманывающий моду, намекающий на ипритовую войну, госпиталя, замороженные эфиром, сестер милосердия в монашеских косынках.

Она цепляется за все это с усердием, шарит в липкой пыли прошлого, нащупывает будущее. Она делает все, чтобы обмануть, победить центростремительный вектор, уносящий в водоворот первой потери.

В мутное межсезонье запотевшие окна в пустой квартире словно затянуты рисовой бумагой. На рассвете он рисует на стекле летящую женщину. Он благодарен туману, закрывающему перспективу сталинского квартала, его колодцев, в которых каждый звук расходится кругами. Он благодарен запотевшему зеркалу в ванной – уже три месяца бреется на ощупь, только бы не видеть театрального, ничуть не изменившегося лица. И особая благодарность домработнице, распихавшей в кладовой женские и мальчишеские вещи – до последней шпильки и поношенных кроссовок.

«Все проходит», – медитирует он, перешагивая лужи у институтского крыльца.

«Все проходит», – здороваясь с кафедральными работниками, ловя сочувствующие взгляды мужские и сочувственные женские.

«И это пройдет», – кивая новой группе третькурсников, дорвавшейся до хирургии – ручной, эффективной, божественной работы.

– Вам не кажется, что вы берете на себя слишком много? – провоцирует нахальный парень.

– Хирург берет на себя функцию Бога, создавшего человека по образу и подобию своему. Вы вносите правки в Его работу. Вы грубо, железом вторгаетесь в человеческое тело – это грех!

Хочется напомнить демагогу, что душещипательные беседы надо вести на кафедре деонтологии у доцента Орлова. Здесь – не место, здесь работать надо.

Но он видит группу – тревожные глаза, кто-то шипит на зарвавшегося студента. Все они ждут – что скажет профессор Шведов, баловень судьбы Шведов, любимец женщин Шведов? Говорят, у него горе – красивое, как в индийском кино, по-своему, по-шведовски заслуженное. Размазала беда старика Шведова, или прежним остался?

Не смотрит на профессора и ничего не ждет только девчонка в допотопном халате. Такие не носили уже его ровесницы в 60-х – халат похож на смиренную рубашку, с задней застежкой. Рискованный фасон – не скрыть ни одного изъяна. Но эта может себе позволить – он заметил.

Девочка совсем не смиренная – напряженно смотрит в окно, задрвав подбородок, жесткий кулак скулу подпирает. А на запястье у нее... Вот она, палочка-выручалочка для профессора Шведова.

– Вы. Да, да, подойдите, пожалуйста.

Он держит в руке тонкую кисть и показывает группе гигрому – опухоль рядом с анатомической табакеркой. Подкожная ягода убегает от профессорского пальца.

– Хирургия иногда считается с Богом. Можно и без скальпеля обойтись.

Это он мальчишке-провокатору говорит, а смотрит на девушку.

– Прижмите ладонь к столу. Хорошо. Есть в группе молодой человек, который вам нравится?

Она серьезно отвечает Шведову:

– Нет.

Профессору становится неловко.

– Тогда ни на кого не смотрите, просто отвернитесь. И ничего не бойтесь.

– Я не боюсь.

Какая суровая девица. И трогательная – отвернувшись, наклонила голову, позвонки на шейке торчат. Профессору отступить некуда. Он берет тяжелый учебник «Общей хирургии» и плашмя бьет по запястью. Вскрикивают все, кроме сердитой пациентки, она – бледнеет и молчит. Гигрома лопнула, провокаторы посрамлены и бежат, аудитория рукоплещет, профессор Шведов на белом коне.

Можно было и промолчать. Но он заискивает перед девчонкой:

– Видите – без крови, быстро и почти не больно. Правда?

Она пронзительно смотрит на Шведова и произносит запретное:

– Правда. Так бы и умереть однажды.

Сыну не было больно, он это знает точно. Сыну было спокойно, тепло, уютно в просторной машине. Он с младенчества любил комфорт, перед сном взбивал подушку, звал маму почесать спинку, папу – прочитать сказку. «Скандинавские мифы» – любимая книжка. Он радовался: «Папа, «Игорь» – это северный ветер! Мама Инга и папа Олег – у вас тоже скандинавские имена!». Он долго заучивал слово «гинунгагап», пробовал на вкус, на звук, наклонял голову, как щенок – слушал. Его не напугало бездонное ничто. Через месяц после лечения у известного нарколога-киргиза сын взял со стоянки машину и уехал за город. Там его и нашли – на светлых сиденьях, накрытого пледом. Он даже ампулы аккуратно сложил в пакет и написал записку, вежливый героиновый ребенок. «Все равно вы однажды захотите моей смерти. Лучше сейчас. Может, примут в Вальхаллу».

И нарисовал компьютерный смайлик.

Жене было больно, он это знает точно. Не от падения с четвертого неформатного сталинского этажа, не от хруста костей, деликатно приглушенного плотью. Это всего лишь финал нарастающего страдания, с которым ей пришлось справляться в одиночку. Девять дней после похорон она выдержала. Сухими губами брала с шведовской ладони таблетки, спала в заношенных тряпках, ела, роняя куски под стол, низко выла за стеной. Шведов жил в кабинете. Он знал, что должен быть рядом, но не с этим неузнаваемым существом. Шведов был занят: долгие девять дней вспоминал беременную жену – ее подвижный живот, распухшие губы, беспричинные слезы. Он помнил, как мохнатая безжалостная страсть, обитавшая в паху, висевшая на хвосте спинного мозга, вдруг взмахнула робкими цыплячьими крылышками, взлетела, заскулила под ложечкой, обняла сердце. Тогда Шведов не выпускал жену из поля зрения. Он не мог потерять ни мгновения из эволюции прекрасного уродства, преобразившего юную женщину, он выпил все сладкие слезинки из милых, затуманенных материнством глаз, он держал ее над тазом, когда она содрогалась от пустой мучительной рвоты, он прижимал к себе их обоих – таких слабых, таких родных – свою женщину и свернувшегося в ней большеголового котенка.

Беременную жену Шведов любил. Все остальное время хотел, но больше – не хотел. Хотел – других. Не любил никого. Уйти – никогда не представлялось возможным в память о девяти месяцах глупого счастья.

Девять дней после смерти сына Шведов прощался с женой. Он ничем не мог ей помочь, и себе тоже. Гинунгагап. Бездна. Жена сорвалась. Он

остался.

Она разглядела профессора только после удара. Рефлекс на боль. Так расстрельные в падении оборачиваются в сторону выплюнувшего пулю ствола.

Мутное лицо Игоря лекалом легло на отцовскую острую красоту, но текло, проигрывало юношеской слабостью. Совершенный Шведов-старший накрыл ноющую руку ладонью, удержал, как птенца. Он смотрел на нее, как на всех своих больных – окутывал медовым сиянием, покоем, силой.

Игорь, слабый Игорь, которому оставалось жить сутки, смотрел на нее совсем иначе – словно в бездну. И слушал, наклонив голову к плечу, как бездомный щенок.

– Ты должен был мне сразу рассказать. Наркомания неизлечима, а я здорова. Прости, ничего не получится.

Она в этот момент была горда своим убийственным здоровьем, смертельной свежестью.

На втором занятии Шведов привел группу на операцию, а серьезную девочку позвал в кабинет. Трогал припухшее запястье, перемывал косточки теплыми пальцами. Потом признался:

– Я не стал при группе уточнять. Гигрома лопнула, но может появиться снова. Тогда придется оперировать.

– Зачем? Вы еще раз – книжкой... Или кирпичом.

Шведов отвел глаза и попытался шутить:

– Мне не надо было устраивать показуху, но ты же стойкая. Это сразу видно.

– Значит, вы вправе делать со мной все, что хотите?

Начало фразы, ее ирония и холодок – оборвались, утонули в последнем слове. С Шведовым произошло то, что должно происходить: беглый взгляд снизу вверх – от кончика туфельки до строгой стоечки халата, наглухо скрывающего... Да ничего не скрывающего. То, о чем еще минуту назад не думал, не знал, не мог представить, как на блюдечке с голубой каемочкой – горячим вызовом, зримыми деталями, соленой волной пронеслось в сознании.

Руку протяни и возьми эту гостью из будущего – после трех месяцев метания в сталинской клетке, много раз просчитанной перспективы паденья, дуэта потусторонних голосов, предлагающих панацею от одиночества...

– Почему ты не сказала?

Приплыли. Хватит прислушиваться к нежной новорожденной боли. Надо подняться, сложиться перочинным ножом и ответить на вопрос. А что ответить? Правду? Так и сказать: «Понимаете, профессор, все должно было получиться с Игорем, все к тому шло, летело. Но поскольку я нечаянно убила вашего сына, меня по инерции вынесло на вас, как на встречную полосу. Ду-

мала, это будет так, словно Игорь жив и я ни в чем не виновата...»

– Я бы сдержаннее себя вел. Мне и в голову не пришло...

Ему и в голову не пришло. Ему не нужна правда. Она чувствует облегчение и трусливую радость.

– Зачем ты это сделала? – закуривая, не унимается профессор Шведов. – Мне скоро шестьдесят. Что я могу тебе дать? «Пятерку» по хирургии и без меня получишь. Деньги? Ну, это можно. Статус? Зачем?

Она набирается сил и поворачивается к нему с улыбкой.

– Кто же, если не вы – быстро, без крови и почти не больно. Мне нужен был опытный мужчина – только и всего.

Он верит ей легко и необратимо. Девочка чувствует, как спадает напряжение, как выдыхает, расслабляется этот красивый жесткий человек.

– Ну, раз так, я могу научить тебя любить. Хочешь?

– Я плохая ученица.

– Посмотрим.

Когда она стоит в дверях в своей дурацкой курточке, он говорит назидательно, по-отцовски:

– Красный – не твой цвет. Холодные оттенки – трава, бирюза, молочный белый. А вот ретро-халат тебе идет удивительно. Откуда ты – из прошлого или из будущего?

В мутное межсезонье настоящее так быстро становится прошлым, что забывает свои истоки – будущее.

Каждый раз, когда она вытягивается в струну на тахте в кабинете Шведова, реальность стремительно исчезает. Остается страсть мертвого мальчика, перетекающая в умирающего мужчину. Она замечает в Шведове все новые следы распада. Жизнь, которую мириадами аргонатов отправляет Шведов в плавание по ее соленому телу, отнимает у него день за днем, неделю за неделей.

Она не может это остановить и уже не надеется поймать настоящее.

Мальчик похож на Шведова, если бы не светлые волосы и прозрачные глаза. Он просыпается среди ночи и долго смотрит в темноту. Отец переживает, старается отвлечь ребенка музыкой, сказками. Мальчик равнодушен к тому и к другому. Чтобы заснуть, ему довольно прикосновения маминой руки.

Он уже знает: эта женщина побеспокоила его, вызвала из небытия, как северный ветер.

Но он еще слишком маленький и не понимает – зачем.



Владимир Титов

г. Новосибирск

Родился в 1980 году. По образованию врач-психиатр. Работает ответственным секретарем в журнале «Сибирские огни». Печатался в журналах «День и ночь», «Интерпоэзия». Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева по итогам 2005 года в номинации «Поэзия».

Здесь всюду побережье

* * *

и солнце на стенах и смех
на окраине парка (а в глуши его нет) –
и ветер в деревьях
после долгой дороги
у дома
(ведь в дороге мы слышим только дорогу)
и приблизилась в полночь река
обточившая память
(ведь не знает грамматики верное время) –

но согласие и решимость
на времена
на смерть и рождение
чем восприму

* * *

как дождь на пустоши застигает тревога
счастливейших

услышим ли родничок в листве
узрим ли кормушку
опрокинутую птицами
в теплый снег
узнаем ли наше дерево
возвращаясь ночью навеселе

сбережем ли жизнь

* * *

как дальняя гроза в нас возрастает
сельский хлеб
с великой мудростью
стадо проходит
в холмы

на радость остается нам
отвергнутое:

распахнутое утро
(здесь всюду побережье)
холодная вода из умывальни
и ясность круглых бревен

и каждую минуту кто одарит
сбыванья даром

* * *

поющая просека на закате
в лиственницах
ветер с воды
(начала) –

шмель в луговом бутоне
во время грозы
торжественный зной полдня
руки твои
(благодворящая теснота) –

первые сущности
истинная ousia

что же тревога

Астафьевский мемориал

К 85-летию Виктора Петровича Астафьева лауреаты премий его имени по нашей просьбе поделились своими мыслями о Викторе Петровиче. Для кого-то Астафьев – близкий, родной человек, для кого-то – прославленный мастер современной российской прозы, для кого-то – просто любимый автор. Эти эссе лауреатов и составили раздел «Астафьевский мемориал» нашей книги.

Марина Саввиных

г. Красноярск

Лауреат премии Фонда имени В.П.Астафьева по итогам 1994 г.

Журнал «День и Ночь». Астафьевские традиции

В апреле 2007 года журнал «День и Ночь», один из самых популярных современных российских журналов, потерял своего Главного редактора, придумавшего и вместе с небольшой группой писателей при поддержке и прямом участии Виктора Петровича Астафьева организовавшего в Красноярске толстый журнал для семейного чтения. Роман Солнцев 14 лет «раскручивал», как сейчас говорят, этот журнал, который быстро перерос региональные рамки и стал желанной площадкой для выступления перед читающей публикой самых разных авторов – от маститых, увенчанных лаврами еще при социализме, до совсем юных, впервые пробующих силы на, так сказать, профессиональной сцене. Солнцев создал образ журнала, работоспособную редколлегию, в которую, кроме красноярцев, входят писатели из Москвы, Барнаула, Перми, Омска, Владивостока, а главное, устойчивый круг авторов, продолжающих сотрудничать с журналом и сегодня.

Позволю себе процитировать фрагменты из писем писателей, которые мы получили вскоре после ухода Романа Харисовича:

«Спасибо Вам за тёплые слова и сообщение о том, что повесть моя увидела свет в "Дне и Ночи" – журнале, который для многих писателей глубинной России и русскоязычного зарубежья стал той редкой проталиной, где вытягиваются к солнцу свежие ростки...»

Юрий Беликов, Пермь

«...Какой редкий "семейный" журнал, для которого подлинно нет "ни эллина, ни иудея", незаметно вырос в России!»

Валентин Курбатов, Псков

«Спасибо за поддержку литераторов Алтая! Мы всегда с Вами в борьбе за журнал, бывший и остающийся уникальным, светлым явлением нашей современной литературы! Каждый экземпляр у нас в Барнауле сразу же расходуется по рукам, снимаются с него копии и т. п.»

Михаил Гундарин, Барнаул

«Вам, замечательному журналу "День и ночь", нужно продолжать работу, несмотря ни на что».

Владимир Яранцев, Новосибирск

Цитировать можно еще и еще; наши авторы, читатели, библиотекари, учителя пишут о том, как важно существование журнала, как много он значит для многих тысяч людей, говорящих и пишущих по-русски во всем мире. Я не оговорила: примерно четверть объема каждого номера (а это около 250 страниц) – произведения наших соотечественников, живущих в США и Германии, Латинской Америке и Франции, не говоря уже о «ближнем зарубежье», которое, став таковым, не перестало духовно тянуться к родной культуре, особенно к нам – за Урал.

Я так подробно об этом говорю, чтобы – и не голословно! – заявить во всеуслышание: красноярский журнал «День и Ночь» живёт и здравствует; он выходит стабильно, имеет собственный сайт в Интернете и представительство в Журнальном Зале Русского журнала. Жизнь продолжается... и какой она будет, жизнь и деятельность сегодняшнего солнцевского журнала, зависит от нас. Поэтому – о традициях...

В октябре 1998 года, открывая Красноярский литературный лицей, Астафьев говорил: «Я знаю много очень хороших русских писателей, с которыми учился на Высших литературных курсах, общался десятки лет. Они с большим трудом и очень редко произносят слово «писатель», в любом удобном случае о себе они скажут «литератор», очень осторожно. Потому что это очень большая ответственность. В России, где писали Пушкин, Гоголь, Толстой, Тургенев, Достоевский... да и еще так называемая второстепенная литература, которая составила бы честь любого европейского государства... Произносить после них слово «писатель»?.. да и они редко его произносили, чаще говорили «сочинитель». Слово «сочинитель» мне всё-таки больше нравится, больше оно соответствует и той профессии, которая существует в мире. Профессия прекрасная и проклятая. Ничего тяжелее нет. По крайней

мере, я не знаю. Переработал я рабочим всяких специальностей... и в горячем цеху работал, и в аду бывал, но знаю, что вот это – уже на износ. Это изнашивает навсегда. Все изнашивает. Если только вы соглашаетесь с тем, что вы будете литераторами, готовьтесь к огромному внутреннему постоянному труду, постоянному чтению от утра и до вечера, чтению не только того, что вам нравится, но чаще всего того, что вам не нравится, совершенствованию, обязательному приобщению к музыке, к природе... без этого никакого литератора не бывает!»

Надо ли специально подчеркивать, что эти слова и я, учительница литературы, сама к тому времени посвятившая более 20 лет подённому литературному труду, и ребята, пришедшие учиться ремеслу литератора в наш лицей, восприняли не просто как напутствие, но как глубоко продуманный завет мастера ступившим на его путь ученикам?.. Но, кроме этого, я убеждена: ту же цель преследовал Виктор Петрович, когда пятью годами раньше согласился поддержать нарождающийся в Сибири совершенно новый литературный журнал – для семейного чтения. Почему так? В чём идея?

Первое. Девяностые годы остались в нашей памяти пафосом войны всех против всех, азартом взаимоуничтожения инакомыслящих и конкурирующих... В 93-м противоборствующие политические силы не смогли найти иных аргументов в борьбе идей, кроме оружейных залпов по зданию Верховного Совета. И это был финал, видимо, последних иллюзий интеллигенции, вдохновленной надеждами перестройки и либеральными ветрами 91-го. Мы – в который раз! – вверглись в войну. И из этой войны, похоже, не скоро и не запросто выйдем. И, похоже, это снова такая война, в которой победителей не бывает. Как и для Льва Толстого, для Астафьева война всегда – зло. Справедливых войн – нет. Поэтому журнал для семейного чтения, который вознамерился издавать в Красноярске Роман Солнцев, мыслился как площадка свободного диалога «вне политики, вне конкуренции» (прошу прощения за набивший оскомину – а теперь уже, кажется, и благополучно забытый – слоган).

Пятнадцать лет «День и Ночь» печатает произведения авторов, которые часто исповедуют не только противоположные политические доктрины, но даже иной раз и противоположные религиозные взгляды. Демократы и коммунисты, правые и левые, атеисты и православные, реалисты и постмодернисты... как все они уживаются на страницах «Дня и Ночи»?

Уживаются, потому что – по-астафьевски – в момент художественного откровения становятся больше, значительнее и собственных политических предпочтений, и собственных обид, и собственных амбиций. Таков непрекаемый закон искусства: Истина, Добро и Красота в подлинном художе-

ственном произведении являются как элементы единого целого, причем слово «элементы» надо понимать здесь не как «части целого», а как стихии, каждая из которых с необходимостью определяет все целое. Отступил автор от Истины – не будет в его создании ни Добра, ни Красоты. Отрёкся от Добра – не ищи у него ни Красоты, ни Истины. Не удержал Красоту – не смогли явиться миру Истина и Добро. Казалось бы, так просто. Но... именно таков принцип отбора рукописей для публикации в нашем журнале. И именно этот принцип чаще всего становится камнем преткновения в наших отношениях с начинающими и ... продолжающими писателями. «А судьи кто?» – спрашивают те, кому мы отказываем...

Действительно, где критерий? Где мера? Последние 15–20 лет литературный процесс в России подобен реке, размывающей берега. У каждой «литературной тусовки» – своя мерка, свои герои и изгои, свои – «трибуны» и свои – меценаты. Тут уже действительно важно определиться – «с кем вы, мастера культуры?» И мы, те, кто сегодня делает журнал «День и Ночь», открыто и прямо говорим: «Мы – с Астафьевым». Что это значит?

Это значит, что для нас, как и для Виктора Петровича, фундаментальными, определяющими являются две ценности: Природа и Культура. Когда я говорю «природа», я отнюдь не имею в виду «пейзаж» или, скажем, специфически деревенскую тему. Природа, как ее понимает Астафьев, – это создание Бога, результат работы Творца. Человек – Божье дитя – достоин любви, внимания и уважения без всяких скидок на свое природное несовершенство. Астафьев понимает человека – Божью тварь – в одной великой симфонии жизни со всеми прочими Божьими тварями; счастлив тот, кто умеет жить в согласии с общим бытийным законодательством, иначе – разрушение, смерть. И не та Смерть, что есть безусловный гарант и зиждитель Жизни (Астафьев, как никакой другой русский писатель, сумел показать взаимную необходимость жизни и смерти в великом круговороте природы), а та, что ведет нашу Землю к уничтожению, к Ничто, в котором порушено не только отдельное существование, но мироустройство как таковое. Человек в минуты своего высшего раскрытия вписан у Астафьева в гармонический мир всебытия. Он тянется к своим корням, обдумывая и принимая опыт предков; он обустроивает землю, питаясь ее глубинными источниками, – и гибнет в конфликте с эгоистическими, выморочными, агрессивными собственническими инстинктами – своими и чужими. Природа у Астафьева – почва человеческого характера. И эту «почвенность» характера мы старательно ловим в многоголосии нашего журнального «самотёка».

Но этого мало... Другой – не менее важный критерий, другая – не менее важная ценность – культура. Для Астафьева создание природы, продукт творчества Бога, Величайшего Мастера, и высшее создание человеческого

духа – в момент их сопряжения в сердце созерцателя: читателя, слушателя, зрителя – РАВНОВЕЛИКИ. И это – грандиозное обещание, святая и сладкая надежда! «Красота спасет мир!». Да, спасет, если не валять ее в грязи и не равнять с иконами, изображенными на купюрах...

Итак, если говорить об астафьевских традициях, на которых держится журнал «День и Ночь», то их, как минимум, две:

– гуманизм, понимаемый как человечность – напряженный интерес и бережное, любовное внимание к человеку, будь то наш современник или воскрешаемый пером художника герой прошлого;

– подвижничество художественной формы, трезвое и, я бы сказала, самоотреченное отношение к писательскому труду.

Вот, пожалуй, и все критерии.

Поэтому активно печатаем «ветеранов» писательского труда. Их повести, романы, стихи – осмысление прожитой жизни, мемуары, дань памяти и любви. И, как правило, хороший русский литературный язык. Только за истекший 2008 год мы опубликовали романы и повести Бориса Петрова, Александра Астраханцева, Эдуарда Русакова, Владлена Грабузова из поселка Талица, что под Екатеринбургом, кемеровской писательницы Любви Скорик, Ролена Нотмана из Новосибирска, Николая Шадрина из Курска; стихи Ильи Фонякова, Лидии Григорьевой, живущей в Лондоне, Николая Еремина, Николая Алешкова, Вячеслава Руднева, статьи и эссе Валентина Курбатова... все это – личные и в то же время уже как бы объективирующие личное – размышления о жизни людей, у которых за спиной вся вторая половина XX века, размышления горькие и трогательные, жестко правдивые, мучительные и даже несколько идеализирующие прожитое... Ведь для каждого из них заклеенные либерально-демократическими витиями 60–80-е – время собственной молодости, «волшебные годы», по выражению Романа Солнцева, когда душа радуется просто тому, что она дышит, любит, стремится к счастью... и уж теперь-то, когда явилось миру все то, за что мы так крепко боролись, ценностные мерки, с которыми оглядываются назад еще не ушедшие со сцены шестидесятники, настроены по другим камертонам...

Виктору Петровичу не раз припоминали его страстный «антикоммунизм». Да, Астафьев имел все основания обвинять – и обвинял советских руководителей в экспансии против природы и ненависти к собственному народу, в чем, кстати, советский строй вполне органично смыкался с мировым империализмом. Но Астафьев никогда не был диссидентом – в привычном для нас значении этого слова. Никогда не допускал угодливых приседаний в сторону Запада. Никогда не гнался за постмодернистскими вывертами. Хотя не был он и «квасным патриотом». Как художник он вообще никогда не шел на поводу у какой-то одной-единственной внешней правды. Как это

у Пушкина о великом вселенском законе:

Но горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно...

Поэт Пушкина – «к ногам народного кумира не клонит гордой головы». Один у художника Судия – Господь Бог, являющийся его сознанию той же троицей: Истиной – Добром – Красотою. Слышит писатель голос этого Бога в душе своей – дойдет его слово до человеческого сердца; не слышит – ну, что ж... современный мир бесконечно разнообразен, каждый может создать искусственное бытие по образу и подобию своему и пустить его в странствие по мировой паутине.

Как аукнется – так и откликнется. Печатному слову есть сегодня мощная альтернатива – Интернет. Казалось бы, хочешь покрасоваться на миру – флаг в руки! Тысячи, сотни тысяч читателей... но, несмотря на это, по-прежнему писатели стучатся в журналы, где рукописи проходят оценку и отбор, где читатель – избранный, искушенный, взыскательный, где совершается самая большая роскошь на свете – роскошь человеческого общения; на том уровне, которого ищет требовательная в меру своего развития душа...

Кто же «меж нами, с кем велите знаться?» – воскликнул однажды Маяковский. И тут поневоле, отвлекшись от созерцания вершин и оглядевшись по сторонам, оказываешься в окружении т.н. «актуальной» литературы. Листаю недавно купленный на Ярмарке книжной культуры, что недавно прошла в Красноярске, сборник Игоря Золотусского, изданный Сапроновым в Иркутске, и готова солидаризироваться с каждым словом таких, например, выводов:

«Да, человек подл и низок, но он и высок, и в последнем никак не хотят признаться дети распада... произнеси при них слова «идеал», «свет», их губы искривит раскольниковская улыбка... Мне жаль этих детей, но мне жаль и читателя. Грязь способна прилипнуть к одежде, от грязи зарождаются воспаления и инфекции, и, умножая грязь, мы умножаем болезни. Литература ужасно заразительна. Она в состоянии во сто крат увеличивать то, что берет из жизни. Мат на улицах, мат на заборах, теперь мат в романах и повестях – это гибель языка, это гибель почитания предков. Мне скажут, такова жизнь. Но литература не должна сталкивать человека в яму. Поэт не могильщик, он – поэт».

Что же касается «актуальной поэзии» – о ней, по-моему, очень точно сказал в свое время Евтушенко: «Молодая современная поэзия напоминает

хоровое исполнение сольной арии Бродского». Спустя годы, это обстоятельство стало, по-моему, еще более ощутимым.

Впрочем, каждое направление имеет свои вершины. Мы стараемся ориентироваться на них... У нас есть Андрей Иванов, Дмитрий и Наталья Мурины – в Кемерово, блестящая молодая плеяда, сгруппировавшаяся вокруг барнаульского писателя Михаила Гундарина, Юрий Татаренко в Томске, Евгений Мамонтов во Владивостоке, есть «дикороссы», вдохновляемые пермяком Юрием Беликовым... да мало ли прекрасных писателей по всем градам и весям российским – надо только, чтобы здоровую поросль не глушил сорняк! На том и стоим, того и держимся!

Евгений Мамонтов

г. Владивосток

Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева по итогам 2004 г.

Посмертное уединение

Виктор Астафьев – писатель необыкновенной уверенности и высокого безразличия к читателю. Безразличия в плане нежелания прислушиваться к какой-либо конъюнктуре. Сохраняя уважение к своей читательской аудитории, которое всегда измеряется строгостью художника к самому себе, он был по большому счету глух к тому, что можно назвать читательским ожиданием, социальным заказом, злобой дня или просто модой. Он не тратил на это силы и свой писательский слух ради того, чтобы держать его открытым для другого. Чем было это – другое – я не знаю. Могу только предполагать и чувствовать, перечитывая его прозу. Эстетически меня такая неопределенность устраивает.

Виктор Астафьев был одним из последних русских прозаиков, для которых пейзаж сохранил свою художественную, а не формально-техническую функцию. У него нет пейзажей-связок, пейзажей-переходов или пауз. Они для него так же органичны, как пейзажи русских писателей от протопопа Аввакума до Бунина и Чехова. Астафьев еще принадлежал к поколению людей, для которых не было никаких отдельных от них самих описаний природы и погоды. Каждое такое описание – это психологическое окно, распахнутое не столько наружу, вовне, сколько внутрь лирического «я» рассказчика. Собственно, с этого приема и начался весь русский роман.

Именно поэтому – в силу таланта и бескомпромиссности, в силу обилия благороднейших пейзажных страниц – проза Астафьева обречена на забвение в кругах массового читателя. Это род изгнания для избранных. Может быть не изгнание, а тихое посмертное уединение в кругу теней столь же мудрых и благородных.

Рустам Карапетьян

г. Красноярск

Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева по итогам 2007 г.

Почему я не люблю читать Астафьева?

Сказал и напрягся. А вдруг накинутся да шапками закидают: да как это так, да как посмел, да кто ты такой? Впрочем, с меня, как с гуся вода. Мое личное дело: хочу – люблю, хочу – нет, а сердцу не прикажешь. Да и кто бы учил любви этой? Слава Богу, что вообще после школы что-то читаю еще.

Тут вспомнился мне один фактик: американские индейцы в древности какие-то себе повязки тугие на черепа делали, отчего эти самые черепа непомерно удлинялись – вроде как красота индейская (90–60–90 по-нашему). А я все время думаю: интересно – а если повязку убрать, череп, он нормально дальше расти начнет или уже по привычке в идеологически правильном направлении?

Ну а после школы как раз перестройка накатила – читай, смотри, слушай, что хошь. Повязок-то вроде уже и нет. Зато сколько всего и сразу – и фильмы всяческие зубодробительные, и реалити-шоу заморские, да и фэнтэзи тоже ко двору пришлось. В общем, свобода по самое не хочу. Хорошая такая порция наркоза. Только наркоз-то не зря с наркотиками – однокоренной. Соскочить с него трудно уже – привычка. Да ладно бы только это.

Наркоз отходит – больно становится. Это ведь только мазохисты любят, чтобы больно было, а мы же люди вполне нормальные, нам, кроме жратвы и секса, душевное равновесие необходимо. А с Астафьевым этим, где ж тебе равновесие? Безобразие одно получается. Потому что есть на свете такие вещи, пропустив которые через себя – нельзя уже жить по-прежнему. То есть, можно, конечно, да только оно внутри тебя уже сидит и зудит и ноет. И никаким наркозом не перебить. Совесть что ли режется? А куда мне с ней нынче?

Нет, пусть уж лучше такие книжки в сторонке полежат. Там со временем Виктор Петрович совсем забронзовеет. Преподавать его в школе, как Пушкина, начнут. А в школе, оно ж известно как – домашку отбарабанил и забыл, главное, сильно не вчитываться, вдохнул – выдохнул, не затягиваясь. Иначе подсядешь, и уже все – не излечишься.

А еще думаю иногда: если такое даже читать больно, то как же оно писалось тогда?

Дмитрий Иргазиев

г. Кординск

Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева («Малый круг») по итогам 2005 г.

Об Астафьеве

Знакомство моё с Виктором Петровичем Астафьевым – давнее и банально-преобычное. Школьный урок литературы, учитель читает «Людочку», мы пишем сочинение...

А за окном середина девяностых, и никто из учеников не удивляется и не сочувствует, для нас эта истории из повседневности...

Астафьев казался наивным, а мы взрослыми и мудрыми.

Позже, уже студентом, когда девяностые подходили к концу, и дети, а все мы были детьми, только вытянувшимися и сутулыми, – перестали мечтать о «профессии» киллера или хотя бы «бойца» в бригаде... когда появилась вера в будущее – я за ночь, запоем, не отрываясь, прочитал все рассказы «Царь-рыбы».

Задёрнув огни города занавесью слов, книга Астафьева перенесла меня в тайгу, на берег Енисея, где серебряный хариус так и просится на крючок, а где-то в глубине плавает непокорённый таймень, ушедший от рыбацкого самолета...

Не видя их – я полюбил Игарку, Казачинский порог, Енисей с его белыми барашками и свинцово-серой водой северных широт.

Прошло ещё несколько лет – и я узнал, что Виктор Петрович часто встречается со студентами в Краевой научной библиотеке, узнал – но не дошёл, не встретился, не спросил.

Может быть, боялся, что волшебник окажется фокусником...

Сейчас остаётся – жалеть об упущенном, читать его книги, помнить, что совсем рядом с нами жил волшебник, повелитель слов...

Наталья Скакун

г. Прага

Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева по итогам 2007 г.

Записка из Праги

Этой записке моей место на каком-нибудь отшибе, поскольку статус мой самый рядовой: по отношению к Виктору Петровичу Астафьеву я только читатель среди тысяч прочих читателей – бывших и будущих. Ни словом классика, случайно закатившимся в мой адрес, ни присутствием хоть единожды подле похвастать не могу. Теперь, упаси бог, чтоб ни прозвучало громко, признаюсь: Виктор Петрович из всех, кого читаю и чту, один – абсолютно родной, кровно родной мне человек. Как земляк и почти сосед, как деревенщина, как бабушкин выкормыш. Я выросла точно в таком же мире деревни, в похожем мире семьи с генералом-бабушкой Анастасией Яковлевной во главе. За точно таким же столом собиралась моя родня, точно так пела. Теми же средствами лечили меня от простуд и от «задумчивости», что считалась порчей. Виктора Петровича величали колдуном, ну а меня бабушка ругала ведьмой. Мое детство было на столетия с лишком моложе его, но в этих деревенских мирах ничего не меняется. Поезжайте в любую Овсянку, Листвянку, Берёзовку, Еловку. И как же трудно выбираться оттуда... Не случись «порчи» – случая, поражающего вдруг красотой мира, манящего в этот мир, так и вырастет деревенский ребенок возле свиней и коров. И уже одну сытость будет понимать, а над красотой ухмыляться. Как же жалко бывает малого деревенского работника, день-деньской у крохотной лужи караулящего пузатых гусят. Ведь даже книжки у него в руках нет. Ни поиграть ему, ни побегать. А читать ему уже и не захочется никогда, уже победили гуси. Заковала пищевая цепь.

Не было бы Астафьева – такого близкого примера, журнала, фонда его, я бы точно не рискнула высунуться со своей деревенской биографией и рассказами. Астафьева нет в живых, но в литературу вывел меня именно он. И я уж точно не последняя.

Когда меня, лауреата Астафьевской премии, с подковыркой спрашивали: а читала ли я Астафьева? – отвечала: «В том, что я читала Астафьева, нет никакой моей доблести и заслуги, моя заслуга в том, что Астафьева читают мои дети». Заставляя в Праге книжную полку захваченными из России немногочисленными книгами, обнаружила: да у нас четыре Астафьева! Каждый брал в дорогу, что считал нужным. В результате рядом встали «Затеси», «Пролет-

ный гусь», «Последний поклон», «Царь-рыба». Нарочно не придумаешь.

Ходила и хожу в книги Виктора Петровича, как к родне, как домой. Нет времени – забегу хоть в «Затеси» на минутку. Есть такая необходимость.

Леонид Кудрявцев

г. Москва

Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева по итогам 1996 г.

Виктор Петрович

Жизнь, наполненная испытаниями и тяжелым трудом, она ощущалась в том, как Виктор Петрович говорил, в прищуре глаз, в улыбке. А еще, и это тоже было сразу заметно, он не позволил ей просто пройти мимо, бесследно исчезнуть. Астафьев тщательно запомнил все увиденное, пропустил сквозь себя, обдумал. В результате сформировалось его собственное, непохожее ни на какое другое и одновременно близкое всем понимание мира. Именно из него, из памяти о прошлом, данного богом таланта и отшлифованного до высшего предела писательского мастерства рождались его замечательные рассказы, повести, романы.

Я не принадлежал к его близким друзьям, поскольку между нами была не только возрастная разница более чем в тридцать лет, но еще и моя, совсем другая, благополучная жизнь человека, не познавшего войны и послевоенной разрухи. Виктор Петрович воспринимался мной как наставник, человек, у которого можно многому научиться. И, наверное, мне стоило использовать любой подвернувшийся случай для того, чтобы с Астафьевым пообщаться, попытаться взять у него как можно больше присущей ему житейской мудрости, но меня всегда останавливало ощущение, что я могу отнять у него время, так необходимое для работы, просто для жизни. Были лишь какие-то случайные и краткие встречи в Союзе писателей, мероприятия там же, на которых удавалось послушать его рассказы. А рассказывать он умел и даже очень.

Думаю, для меня наставничество Виктора Петровича состояло в самом осознании его существования, в понимании того, что можно стать таким много знающим, интересным, цельным человеком. Вероятно, это истинное предназначение духовной элиты, к которой Астафьев несомненно принадлежал – служить примером для подражания, показывать, куда следует идти, в какую сторону развиваться.

Александр Силаев

г. Красноярск

Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева по итогам 1999 г.

Сидеть и писать

Кажется, у Вальтера Беньямина была фраза: «Не столь ума, сколько мужества и воли недостает нашим писателям прежде всего, чтобы писать лучше». Так вот, Виктору Астафьеву – хватало.

В имиджевые времена глобальных ужимок и презентаций, когда все устремились казаться, почти забыв, что еще таки желательнее кем-то быть, Астафьев изначально отказался множить себя на любой коэффициент пирного свойства. Если умножать, то на единицу. Представая тем, кто ты есть – русским писателем. С неохотой относясь к любым миграциям своего имиджа. Так, Виктор Петрович – не любил давать интервью за «смысл всего», «русскую жизнь» и прочее, беря на себя не свое дело: функции то ли политика, то ли социолога, то ли философа (коими не являлся и понимал, что не является). Это редакторы и журналисты хотели. А Астафьев хотел писать. Чуть не сказалось – «заниматься тем делом, для которого был рожден». Но так, наверное, не точно. Скорее уж мы рождаемся в деле, которое выбираем как свое, чем рождаемся для какого-то дела. Так вот, Астафьев был рожден, как сказали бы в Древней Индии, своим вторым рождением в своем деле – писательстве.

Говорят о деградации русского языка за последнее, как минимум, столетие. По очень простому признаку. Смотрят, сколько слов из языка убыло, сколько прибыло. Сколько слов (или, точнее, корней) присутствует в языке. За последние сто лет – меньше. Меньше стало корней.

Давайте посмотрим, сколько корней в языке, на котором писал Астафьев, давайте сравним: с тезаурусом современного модного автора, московского ли, парижского. И... то-то и оно. Пожилой мужчина из села Овсянка, не нюхавший, так сказать, Дерриды – дает фору нашей литературной современности. Я не озабочен точным подсчетом, все-таки статистика – не моя профессия. Но... это видно практически сразу.

Если мы говорим о вырождении русского слова, то, увы, это пример его вырождения – в двадцатом веке этого слова было банально больше, нежели ныне. Если мы говорим о писателе Викторе Астафьеве, то расхожий шаблон «математически доказано» можно приложить смело: смотрите, читайте, считайте. Подростку достаточно для общения сотни слов. Журналисту для

работы достаточно тысячи. Наверное, это будут не лучшие подросток и журналист, но мы понимаем – их вполне поймут, им хватит для самовыражения, для самоутверждения еще останется. Сколько же может быть слов у русского писателя прошлого века? Как ответ: собрание сочинений Астафьева.

Что нужно писателю, помимо вот этого чувства слова? Есть такое немного грубое откровение, чем именно пишут писатели. Еще Толстой это говорил. Мне же это определение выпало как своего рода инициация от живого классика. На банкете. Выпили-закусили. Виктор Петрович загадал риторическую загадку, и тут же на ухо прояснил: «Крепкой задницей они пишут». В смысле – есть такое искусство: сидеть и не дергаться. Тебя дергают, а ты не дергайся. Сиди и пиши.

«Прогресс цивилизации» заключается еще и в том, что все больше средств – дернуть человека и все больше поводов и хотелок – дернуться. Дергание может быть тактически выгодно, но стратегически может обернуться жизнью, по капле слитой едва ли не в унитаз.

Астафьев не дергался. Оттого и монументален без всяких памятников себе (которых и не хотел, ибо хотеть памятника и значило бы то самое «дергаться»). Пример, как можно жить цельно. Живи. Чувствуй до конца, не бойся. А потом: сиди и пиши. Такое вот литературное завещание.

Ну или хотя бы: сиди и читай.

Елена Семенова

г. Красноярск

Лауреат премии Фонда имени В.П. Астафьева по итогам 1998 г.

Об Астафьеве

Вспоминаю его в неожиданных местах. Недавно подумала в супермаркете, когда пробивала на кассе зелень для окрошки. В большом магазине все для окрошки есть, в любое время года, даже редиска – мелкая, страшная, но вкусная.

Вот из-за нее, из-за зимней редиски, вспомнился Астафьев.

В конце июня 2000-го он лежал в 20-й больнице. Отступила угроза операции, появился аппетит – робкий, по-детски капризный.

После минералки и чая с сухариками хотелось луну с неба достать, чтобы угодить, чтобы поел чего-нибудь, порадовался.

Вкусы у Виктора Петровича совсем не барские:

– Редиски купи мне, ладно?

Простая просьба, но мы весь город обшарили – нету редиски у бабушек, как раз отошел первый урожай. Друг Саша позвонил к вечеру, счастливый:

– Нашел! Нашел!

Привезли мы Астафьеву редиски – крупной, пористой, старой уже. Погрыз он для приличия парочку. Но, конечно, это было совсем не то, чего ему хотелось – не та хрустящая мякоть в малиновой кожице, не первая весенняя радость.

А в супермаркетах тогда редиски не было. И самих супермаркетов, кажется, не было.

Жалко. Сейчас бы я его накормила.

В общем, я расстроилась, когда пробивала редиску в кассе. А потом подумала: сколько лет прошло – уже восемь лет после смерти! Представить Виктора Петровича в сегодняшнем, богатом зимней редиской мире – трудно. Не дожил бы он, ни за что не дожил. Уже тогда, на старте века слабел на глазах.

Жизнь идет себе – дети растут, на Стрелке ходят мимо статуи человека, отдаленно напоминающей Астафьева, ездят на экскурсии в Овсянку, гуляют по забетонированной набережной – там Виктор Петрович на бревне сидел, ноги в траве утопали.

Он для детей классик – далекий, как Суриков. Всего через восемь лет.

Роюсь в себе, думаю – хотела бы так, как они – смотреть на писателя

с другого берега, в вечность заглядывать – хотела бы?

Нет, не надо. Пусть живет во мне больничное воспоминание: сидит Астафьев на высокой кровати в красной футболке с логотипом АиФ, в спортивных брюках, на ногах столетние шотландские туфли, коричневые, плетеные («Я их, Ленка, двенадцатый год ношу!»). Сидит Астафьев и хрумкает старую редиску белыми своими, крепкими, крестьянскими зубами.

Жаль, что редиска была не та уже. Очень жаль.